

№ 5 (41)

РОДІНЬК

ISSN 0235-1412

ПРОЗА ПОЕЗІЯ ДРАМА МУЗИКА ПУБЛІЦИСТИКА КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА
РУДИТЕ КАЛПИНЯ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛИДИЯ БИРЮКОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

- Айварс Клявис. «Я зову — отзовитесь!» (1)
Улдис Берзиньш. Стихи (10)
Арвид Козловский. «Солнце и уход за ним» (13)
Григорий Гондельман. Стихи (18)
Гарольд Пинтер. «Горский язык» (20)
Леонс Бриедис. Стихи (24)
Светлана Васильева. «... Среди цветов и продуктов» (26)

КУЛЬТУРА

- Хелена Демакова. «Искусство в городе, окруженном Востоком» (32)
Ольга Свиблова. «В поисках счастливого конца» (37)
Александра Громова-Давыдова. «Памяти великого артиста» (44)

ПУБЛИЦИСТИКА

- Семен Франк. «De profundis» (53)
Рудите Калпиня. «Не надо жаловаться и плакать...» (60)
Юрий Дружников. «Вознесение Павлика Морозова» (64)

ЛИТЕРАТУРА

- Борис Виан. Стихи (72)
Зиновий Зиник. «Русская служба» (74)

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС см. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

Я ЗОВУ — ОТЗОВИТЕСЬ!

РОМАН

Мы дошли до «Ласите», заглянули в «Ленинград», в «Божье ухо» и из центра направились в сторону Видземского рынка, заглядывая по дороге во все кафе. Рудите не оказалось ни в «Ростоке», ни в «Кристине», ни в «Мальвине», ни во всех прочих. Троллейбусом вернулись в Старую Ригу. Мы обошли чуть не сто кафе и Рудите, конечно, не нашли.

Я говорю «конечно» потому, что с самого начала не верил, что ее удастся разыскать. Чем дольше мы ее искали, тем все призрачней становилась надежда. Я уже жалел, что так необдуманно ляпнул ее имя. Последний кретин, ругал я себя. Трелач самый настоящий, сначала скажет, потом подумает. Какого черта связался я с этой компанией! Я понял, что хорошего ждать нечего. Надо сматываться, пока не поздно. Желание мое укрепилось особенно после того, как в «Ласите», да, именно в «Ласите» они купили две бутылки ликера.

— Непонятно, куда могла подеваться девчонка. Ведь где-то она обретается, — негодовал Таливалдис, и приятели наперебой принялись подсказывать, где еще можно ее поискать.

Соображали они медленно. Чуть не каждую минуту останавливались, чтобы приложиться к бутылке.

— Потрясающе! Гуляй себе, подкрепляйся... Наслаждайся жизнью, пока молод. А жизнь, скажу я вам, неплохая штука, — беседовал сам с собой тот, что торопил нас возле вокзала.

Он заметно подобрел.

— Двинули в «Метрополь», — предложил второй.

— Лучше не надо, — говорю.

— Нет, так нет.

Третий еле держался на ногах.

Таливалдис, наклонившись ко мне, прошептал:

— Вообще-то ты счастливчик. Нет, это я тебе говорю. Хоть сдохни, но я тебе завидую. Голова ясная, никаких проблем, мамаша не скандалит, милиция не грозит сутками, не надо мозги выворачивать, где раздобыть деньги, с утра не мучает похмелье, а ложишься спать, знаешь, что проснешься там же, где заснул. Глянь, сколько плюсов получается.

По нему не понять было, издевается он или говорит серьезно.

— Если посчитать как следует, еще больше наберется, — отвечаю.

— Железный у тебя характер. Я так не могу.

От его причмокивания ухо намокло. Я провел по нему рукой.

— Почему ты считаешь, что не можешь? Сначала попробуй, потом говори! Ты ведь даже не пытался.

— Нет смысла. Мой поезд ушел. Со мной все ясно. Я человек конченный. Видишь, как руки трясутся.

Таливалдис снова вытянул ладони с растопыренными пальцами. Пожалуй, он говорил всерьез, потому что неожиданно тяжело вздохнул.

— Да, с моим характером ничего не выйдет. Думаешь, жалею? Ни черта! У меня, понимаешь, другой принцип. Хочу так жить, ну, так... — От нетерпения он не мог сразу придумать, как бы ему хотелось жить. — Я забрался на плот и не собираюсь с него слезать. Думаешь, жалею? Плевать я на все хотел с высокой колокольни. Не могу без кайфа, если хочешь знать. Кайф — вот где настоящая жизнь. А ты странный парень... с приветом. Уникум! Не пьешь, и тебе хорошо. Хоть ни черта и не понимаешь в жизни, потому что настоящая жизнь проходит мимо.

— А что ты называешь настоящей жизнью?

— Стоп, старик, стоп! Не выступай! Смотрю я на тебя и удивляюсь, но в общем-то мне все едино — пьешь ты или нет. Мы пацифисты. Мы за мирное сосуществование, Арманд. Как поет Стабулниекс, ничто на свете смысла не имеет.

Закончил свою речь он с пафосом, громко, и остальные почему-то принялись хохотать. Ржали как ненормальные. «Черт бы побрал эту идиотскую компанию!» — подумал я.

Всеобщее веселье передалось и Таливалдису, и он принялся хихикать.

— Странно, мой мальчик! Как это у тебя получается?

— Попробуй, тогда поймешь, — отбрил я его.

А они все смеялись, не могли остановиться, хотя давно забыли, над чем, собственно, смеются.

— Чувих бы сейчас!

— Я сказал — потопали в «Метрополь».

— Не надо, — говорю.

— А ты кто такой, чтоб нам указывать?

— Не ссорьтесь, братцы, лучше тяпнем.

— Дай сюда!

— Тише, тише! Все не вылакай!

— Так, прикончили.

— Что? Все?

Тот, что вначале торопился, а потом сильно подобрел, бросил бутылку, метая в мусорник, но промахнулся. Бутылка ударилась о стену и со звоном разбилась. Потом в тихом переулке Таливалдис разбил камнем уличный фонарь, висевший на проводах между домами.

— Кому здесь еще лампа понадобилась? На нервы действует, — сказал он.

Похоже, они специально нарывались на неприятности, а разговаривать нормально вообще уже было невозможно. В очередной раз приложившись к бутылке, тот, что торопил нас возле вокзала, облил ликером свою куртку. Компания взбунтовалась. Я был рад, что они забыли о Рудите.

— Я отчаливаю, — бросил я Таливалдису.

— Постой! Ты куда? — он не хотел меня отпускать и вцепился в мой локоть. — Дойдем до кафешки, посидим, поболтаем.

Премного благодарен! Чуть не два часа таскаемся из кафе в кафе. Надо было исчезать, пока не поздно, и я повторил:

— Мне надо, и я уйду.

(Продолжение. Нач. в № 2, 1990)

— Ну ладно, — согласился он, отпуская мою руку. — Увольняем тебя, как непыющего.

«Тоже мне начальники!» — подумал я, а им крикнул: — Чао! Не впутайтесь в историю! — и повернулся, собираясь идти.

— Ах так! Издеваешься? А ну, стой, вернись! — угрожающе произнес тот, что еле держался на ногах, но мне и в голову не пришло оглядываться, а за мной, конечно, никто не гнался.

— Никуда я тебя не отпускаю. Сейчас же вернись! Ишь, тихий выискался...

Я ушел, а тот все не унимался, продолжал орать.

Вот был бы номер, если б он попытался меня остановить.

«Придурок! Алкаш занюханый!» — кипятился я. Но больше, чем на них, злился на самого себя: «Нашел с кем связываться! Совсем дошел! Хорошо еще, что все так кончилось».

По дороге домой я сделал крюк. Захотелось пройти мимо школы. Подойдя к зданию, я встал под деревьями и долго смотрел на красное кирпичное здание. В окнах было темно. Только на самом верху, в кабинете физики, горел свет.

15

Часы показывали десять минут одиннадцатого. Альгирт Ванагс, в недавнем прошлом студент физмата, второй год преподававший физику в средней школе, закончил монтаж стола, крышка которого приводилась в движение электромотором. Предстояло доделать еще кое-какие мелочи, и кабинет, по крайней мере наполовину, можно будет считать оборудованным. Конечно, можно бы и лучше, интереснее, но учитывая, что всю последнюю неделю директор нервничала, а завуч торопила, пришлось кое от чего отказать и удовлетвориться тем, что сделано.

Привинтив стальной полоз, он отступил на несколько шагов, чтобы оценить результат. Плотный, высокого роста, Ванагс принадлежал к той категории людей, которые предпочитают не торопиться, делают все не спеша, основательно. Медленно и основательно думают, медленно и основательно работают. Беда была только в том, что, сталкиваясь с чем-нибудь непривычным или непонятным, он надолго терял равновесие, сомневался, не мог привыкнуть к новым обстоятельствам, переориентироваться. Вот потому-то в школе у него сразу сложилось все не так, как он представлял себе, будучи студентом. Все его идеи, столкнувшись с реальной действительностью, тут же уподоблялись ветхому приводному ремню на гладком, до блеска отполированном роторе мечты. Коэффициент сцепления был равен нулю.

Прищурившись, Ванагс стоял и внимательно смотрел на стальной полоз. Медленно открылась дверь, и в щель просунулась голова Арманда Юркуса.

— А ты как здесь оказался? — удивленно спросил учитель.

— Через черный ход. Проходил случайно мимо, увидел свет... Решил — поднимусь, посмотрю.

— Ах вот как...

Альгирт Ванагс медленно опробовал поверхность станка. Скользило отлично. Легко и бесшумно. Оставалось подсоединить стальные тротики.

— А вы что так поздно, Альгирт Фрицевич?

— Как видишь — работаю.

— Кабинет оборудуете?

— Как видишь.

— Да, выглядит совсем по-другому.

— Действительно?

— Честное слово!

— Хочу до понедельника закончить. Вчера завуч обещала прислать тебя на помощь. Вот ты и явился... с опозданием. Кстати — куда ты пропал? Я тебя искал, не мог найти. Ни слуху ни духу.

Арманд вошел, сел.

— Меня не было в школе.

— А что случилось?

— Ничего.

— Как это понимать?

— А так и понимать. Просто не пришел, и все. Не приходил ни вчера, ни сегодня.

— Без уважительной причины пропускаем?

— Можно и так, а можно сказать — сачкую. Кому как нравиться.

Учитель вопросительно поднял глаза. Арманд молчал. Не дождавшись пояснений, Альгирт Фрицевич вернулся к станку.

Арманд сидел молча и думал:

«Вот бы кому-нибудь рассказать. И о том, что произошло сегодня, и о том, что позавчера, о Таливалдисе и Рудите, об Индре, о матери-алкоголичке. Рассказать бы кому-нибудь, почему сачкую, да впридачу еще, что в квартире нет света. Хорошо бы... Но рассказать некому. Абсолютно некому!»

И Арманд молчал. Молчал не потому, что не хотелось ничего рассказывать, а потому что считал — рассказывать нет смысла. Вряд ли физик поймет. Ясно, что не поймет. Да и от разговора, каким бы откровенным он ни был, ничего не изменится. Разве ж не пробовал? На душе, правда, делается легче. Но не рассказывать же только ради этого... Лучше уж молчать.

Чувствуя собственное бессилие, Арманд обычно предпочитал молчать. Так легче было сохранить независимость, а значит, и уверенность в своих силах, хотя бы мнимую. Для этого нужно совсем немного. Просто молчать. Кое-кто именно потому и считал его заносчивым, гордым и упрямым. А он молчал потому, что очень часто говорить не имело смысла.

Вытянув ноги, Арманд откинулся на стуле. Он затрещал.

— Не ломай мебель! Идв поддержи лучше, — позвал его физик, взглянув на него.

— Где?

— Вот тут. Держи! Теперь потяни. Еще чуть-чуть... сильней... Отлично. Спасибо!

Разогнувшись, Арманд так и остался стоять между механически регулируемой доской с киноэкраном над ней и недоделанным учительским столом, который скорее напоминал сложный пульт, чем мебель. Физик не обращал на него внимания.

Стоя на возвышении, Арманд окинул взглядом кабинет и протянул:

— Да-а-а!

Учителя вывели из себя и это долгое «да-а-а», и вид знатока, с которым парень осматривал сделанное, и само его неожиданное появление, и, наконец, нахальное признание в том, что не был в школе. В эту минуту учителя в Арманде раздражало буквально все.

«Откровенность, граничащая с цинизмом. Откуда в них этот цинизм?» — думал недавний студент физмата.

В вузе он был из тех немногих студентов, которые готовили себя к школе. Рос в семье педагогов (отец преподавал в институте, мать сначала работала в школе, затем на ответственной должности в министерстве). С детства Альгирт и сознательно и подсознательно готовился пойти по стопам родителей. Ему пришлось столкнуться с презрением, непониманием, иронией сначала школьных товарищей, потом однокурсников. Но Альгирта Ванагса это не смущало. Работу в школе он считал своим призванием. Справедливости ради надо сказать, что слово «призвание» нравилось ему гораздо больше слова «работа». К тому же он прекрасно понимал, — и никогда не забывал об этом, — какие перспективы предоставляет школа мужчине. Шансы занять в будущем кабинет директора школы, а то и еще более престижный кабинет, были вполне реальными.

— Что значит «да-а-а»? — обратился учитель к своему ученику.

Несколько лет назад, будучи студентом, Альгирт считал, что в воспитательной работе нет и не может быть проблем,

о которых пишет пресса, что все эти проблемы — не что иное, как своеобразное проявление некомпетентности. Все несчастья, все недоразумения — просто-напросто результат неглубоких взаимоотношений между поколениями, неспособное разобраться в психологии другого поколения. Самое главное, чтобы воспитатель и воспитанник понимали друг друга. Это же чрезвычайно просто! Надо внимательней присматриваться, внимательнее прислушиваться к молодежи, тщательнее анализировать мыслительный процесс каждого индивида. Ничего сложного. Просто, как все гениальное.

В университете Альгирт категорически отрицал все упреки, адресованные молодежи, апеллируя в споре к молодости своих собеседников и аргументированно доказывая, что нынешняя молодежь ничуть не лучше и не хуже прежней, что нет оснований умирать от восторга, как нет причин впадать и в пессимизм. Молодежь такая, какая есть, точнее, такая, какой ей и надлежит быть, поскольку она логичное продолжение своих предшественников, словом, каждое поколение получает в наследство такую молодежь, какую заслуживает.

К сожалению, оказалось, что это только теория. Рассуждая таким образом, он и не предполагал, что спустя некоторое время за подобные рассуждения его элементарно высмеют. Теоретические его выкладки окажутся легковесными, детскими, банальными. За теорией последует практика. И представления его изменятся.

В первые же месяцы самостоятельной работы учитель сделал открытие, что не понимает подростков. Не понимает — и все тут. Мышление тинейджеров казалось абсурдным, поступки нелогичными, стремления — мелкими, незначительными. Пробудить в них интерес к чему-то серьезному не удавалось. Физик бросился разрушать стену равнодушия, но вместо этого только набил синяки и шишки. Альгирт Фрицевич ежедневно общался со своими учениками. Вот они, все время у него на глазах! Но ничего не помогало — между ними была прозрачная стена, пробиться через которую учителю не удавалось. Воспитуемые держали воспитателя на расстоянии. Будничные ответы на уроках, кажущиеся деловыми разговоры, внешние знаки уважения — дальше этого не шло.

Альгирт старался как мог. Ученики же его старания игнорировали. Никто не собирался делиться с учителем своими мыслями. Ни на каком уровне.

Альгирт Фрицевич пытался припомнить себя в таком возрасте. Ведь совсем недавно он сам еще был школьником. Но сегодняшние подростки оказались другими. В большинстве своем скептики. Равнодушные, скрытные, непредсказуемые. Как будто взрослее и в то же время наивнее, простодушнее. В них прорывалась какая-то горечь недоверия, словно бы еще в младенчестве они в чем-то раз и навсегда разочаровались. Альгирт их не понимал, и они не понимали стремлений Альгирта. За первые же полгода молодые люди, утром аккуратно являвшиеся в школу и после обеда возвращавшиеся домой, с безразличным видом сидевшие на уроках, на переменах, подгоняемые зарядом бешеной энергии, носившиеся по коридорам, превратились для него в сине-пеструю безликую толпу.

Мысль оборудовать кабинет физики показалась ему спасительной. Альгирт Фрицевич как за соломинку ухватился за эту идею и ушел в нее с головой. А ведь верно — просто нужны соответствующие условия. Методами, годившимися в каменную веку, сейчас ничего не достигнешь. Прежде всего нужно создать условия. Со временем появится и все остальное. Со временем . . . со временем . . . потихоньку-полегоньку добьемся и остального. Но к чему он стремился, чего, в сущности, хотел добиться? Чего и зачем? Удовлетворить свое тщеславие или ради других? По силам ли ему намеченные цели? Есть ли смысл стремиться к ним? Эти вопросы приходили в голову все чаще, и почва под ногами начала колебаться.

Обустройство кабинета физики растянулось на семь месяцев. Все остальное отошло на второй план. К своим непосредственным обязанностям — преподаванию —

Альгирт Фрицевич с каждым днем относился все прохладнее. Он смирился с ними, как мирятся с промокшими ногами, насморком или ячменем на глазу. Это была обязанность, от которой нельзя было отмахнуться, если вторую половину дня хотел провести в будущем кабинете среди равномерно гудящих электромоторов, бесчисленных счетных устройств, кинопроектора и серебристого экрана телевизора, мотков электропроводов, постепенно обретая почву под ногами. Стабильности — вот чего не хватало в изменчивых, суетливых школьных буднях.

Кабинет физики со временем стал для него гораздо дороже, чем ученики, которые в этом кабинете должны были заниматься. Учеников Альгирт Фрицевич не понимал. Они были и оставались для него тайной за семью печатями. С предметами было проще. Они подчинялись, послушно превращаясь из реальных в желаемые. Как бы то ни было, но работать он умел. В лености Альгирта Фрицевича упрекнуть было нельзя. И кабинет заменил ему все прочее в жизни. Физик сознавал это и страшился того момента, когда все работы будут завершены. Именно поэтому он не спешил, оттягивая, скорее инстинктивно, чем сознательно, тот день, когда будет поставлена последняя точка.

— Что значит «да-а-а»? — повторил вопрос учитель Ванас, пристально и строго глядя на своего ученика Арманда Юркуса.

— Я говорю — здорово теперь здесь все выглядит, — ответил Арманд. — И сравнить нельзя.

— Мне показалось, что ты сказал «н-да-а-а».

— А зачем вы, Альгирт Фрицевич, так стараетесь? Какой в этом смысл? Для чего все это?

Физик удивленно посмотрел на говорившего. Нет, решительно ничего не понять. Сначала говорит одно, потом другое. Юркуса он считал вообще-то парнем сообразительным. По крайней мере, до сих пор по волнам его не носило, как щепку.

— Что значит — какой смысл?

— Ну . . . не для чего . . .

— Нет, ты мне объясни! Я хочу знать! — Альгирт Фрицевич заговорил громко и возбужденно, чуть не переходя на крик.

— А чего там объяснять? Самому вам, что ли, непонятно, Альгирт Фрицевич?

«Видно, считает, что благодарные ученики за кабинет физики ему памятник при жизни поставят. В сквере, возле школы. В полный рост, с саблей в руке или верхом на коне, или еще лучше — верхом на электромоторе. Похоже, только этого и ждет», — подумал Арманд.

— Предположим, что непонятно, — сказал физик и при этом подумал: «Я вас действительно не понимаю, но это не значит, что не хочу понять. Я пробовал по-всякому, но все бесполезно. Что же мне делать, если вы не хотите, чтобы вас понимали?» — Объясни!

— Это все трюки.

— Какие трюки? — опешил физик.

— Ну, все эти кабинеты, оборудование и все такое. И мероприятия всякие, которые каждый год организуют в школе, для нас организуют, а толку от них ничуть. И все, и учителя тоже, знают, что толку от них никакого.

— Почему никакого?

— Потому что трюки все это.

Арманд видел, что учитель изо всех сил старается понять сказанное, и улыбнулся.

— Почему трюки?

— Кто захочет, и так учиться будет — без всяких там современных кабинетов. Кто не захочет, не будет, даже если на каждой перемене дискотеку устраивать. Было бы желание. Главное — самому хотеть. Вот только иногда хочется, иногда нет. Непонятно, откуда желание появляется, непонятно, куда исчезает.

Физик понял: Юркус хочет сказать, что главное — не кабинет, не мирно гудящие электромоторы, цветные проводочки, некое будущее, а сами ребята.

Как просто все на словах . . . И как трудно . . .

«Похоже, изучили меня лучше, чем я их, — подумал

учитель. — Что за мистика? Почему же с их стороны нет стеклянной стены, а с моей есть? Почему они через нее проникают, а я могу смотреть на них только на расстоянии? Почему?»

«Жалко, что он не понимает, — вдруг подумал Арманд. — Учитель в общем-то он неплохой. Выдали хуже . . .».

— Арманд, а по-твоему — разве не интереснее заниматься в современном, прекрасно оборудованном кабинете, чем . . .

— К сожалению, меня это не касается.

— Как это? Почему не касается?

— Длинная история.

И хотя история и вправду была длинная, Арманду совершенно неожиданно захотелось рассказать ее физику. Хотелось поговорить. Как сегодня днем, когда он сидел в песочнице возле дома Рудите. Ужасно захотелось с кем-нибудь поговорить. Желание впилося в него как заноза, прилипло как репей. Одно-единственное желание — встретить наконец человека, которому можно было бы доверить все, что его мучило. И особенно в последние дни. Физик чуть старше его. Чуть старше, но наверняка опытней.

— Не дури! И что у вас за мода такая — одни розыгрыши? — обиделся физик.

— Какой там розыгрыш. Я ухожу из школы. Совсем.

Арманд произнес свою тираду и тут же пожалел о том, что сказал. Нашел чем хвастаться! Желание рассказывать исчезло без следа. Тоже, дурак, рот раззявил, не мог помолчать! Какое физику до него дело! Насупившись, Арманд пытался успокоить себя, обрести равновесие — раньше или позже об этом все равно придется кому-то сказать. Сколько же можно скрывать! Физик оказался первым человеком, который узнал о принятом им решении.

— Ерунда! Кто тебя, братец, отпустит? Одиннадцатый класс. И учебный год начался!

— Думаю, отпустят.

— Ну, ну, думай себе на здоровье!

— А если у меня нет выхода?

— Так, Юркус, не бывает!

— Иногда бывает, Альгирт Фрицевич!

— Не знаю, не знаю . . .

— Честное слово, я решил на это не потому, что так уж хочу бросить школу, а потому что . . . поймите меня!

— Оставь! Нечего там понимать! Думай лучше не о том, как бросить школу, а как не пропускать уроки. Да еще без уважительной причины. Отсутствие силы воли — больше ничего.

Арманд искоса посмотрел на учителя:

«Ничегошеньки он не понимает и наверняка никогда в жизни так и не поймет».

Физик, вспомнив, что не доделал работу, снова склонился над столом. Оказалось, что с правой стороны тросик получился короче, чем нужно. Ванас был потрясен. Как это, измеряя, он мог на столько ошибиться?!

Арманд Юркус тихо выскользнул из кабинета.

Заметив медленно закрывающуюся дверь, Ванас окончательно убедился в том, что парень воспитан из рук вон плохо. Ушел, даже не попрощавшись.

16

Холодный хмурый рассвет забрезжил у подножья Эйфелевой горы.

Новая Нирбургская международная автотрасса длиной четыре километра пятьсот сорок два метра шла по ровной местности параллельно старой трассе, обозначенной лесопосадками. Нирбургская трасса считалась старейшей в мире. Еще и сегодня здесь помнят бесстрашных гонщиков в белых кожаных комбинезонах, которые первыми отважились вступить в спор со временем на машинах с двигателями внутреннего сгорания.

Подвергали ли они себя большему риску, чем нынешние

гонщики? Что подгоняло их? Достигли ли они того, к чему стремились? Ответов нет. Хранит молчание свидетель многочисленных трагедий — асфальтовая трасса у подножья Эйфелевой горы. Но, может быть, пожелтевшие фотографии сохранили атмосферу тех лет?

Вот, улыбаясь, гонщики позируют перед камерой. Веселые, жизнерадостные, не предполагающие даже, как комично они будут выглядеть в своих архаичных одеждах через несколько десятилетий. Мир еще многого не знает. И они многого не знают. Время отсчитывает секунды, минуты . . . Проходят дни, недели, месяцы. Проходят годы.

Следующая фотография . . . Гонщики на трассе. Вот как раньше выглядели гоночные машины! Интересно, кто тогда выиграл? Кто проиграл? Какова была средняя скорость и рекордное время на круге? Забылось, забылось, забылось . . .

А вот они после гонок. Опять улыбаются. На сей раз по-другому. Усталые и довольные. Рука победителя на плече красивой девушки. Рука проигравшего на плече красивой девушки. Как звать того — третьего справа? Забылось, забылось, забылось . . .

Любительские фотографии. Нахмуренный лоб. Склонившееся над мотором лицо. Затуманенный взгляд в объективе. Кто-то, раскинувшись, лежит прямо на траве. Вот руки, судорожно сжимающие руль. Двое беседуют около машины, окруженные толпой.

А вот и снова они вместе. Улыбок не видно. Бережно ставят в каменную нишу урну с пеплом. Под каким номером он мчался, каким по счету пришел? Сорок седьмой? Девяносто второй? Каменная ниша замурована. Все стоят, склонив головы. Сколько таких ниш предстоит еще замуровать и кто из них будет следующий?

Впрочем, разве это имеет значение? Его место займет другой. Место второго — еще кто-то. И так будет продолжаться всегда. Изменяется фасон комбинезонов, силуэт автомашин, мощность моторов. Возрастет скорость. Составление со временем, а может быть, в первую очередь с самим собой будет продолжаться. Будет продолжаться, чтобы преодолеть непреодолимое.

О, это стремление одолеть неодолимое! Оно неистребимо!

И самый яростный противник каждого — он сам. Никто другой! Даже в том случае, если надеяться человек может только на себя.

Ники Лауда в 1976 году потерпевший тяжелую аварию на старой трассе (последствия аварии до сих пор видны на его лице), сказал перед гонками журналистам, имея в виду новую трассу:

«Это сейчас лучшая в мире трасса. Надежная, поэтому, мне кажется, до двухтысячного года здесь не придется ничего менять».

В двенадцать начались контрольные заезды.

Около двух к судьям поступила первая заявка. Спортсмены пошли на квалификационный заезд. Это был Патресе («Alfa Romeo»). Четыре километра пятьсот сорок два метра он прошел за минуту и двадцать одну запятая девятьсот тридцать семь секунд.

Примерно в половине третьего в боксах воздух нагрелся до белого каления. Пилот команды «Brabham» Нельсон Пике, благодаря какому-то оставшемуся в тайне усовершенствованию или новшеству, в семи состязаниях, то есть семь раз подряд, квалификационный круг преодолел быстрее своих соперников.

Тридцатилетний конструктор Гордон Мурей и Пауль Роже категорически отрицали слухи о том, что в машинах во время предварительных соревнований меняют двигатели. Они не отрицали, что кое-что меняется. Но что именно — пока оставалось для всех секретом. Эта неопределенность и подогревала страсти. Дальше намеков, догадок дело не доходило. На последней пресс-конференции конструкторы ловко уклонились от вопросов журналистов, уходя от конкретных ответов, переводили разговор на музыку, ибо Гордон Мурей был яростным поклонником Джорджа Харрисона.

В тайне остался и разговор Гордона Мурей и Нельсона

Пике по радиотелефону перед стартом. После чего Пике с уверенным видом пошел на квалификационный заезд, не дождавшись результатов остальных лидеров. Заезд он завершил с лучшим временем — двести семь запятая триста пятнадцать километров в час.

Через несколько минут из бокса появился Ники Лауда, который проиграл Пике менее четырех секунд и в общем зачете занял пятнадцатое место — с правом стартовать в середине группы. Но это его не огорчило.

А вот Ален Прост, проигравший Пике три десятые секунды, был недоволен, хотя и показал второй лучший результат и завоевал право стартовать в первом ряду. Уточнив время, он продолжал гонку, сосредоточив внимание на вираже перед финишем, ставосьмидесятиградусном повороте и прямой между вторым и третьим поворотами.

Делая очередной круг, Прост слишком поздно заметил желто-белую «техничку» марки «Porsche», стоящую почти возле самой границы трассы. К счастью, она была пуста. Когда красно-белый «Mc Laren» вынырнул из-за поворота, центробежная сила прижала его к борту. Столкновение предотвратит не удалось. Левым передним колесом гоночная машина легко коснулась стоявшего у края «Porsche». Но этого оказалось достаточно, чтобы желто-белая машина перевернулась, словно пустая консервная банка, и влетела в металлический барьер. Раздался взрыв. Взорвался газовый баллон, находившийся в машине. Мгновение — и вспыхнул бензобак. Квалификационные заезды пришлось прервать. Люди, к счастью, не пострадали. В машине Проста оказались незначительные повреждения, однако механикам пришлось работать до двух ночи, чтобы привести ее в надлежащий вид.

Что испытывал, о чем думал после происшедшего Ален Прост, остается только гадать. Телевизионные комментаторы, прогнозируя субтотные гонки, шансы Алена Проста приравнивали к нулю, утверждая, что гонщик не сумеет преодолеть психологический шок.

Но несмотря на мрачные предсказания, на следующий день Ален Прост, сжав губы, сидел за рулем своей торпеды в ожидании зеленого сигнала.

Через час тридцать пять минут, когда позади остались шестьдесят семь кругов, или триста четыре километра, публика с ликованием встретила Проста. Он не только обошел всех конкурентов, но и преодолел психологический барьер и одержал победу в поединке с самим собой.

Обладатель второго места Альборетто уступил победителю двадцать пять секунд. На третьем месте — Нельсон Пике. Четвертый — Ники Лауда, в общем зачете сохранивший позиции лидера.

Арманд Юркус, обитавший в многоэтажном доме в самом центре Риги, о событиях на Нирбургской трассе узнал спустя неделю. Но они оставили его равнодушным — не обрадовали, не поразили, ибо на дальнейшую его жизнь никоим образом не влияли. Несмотря на то, что с того момента, когда за Алена Проста он держал кулаки, желая тому победы, прошло всего десять дней, радостную весть он воспринял спокойно.

Почему?

На этот вопрос Арманд Юркус ответить не мог. Происшедшая с ним перемена поразила и его самого.

17

В субботу я отправился в школу только для того, чтобы сообщить наконец то, что скрывать уже не было смысла. Нить, наперекор всякой логике связывавшая меня со школой, в конце концов порвалась.

Мне снова вспомнился выпускной вечер. Вспомнилось, как мы с Индрой, взявшись за руки, вошли в пустой класс. Наверху, в зале, гремела музыка. Не включая свет, мы подошли к окну и молча смотрели на бледные редкие звезды, которые одна за другой зажигались на серовато-фиолетовом небе. А потом, все так же молча, вышли из класса. Тогда мы понимали друг друга без слов.

Вероятно, после восьмого мне надо было все-таки поступать в техникум или в профтехучилище. В тот день я понял это совершенно отчетливо. Ну, а раз понял, надо было быть честным до конца. Ведь именно этому учили меня десять лет. Какой прок от меня школе и какой мне от школы? Не вообще, не абстрактно, а конкретно, конкретно мне, Арманду Юркусу, который с удивительным легкомыслием доучился до одиннадцатого класса, не думая о будущем. Мысли об учебе — по крайней мере в ближайшее время — были абсолютно нереальными. Мне уже приходилось заботиться о себе. Я знал, что это такое. Знал, что с каждым годом проблема усложняется. Летом я работал вовсе не для того, чтобы полюбить физический труд или приобрести практические навыки, а прежде всего и самое главное — чтобы заработать. Да, да, заработать. А уж потом все остальное, о чем пишут в газетах.

Чтобы обеспечить себя, надо работать. А чтобы работать, нужна мало-мальски толковая профессия. Профессии у меня не было и не будет после окончания школы. То, чем мы занимались в учебном комбинате, была простонапросто игра. Выполнять случайную работу или превратиться в гражданина без определенной профессии я не хотел категорически. Таких субъектов перевидал достаточно. Наизусть знал и жизнь их, и незавидную судьбу. Они-то и приходили обычно к матери — граждане без определенной специальности и занятий. Это они жалостливым голосом рассказывали, какие они хорошие, но как им не повезло в жизни, потому что хорошим людям всегда не везет.

Я считаю — каждому везет настолько, насколько он сам будет способствовать своей удаче.

Нет, я еще не знал, что буду делать после того, когда уйду из школы. Больше того — не очень-то и думал об этом. Зато твердо знал, чего ни за что делать не буду, впрочем, над этим мне особо и не надо было ломать голову. И так было ясно. Весной я мог оказаться в той же ситуации, в какой оказался после восьмого класса. Только не имея тех шансов, которые были у меня тогда. «Конечно, кое-какие шансы у меня есть, — думал я, — но не те, что были».

Значит, нельзя терять время. Пора думать о будущем. И так столько времени упущено.

Это Индра помогла понять, что в школе мне больше делать нечего. Пора уходить. Навсегда.

Нить, вопреки логике связывавшая меня со школой, порвалась.

18

Первый урок проторчал в столовой, болтая с дежурными из десятого класса, — Сунья еще не пришла. Встретил я ее во время перемены. Думал, сейчас набросится за то, что я пропустил уроки, но Мамусик была в мирном настроении и даже не вспомнила об этом.

Склонив голову к плечу, она спросила:

— Ну? Что случилось?

Это «ну» и обычный ее вид вечно куда-то спешащего человека мгновенно выбили меня из равновесия. Я не смог произнести ни слова. Стоял и тупо смотрел на нее.

Событие из торжественного, каким представлялось мне дома, превратилось в идиотский фарс.

— Я тороплюсь, Арманд. Что ты хочешь сказать? — повторила Сунья.

Я собрался с духом и сказал, что хочу уйти из школы.

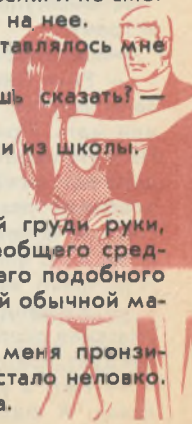
— Что?! Серьезно? — спросила она.

— Более чем серьезно.

Я ждал, что Мамусик, прижав к пухлой груди руки, произнесет нечто патетическое о роли всеобщего среднего образования в жизни каждого, но ничего подобного не случилось. На сей раз она изменила своей обычной манере.

Словно решая что-то, Сунья смерила меня пронзительно-оценивающим взглядом. Мне даже стало неловко.

— Так! Наконец-то! Я давно этого ждала.



Помолчав несколько секунд, она сказала — это невозможно, разве не мог я еще весной решить, что продолжать учебу дальше не имеет смысла. Я ответил, что не мог, обстоятельства изменились. Она спросила, что же произошло такое чрезвычайное. Я ответил, что ничего чрезвычайного, но обстоятельства изменились.

— Ничего не поделаешь. Придется оставаться в одиннадцатом до выпуска, — сказала Суныня.

— Я не могу остаться.

— Все время мог и вдруг не можешь?

— Честное слово, не могу. Пора подумать о работе, а то финансы поют романсы. Не могу я бесплатными обедами проквашиваться. Возьму еще и умру с голода.

— Ой-ей-ей! Что ты говоришь? Так прямо возьмешь и умрешь?

— Не сразу, но . . . Рита Петровна, поймите же!

— Откровенно говоря, не понимаю.

— Я же сказал, что хочу уйти из школы.

— Этого недостаточно. Мало ли чего нам хочется.

— Но мне . . . но со мной . . . Рита Петровна, вы же про мать мою знаете. Ничего не изменилось. А если и изменилось, то только в худшую сторону. Она опять не работает, и дома . . . и я . . . и вообще . . . — Я замолчал.

Суныня встрепенулась.

— Постой, постой! Я же не говорю, что у тебя дома идеальные условия, но разве из-за этого бросают школу? Неужто нет выхода? Осталось меньше года. Выход всегда можно найти.

— Нельзя! — возразил я. — На сей раз нельзя. Если не верите, проверьте. Выход один — сию же минуту забрать документы.

— До чего же ты наивен! Сделать это почти невозможно. Тем более сию минуту.

По лицу ее пробежала легкая тень, и я рассердился. Наивный, ненаивный, какое ей дело.

— Я должен уйти из школы.

— Не говори глупости!

— Возможно, для кого-то это и глупости.

— Хорошо, Арманд, — сказала она примирительно. — Хорошо . . . Договоримся так — иди в класс и подумай как следует. Если не передумаешь, поговорим через неделю. Придумаем, что с тобой делать.

— Никуда я не пойду и ничего передумывать не стану, — огрызнулся я.

— Не валяйте дурака, Юркус! — классная перешла на вы. — Так эти вопросы не решают. Решить это моментально, как вам того хочется, невозможно. Этого еще не хватало! Каждый, кому вздумается, начнет заявлять о своем нежелании учиться и, не закончив школу, направится куда глаза глядят. К весне одиннадцатый класс опустеет. Разве для этого мы работаем? Этому отданы десять лет? Этому, Юркус? Не валяйте дурака! Слышите! Сейчас же отправляйтесь в класс!

— Нет! — ответил я, повернулся и направился к лестнице.

На полпути меня настиг голос Риты Петровны.

— Так мы ни к чему не придем.

Я оглянулся. Она сделала несколько шагов мне навстречу.

— Так мы ни к чему не придем, Арманд.

— Рита Петровна, не знаю, как такие вопросы улаживают другие. Может, за них это делают родители? Отец или мать. Придут в школу и все уладят. Отца у меня нет. На мать надеяться не могу. Вы знаете. У меня вообще никого нет, на кого я мог бы надеяться, поэтому все вопросы я обязан уладить сам. Надеяться приходится только на себя. Я потому и пришел сегодня, что не знаю . . . чего хочу . . . С чего-то начинать надо. И как можно скорей, — торопливо закончил я, чувствуя, что начинаю путаться.

— Арманд, Арманд, — покачивая головой, произнесла классная скорее сочувственно, чем осуждающе. — Ты как следует все обдумал? Не торопись ли ты?

— Нет, я уже опоздал. Я должен был это сделать год назад. А еще лучше два.

— Тебе действительно нужно было это сделать раньше. Было бы намного проще.

— Не вижу логики, Рита Петровна, — говорю, так как и в самом деле не видел во всем никакой логики. Оказывается, раньше можно было, теперь нельзя. Я повзрослел, изменились обстоятельства, решил уйти из школы, пойти работать и, предположим, учиться в вечерней школе, но не могу, не имею права, невозможно — не разрешают. — Не вижу логики, — повторил я.

— Скорее, не хочешь видеть.

— Без шуток, неужели так сложно, как вы говорите?

— Ты и представить себе не можешь, как это сложно — уйти из выпускного класса.

— Почему?

Рита Петровна пожала плечами.

— У меня нет другого выхода. Понимаете? Ведь я ухожу не из-за какого-то каприза или потому, что не хочу учиться. Как же можно меня не отпустить? Рита Петровна, вы . . .

— Я понимаю, Арманд. Я тебя понимаю. — Она снова перешла на «ты». — Но этот вопрос решает не классная руководительница. Это решают люди во многих инстанциях. И сомневаюсь, что они с тобою согласятся.

— Ясно.

— Что ясно?

— Что пока ничего не ясно.

— Не надо вешать нос, как и не надо пороть горячку. Поживем — увидим.

— А что мне сейчас делать?

— Ничего. Иди в класс. И не строй из себя обиженную барышню. Сегодня суббота. Попробую поговорить с директором, если успею, а тебе придется потерпеть до понедельника.

И все-таки Рита Петровна не удержалась. Прижав руки к пышной груди, она с пафосом принялась декларировать, какие мы все же еще наивные. И, главное, какие нетерпимые. Из-за каждого пустяка готовы вспыхнуть, как береста.

Я дал ей высказаться и подвел черту:

— Хорошо! Доживем до понедельника. Как в кино.

— Почему в кино?

— Потому что есть такое кино — «Доживем до понедельника». Но только до понедельника, — сказал я и отправился в класс, хотя в тот день пришел в школу, чтобы забрать документы. Ха! Все-таки своего она добилась. Я, сердясь на себя, послушно поплелся в класс.

Хрипло зазвенел звонок. Нехотя открыл дверь в класс. Шум на минуту затих. Все ждали, что войдет училка, но неожиданно появился я.

— Блудный сын вернулся, — затарахтел Мартыньш. — Стройный как олень.

— Рад видеть, — пробасил Агрис, протягивая руку. Впервые мы с ним поздоровались за руку. Сказался «Росток». Видно было, что он изнывает от любопытства, от желания узнать, чем все кончилось. Очевидно, мое отсутствие в школе он связал с событиями в кафе. Может, даже решил, что меня упрятали за решетку. — Как дела? — спросил он.

— Первый сорт.

— Значит, все в ажуре?

— В ажуре, — подтвердил я.

Он снова натянул на лицо маску равнодушия.

— Ясно! Я так и предполагал.

Так я тебе и поверил!

— Ты болел, Арманд? Простыл? — съязвила почти что отличница Элина, когда я проходил мимо ее парты. Я не ответил. Какое ей дело!

— Нечего торчать на разных балконах, продувает . . . — Ну, уж этот совет болван Эджус мог приберечь для себя.

Агита, лучшая подруга Индры, ехидно посмотрела на меня. Хотел ей сказать какую-нибудь гадость, но сдержался.

— Где ты был, мой олененок? — пропел Мартыньш, но я на него не обратил внимания.

Старался держаться как можно более независимо. Как будто все это меня не касалось, как будто ничего не случилось. Но если честно, чувствовал я себя совершенно

по-идиотски, потому что случилось ведь очень многое. Похоже, и ребята это поняли. Раньше ведь я уроки не пропускал.

Внезапно я увидел глаза Индры — серо-голубые с коричневыми крапинками. Увидел широко открытые Индрины глаза — она смотрела прямо на меня. Меня бросило в жар. Сердце колотилось, дыхание прерывалось. Под ложечкой появилась гадливая тошнота. Я чувствовал себя так, словно только что одолел пять тысяч метров Бикерниекской трассы и к финишу пришел четвертым. «Жуть, — подумал я. — Чего это я так разнервничался?» Медленно, осторожно опустился я на свое место. Так осторожно, словно у стула была сломана ножка.

Рядом сидела Индра, которую я отлично знал. Индра, с которой мы дружили с седьмого класса, целовались на лестнице, держась за руки, смотрели на звезды в день выпускного вечера в восьмом классе. Индра, о которой я знал почти все, если не абсолютно все, и из-за которой я, если откровенно, остался в средней школе.

— Не делай глупостей, Арманд! Не делай глупостей! — шептала она.

Но это уже была другая Индра, чужая, совершенно незнакомая мне девушка. Об этой девушке я не знал ничего, никогда в жизни с ней не целовался на пустой лестничной клетке, не держал ее руку в своей, когда на серо-фиолетовом небе одна за другой зажигались звезды, не из-за нее остался в средней школе. Из-за нее я в конце концов решил уйти из средней школы. Об этой Индре я не знал ничего. Честное слово!

Так же шепотом, присвистнув, я ответил:

— И не собираюсь! — И через мгновение добавил: — Можешь быть спокойна.

Странно, но я не испытывал ни злости, ни гнева. Пожалуй, только чувство удивления. Да, я, конечно, был слегка удивлен.

«Почему? — думал я. — Почему?»

В тот момент, когда увидел Индру, я, без преувеличения, почти физически ощутил, как все случившееся куда-то отступает, начинает таять... исчезает в прошлом. Кто знает, может быть, все, что произошло, не столь важно, как мне показалось?

Внезапно я посмотрел на все это со стороны. Взглянул на себя, взглянул на Индру и многое понял. Понял, какая настойчивость и сила понадобилась шестикласснице по имени Индра, для того чтобы предложить дружбу мальчишке-однокласснику по имени Арманд, который слишком часто приходил в школу с грязными ушами, с грязными обкусанными ногтями. У него даже носового платка не было, и когда возникала такая необходимость, нос он вытирал рукавом. Еще невероятней все показалось, когда я подумал об Индриной маме. Она поощряла нашу дружбу, покровительствовала нам. С ума сойти! Разрешить родной дочери дружить с мальчишкой, прекрасно зная, в какой семье тот живет! Да мою семью и семьей-то назвать было нельзя. Хуже и быть ничего не может. Теперь ясно, почему мне казалось, что мы друзья не только с Индрой, но и с ее мамой. Наконец-то, наконец-то я это сообразил!

Досада, которая сопровождала меня, когда я вошел в класс, постепенно проходила. Таяла, как серовато-белый снег на ярком весеннем солнце. Мои эмоции, особенно отрицательные, прочностью никогда не отличались.

Неожиданно я понял, да, неожиданно понял, что, как ни странно, но в том, что я стал таким, немалая заслуга и Индры. За то, что я такой, какой я есть, я во многом должен быть благодарен ей. К счастью, мои идиотские мозги наконец заработали, и мысли текли непринужденно. Лучше, чем когда-либо, я понял, какое огромное количество людей, прямо или косвенно, помогли мне стать таким, каким я стал. Тем Армандом, который сегодня сидел в классе. Независимо от моего желания я всю жизнь буду связан с этими людьми невидимыми прочными нитями.

Но Индра оставалась Индрой. Ведь это из-за нее я когда-то стал систематически мыть уши — надоело вечно выслушивать ядовитые насмешки. Перестал грызть ногти. Это Индра объяснила мне, что нос нужно вытирать носовым

платком, а не рукавом. Я и учиться стал лучше потому, из-за того, что хорошо училась Индра. У нее несомненно был педагогический талант. Недаром она собиралась поступать на педагогический факультет. Это Индра старалась сделать все, чтобы не оборвались во мне еще не оборвавшиеся нити, и пыталась связать порванные. До чего же поздно я это сообразил! Мне даже стало ее жалко. И себя жалко, и Индру жалко. Жалко, что всему настал конец. Почему понял я это так поздно?

Бестолочь. Поздно, поздно... Слишком поздно.

Я заерзал на стуле. Он жалобно скрипнул, и учитель, появления которого в классе я даже не заметил, недовольно оглянулся.

Да, я дал разорваться нити, которая ни за что не должна была разорваться. Мне захотелось ее немедленно связать. Сейчас же. По горячим следам.

«Осел! Болван стоеросовый!» — ругался я про себя.

Надо было что-то делать. (Нетерпение — одна из главных черт моего характера.) Обернулся к Лолите за листком бумаги. Она протянула мне вырванный из тетради лист, и пока Балиньш записывал на доске равенства, я нацарапал на самом верху:

«Прости, если я тебя обидел. Я не хотел. Ведь мы можем остаться друзьями?»

Не совру, если скажу, что эти три предложения Индра читала чуть не полчаса. Читала, кусала авторучку, снова читала. Время тянулось как черепаха. Интересно, о чем она думала? Мне казалось — я вот-вот взорвусь. Раз три она прикасалась к бумаге шариком и тотчас отрывала руку. Наконец решилась и стала писать:

«Смешной! Это я должна просить прощения у тебя. Вела себя глупо. Но сказала правду».

Слово «правду» она подчеркнула.

«Знаю».

Это я приписал чуть ниже.

«Где ты был вчера и позавчера?»

«Нигде. Собираюсь бросать школу. Пора подумать о себе».

Следующее предложение она написала сразу же.

«Это необходимо?»

Медленно, нехотя выводил я буквы.

«В квартире отключили электричество. Мамаша опять пьет. Ты ведь знаешь, как мне живется. Думаю, будет лучше, если пойду работать».

«А тебя отпустят?»

«Не знаю. Думаю, что да. Сегодня говорил с Р. П.»

Вопросительно взглянув на меня, Индра написала:

«Ты на меня не сердись?»

«О чем ты? Никогда в жизни на тебя не рассержусь».

Хотелось подчеркнуть эти тремя жирными чертами. Не знаю, почему не подчеркнул. Поймет и так, если захочет.

«Поэтому ты такой грустный»

В конце предложения не было ни вопросительного знака, ни точки. Я не понял — это вопрос или утверждение. Все равно. Я быстро написал:

«Теперь, как только тебя увижу, мне всегда будет грустно».

Индра опять взглянула на меня. Математик, повернувшись к классу, произнес:

— Надеюсь, наконец вы все поняли. Поразительно, сколько можно вколачивать в вас одно и то же.

Глазами я показал на лист бумаги.

«Не надо врать».

Кстати, более дурацкой фразы не знаю.

«Я не вру», — писал я мелкими буквами, так как на этом чертовом листке уже почти не оставалось свободного места. Вначале нам это как-то не пришло в голову, писали не думая.

«Я не вру. Я же тебя любил».

Уголкем глаза я увидел, как Индра, откинув со лба прядь волос, задумчиво посмотрела в окно, за которым ветер трепал желтые мокрые листья. Потом побелевшими от напряжения пальцами вывела:

«Я тебя тоже. Кажется. Какое-то мгновение».

«Одно мгновение???»

Вопрос с тремя вопросительными знаками я уместил на самом краешке листка.

«Мгновение, которое длилось два года».

Вот тут мне захотелось заплакать. Предельно честное, не оставляющее никаких надежд признание.

«Мгновение, которое длилось два года».

Это предложение она написала слева, вдоль свободного поля. Вот он, ответ. Я положил ручку. Не о чем было, да и негде было больше писать. Индра взяла листок, тщательно его сложила и сунула в тетрадь. Я сидел, не шевелясь и стараясь на нее не смотреть. Тупо, бессмысленно уставился на доску, возле которой снова суеился Балиньш.

19

Честно высидел до конца урока.

И каково же было мое удивление, когда я, выйдя из школы, на скамейке возле троллейбусной остановки увидел Рудите. Это действительно была она, и взгляд ее был обращен, без всякого сомнения, в сторону школьного подъезда.

— Ты меня вчера искал, — сказала она.

— Откуда ты взяла?

— Мир тесен, люди все друг про дружку знают, — продекларировала Рудите.

— Так вот почему Арманд сачковал, теперь ясно, — услышал я за спиной голос Мартыньша. — Семейные обстоятельства.

И надо же было именно в этот момент всей этой троице — ему, Эджусу и Дидзису — проходить мимо! Этот тупица Мартыньш иногда просто невыносим. Захотелось ему двинуть.

— Не дуйся! — на ходу он еще покровительственно похлопал меня по плечу. — Приходи лучше в среду на футбол.

— В очередной раз не удалось найти компаньонов?

— Да разве же нашу размазную интересуется активный спорт? Вечно мы с Эджусом за всех отдуваемся. Давай приходи! Серьезно! Собираемся за полчаса до начала возле Дома спорта, — кричал Мартыньш уже с перекрестка.

А мы с Рудите между тем медленно пошли по улице.

Она тащила меня в кафе. Я же не испытывал ни малейшего желания следовать в этом направлении. С трудом отговорил ее.

— Так хотя бы проводи меня до дома, — капризно произнесла она.

Она вела себя так, будто мы были знакомы сто лет. Это немного действовало на нервы, но я все же согласился:

— Ладно.

И мы пошли в сторону Задвинья.

— Ты вчера не был в школе? — спросила она.

— И позавчера не был, к вашему сведению, — ответил я.

— Сачковал?

— Сачковал.

Некоторое время мы шли молча.

Мимо, лязгая, мчались трамваи, шуршали шинами троллейбусы. Улица рычала, гудела. От шума закладывало уши, и чтобы услышать друг друга, надо было буквально орать изо всех сил.

— Ты чего меня искала? — спросил я, когда мы шли уже по вантовому мосту.

— А ты чего вчера искал меня?

— Просто так.

— Ну и я просто так. Не вообразил же ты, что я в тебя по уши втюрилась?

Честное слово, ненормальная какая-то.

«Она что, и вправду с приветом или притворяется?» — подумал я.

— Ясно, что не влюбилась, но хотелось бы все-таки знать, за что такая честь.

— Да отстань ты!

Но я не отставал. И на вантовом мосту мы чуть не поругались.

— Я вчера приходил к тебе, — сказал я наконец как человек.

— Меня дома не было. Сидела у подруги. Вернулась часов в одиннадцать.

— Знаю, что не было дома. Зря проторчал внизу чуть не полдня.

— Никто не заставлял тебя ждать. И приходите не просил.

Опять она принялась капризничать, когда я совсем было уже успокоился.

— Давай не ссориться, — предложил я. — Ждать, конечно, меня никто не заставлял, но мне хотелось тебя встретить. Сам не знаю, почему.

— Вот и со мной так бывает.

— Странно, — пробормотал я, так как не понял — правду она сказала или нет.

Снова мне послышался скрип раскачиваемых ветром качелей. Увидел детскую песочницу с мокрым серовато-желтым песком и коричневую пластмассовую лопатку, ту, что положил на край. «Интересно, где она сейчас? Все там же или кто-нибудь подобрал? — подумал я почему-то. — Вероятно, лопатку эту купила малышу мама, а может, бабушка, а он взял и потерял».

— Все можно объяснить, — сказал я.

— Ты все про то же? Отстань!

— Нет, я хочу знать.

— Обязательно хочешь знать? Почему? Не все ли равно?

— Не все равно. Ведь ничего не случается само по себе. Все, что происходит, как-то взаимосвязано. Между прочим, я сам в этом убедился. Если где-то нарушается равновесие, рушится и все остальное. А вот где это случится, заранее не угадаешь.

— С ума сойти, как ты все усложняешь!

— Ничего я не усложняю.

Рудите шла, опустив голову, и молчала.

— Странная ты девчонка, не понимаю я тебя, — сказал я.

Сказал потому, что после спора, который грозил перерасти в ссору, мне захотелось сказать ей что-нибудь хорошее. К сожалению, что сказать, я не знал.

— Не болтай глупости! В том-то и дело, что ничуть не странная. Обыкновенная. Обыкновеннее не бывает, — ответила она, словно бы угадав, почему я так сказал, и опять замолчала.

Мост остался позади.

А меня снова одолели навязчивые мысли все о тех же растреклятых нитях. Никак я не мог от них отделаться. Вполне вероятно, я незаметно сходил с ума. Я просто видел эти нити, тянущиеся от одного человека к другому, сплетающиеся в огромную сеть. И люди чаще всего этого не замечают. Но все мы, все без исключения связаны между собой. Иначе и жить невозможно. Куда ни глянь, все опутано этими невидимыми нитями. Прозрачными, хрупкими, легко исчезающими.

Вот я иду по улице. Мимо мчится трамвай. Я не знаю людей, которые едут в трамвае, но в этот миг наши пути пересеклись. Если проще, все мы зависим друг от друга — прямо или косвенно, больше или меньше, но зависим. И зависимость наша гораздо больше, чем мы думаем. От скользкого мимолетного взгляда до потребности довериться. От сдержанно-холодной вежливости до необходимости жертвовать.

Я вспомнил ящик с мокрым песком, коричневую пластмассовую лопатку. В тот момент, когда я взял ее в руки, я соприкоснулся с мамой или бабушкой, которые покупали эту лопатку, а через них и с их малышом, для которого она была куплена. Я подумал еще, что эти нити связывают между собой многие поколения. Идут они из прошлого, тянутся в будущее, образуя общность, которую называют человечеством. Приходят из истории, формируют настоящее, простираются в будущее.

«Как в общем-то просто», — пораженный, подумал я, хотя прекрасно знал, что нити эти, случается, рвутся, что порой их рвут намеренно и что порой их невозможно связать.

Да, нити, случается, рвутся, и равновесие нарушается. Нарушается равновесие — возникают новые несчастья. Не слишком ли много несчастий? Не становится ли мир миром прерванных нитей?

Концы нитей необходимо соединить! Вот что важно! И соединить именно те, что нужно! Соединить обязательно. И сделать это надо хотя бы затем, чтобы человек не остался один в толпе людей, в этом вечно куда-то спешащем мире. Одиночество убивает. Нельзя же уподобиться соломинке, которую ветром может унести куда угодно, бросить на асфальт, поднять в воздух, чтобы через мгновение швырнуть в грязь. Кому хочется быть соломинкой, подхваченной ветром! Вот и надо добиться, чтобы никогда не рвались нити, которые связывают нас, которые тянутся из прошлого и исчезают в будущем. В том будущем, где нужно будет обрести равновесие, если оно исчезнет, где нужно добиваться стабильности, если мы не хотим стать пылью на ветру.

«До чего же просто, — подумал я, пораженный, чувствуя себя в ту минуту колоссальным философом, по меньшей мере вторым Гегелем. — Все это я сам придумал. Придумал, пока мы шли от улицы Эну до улицы Слокас».

Я поделился своим открытием с Рудите.

— Все верно, но тут уж ничего не поделаешь, — ответила она безразлично. — Время такое. А мы поколение, которому на своей шкуре приходится испытывать это несчастье.

Я не преувеличиваю. Она так и сказала — несчастье.

С пафосом я возразил:

— Согласен, но считаю, что мы как раз то поколение, которое обязано восстановить прерванные связи.

— Ну что ты, наивный дурачок, можешь восстановить!

Ее ирония меня не охладила, поэтому я спокойно продолжал:

— Не один же я. Ты, и остальные тоже. Мы — то поколение, которое страдает от того, что прерваны все связи, и которое во что бы то ни стало должно попытаться восстановить их, а то будет еще хуже.

— Желаю успеха! Ты что, серьезно?

— Конечно, серьезно.

Вдруг она погладила меня по щеке. Мы шли как раз мимо Ботанического сада. И она вот так вот просто, без лишних церемоний взяла и погладила меня по щеке. Я просто дар речи потерял. По телу пробежала волна мурашек. Такое со мной произошло впервые. Индра тоже, случалось, гладила. Но это было совсем по-другому. По-детски, наивно.

Никогда не предполагал, что простое прикосновение может так много значить. Возле ворот Ботанического сада я понял, что может. Воздух вокруг буквально замерцал.

Нет, серьезно, она мне начинала нравиться. Я в упор посмотрел на Рудите и сам от своего взгляда смутился.

Глаза наткнулись на изгиб груди под яркой курткой, подчеркивающей то, что под ней скрывалось. Отчетливо увидел светлый пушок на шее возле уха и маленькие зернышки туши в ресницах. Голова Рудите была где-то возле моего подбородка. Волосы ее благоухали. Сладко и вызывающе.

Ворота Ботанического сада остались позади.

— Похоже, я так и не узнаю, почему ты меня ждала.

— Может, потому, что ничего умнее не придумала.

На мой вопрос, что, с ее точки зрения, умнее, Рудите не ответила.

— А дома тебя не ругают, что ты приходишь когда вздумается?

— Они уже давно на меня не обращают внимания. Как, впрочем, и я на них, — сердито бросила моя спутница.

Я сказал, что не очень-то в это верю.

— А ты многих знаешь, кто живет по-другому?

— Не многих, но некоторых.

Говоря так, я, конечно же, имел в виду Индру. Ужасно, что я не мог о ней не думать, даже идя рядом с Рудите. С девушкой, которая была полной противоположностью Индре. Неужто это навсегда?

И снова я стал вспоминать, как были мы с Индрой вместе, и почувствовал себя стопятидесятилетним стариком.

Когда показались первые многоэтажки Иманты, ради приличия я поинтересовался, чем занимаются предки Рудите.

— Отец — языковед, — принялась она рассказывать, — литератор-языковед, как говорит он сам. Работает в институте. Борется за боевитость, правдивость и честность в литературе. Дома за чтением засыпает в мягком кресле. Разве не смешно?

Ответил, что ничего смешного в этом не вижу. Пусть себе спит, раз спать хочется.

— Я с ним уже месяц не разговариваю, — продолжала Рудите. — Хочешь знать, в чем его самая большая заслуга?

Ответил, что хочу.

— В том, что я не читаю, — ответила девушка. — Как перестала читать несколько лет назад, так не читаю и читать не буду. Разве что дютики Колберга, другие книжки и не открываю. Не верю я больше этим писакам. Большинство из них врут. И как еще! И мой папочка тоже врёт. Врет, призывая остальных быть честными и правдивыми, принципиальными и порядочными. Так врёт, что уши вянут, он самый чудовищный лгун на всем белом свете, и его вранье — самое чудовищное вранье на свете.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю. Он с таким остервенением борется за то, что и так всем ясно, нападает на других, сам ничем не рискуя, раз в год меняет взгляды на прямо противоположные, объясняя это тем, что так требует время, а сам все это время распрекрасно надувает матушку, путаясь с ее же подругой.

— А мама что?

— Что мама... Мама ничего. Не знает или делает вид, что не знает. Она у меня большой человек. Слишком большой, чтобы опускаться до мелочей быта. Работает в редакции. Пишет, что прикажут, — и о доярках, и о новых фильмах. Да ты наверняка читал. Нормально пишет.

Рудите замолчала, и я сказал:

— И все же тебе хорошо — оба родителя все-таки.

— А ты скажи — какая мне от них польза? Никакой.

— Не знаю. Возможно. Но они у тебя есть. Оба — и отец, и мать. А это уже много.

— Это только со стороны так кажется. А я вот иногда думаю — тем, у кого нет родителей, гораздо проще. Знаешь, что нет, и все дела. Мне... С тех пор как я себя помню, мамуся и папуся всегда были заняты. И времени на меня у них никогда не было, ни крошки. Похоже, и мамуся завела любовника. Часами сидит перед зеркалом, наряжается, смешно просто. А папаша настоящий тюфяк, ничего не замечает.

Мы шли по вдоль и поперек перекопанной улице, хотя совсем недавно я прочел в газете, что новый район завершён и сдан в эксплуатацию раньше срока. Вот тебе и раньше срока — яма на яме, кучи песка, куда ни помотришь, какие-то бетонные горы, под ногами открытые канализационные люки. Всякий нормальный человек, упавши он, сломаёт себе шею.

Впереди была канава. Я перепрыгнул и протянул руку девушке. Ее ладонь оказалась в моей. Рудите оперлась на мою руку и прыгнула. Девчонка оказалась тяжелее, чем я предполагал. Мы пошли дальше, и Рудите вцепилась в мой локоть.

— Так надежнее. Не упаду, — сказала она.

И молча мы зашагали по зверски перекопанной улице.

(Продолжение следует)

У Л Д И С Б Е Р З И Н Ъ Ш

I

Сначала: холодная звездная ночь поля
в снегу реки во льду далекие окна в ог-
нях мы три мужика гоним день к западу и
снова пустая ночь

ну и ну сани промчались мимо наш бо-
женька едет

II

цыган идет по вытянутому меридиану в
зеленых штанах с попугаем в руке из Егип-
та идет поет и смеется
только бы не остутился

III

хозяин идет со двора пропитан солью и
солнцем на каждом шагу воз сена в одной
руке деревянный жбан в жбане хмельное
другая рука в кармане не грех почесаться

IV

я иду через лес рыжие волосы по ветру
золотые денежки пересчитываю
назад не смотрю знаю декабрь за спиной.

Как искать

Как мне искать цветок папоротника (как
тебе искать) как.

Искать в песочнице искать под елоч-
кой свежей.

Искать под подушкой утром.

В школе искать под партой.

На карте мира искать (на дне моря
и на вершине горы).

Искать в книгах (листья за страницей
страницу) разглаживать бережно что там цвело
сто лет назад.

(Ах Библия черная пальцы дедов моих
ты знаешь сколько лет и зим помнишь хо-
зяек старых и молодых крестины свадьбы и
похороны голоса журавлей и коров в
закутах рассказа может было
может пришел как-то утром с лу-
га ноги в росе с головы до пят
в росе — небо в росе — держит в
руке растерянный куда спрятать
в Библию полистал вложил один-единственный
раз могло же случиться) искать.

Искать где старики пьют пытаться может кто
вспомнит может кто мимо шел.

У детей спросить говорят знают всякие
вещи.

Пристать к учителю пусть угадывает а вдруг угадает.

В горячей печи искать во рту
смеющемся искать в сказках Латвии.

По-немецки учиться в истории древней
искать «в таком-то таком-то году в лесах цве-
ли невиданные цветы слезы Иисуса той осенью
началась чума».

Искать где солдаты шагают за ротой ро-
та колеса и гусеницы кто знает может
как раз из принципа там растет не вытоптан
и зацветет.

Искать где зарыт повешенный где рас-
стрелянный брошен кто знает вдруг пламенеет
там вдруг царапает землю вдруг
там зацветет.

Искать у себя на родине (у тебя на ро-
дине) у них на родине.

Искать в небе (искать на земле)
под землей искать.

Как мне искать траву Яна (как тебе
искать) как найти.

Искать в январе на льду под снегом в апреле
в грязи жарким днем на рынке
среди помидоров рыбы и птицы в летнюю
ночь искать в лесу среди запахов.

Рыцарь и Санчо Панса

1

Скачет рыцарь на хромом одре
градами всеями скачет на трех ветрах.
Скачет рыцарь скачет денно
скачет ночью.

Скачет рыцарь высокую думу думает
а выдумать не может.

Скачет рыцарь скачет смеется и
плачет.

Сколько на земле чертей и великанов
это знает.

Сколько будет дважды два этого
не знает.

2

Скачет Санчо Панса на ослике
деревней скачет черт что за ветер.

Скачет Санчо Панса скачет день
скачет ночь.

Скачет Санчо Панса одну думу думает
вот ведь земля круглая и никуда не
ускачешь.

Зима

Три кобылы что такое
Смерть навстречу правит стоя

Хриплый голос черный волос
Влез в канаву санный полоз

Смех и скрипка снег и скрипы
Ищут в уши лезут липнут

Едут ряженные гой-ля
аю.

Ну а я и глаз не поднял

По кочкам болотным земля убегает чибис
кричит но леший еще далеко иди побороться
со мною заяц браток.

Бог со двора на двор и собаки лают но
нет ни медведя ни волка иди заяц браток.

Скоро полночь: храпит жеребец землю ко-
пытом роет я подпоясался туго и жду заяц браток.

Пламя гниет и тлеет ольха год кончился
последний умирает все запорошило.

Птица кричит на острове тоскует не жалеет
больше ненавидя проклятая замерзает болото все
запорошило.

Два три четыре пять.

Дай руку там темно иди год кончился ты
остаешься должен все запорошило.

Зазеленели балки, соловей стал задыхаться,
горлом прет любовь, клокочет, язык в глубоком
обмороке (что, речь начнется!) три коротких
зеленых ночи бочка бродит, сердится,
четыре долгих дня (Перкона колесница близко —
что, речь начнется!) суетится шмель,
но двое в броне, при копьях, в свежей борозде
рубиться начали, схватились крепко, небо еле
дышит, если хоть капля упадет в Двину,
все звери захмелеют, ели уже в тумане,
снова бочка в погребке стучит, пинает нож-
ками, крапива жалит на расстоянии,
пухнет борозда, и в каждой яблоне есть что-то,
что заставляет отвести глаза (и замолчать —
ну, где же речь!)

С глазу на глаз в Елгаве, в Питере и в
Риге (и настоящее имя ни к чему) какая там
история: сам, на свой страх и риск, и дверь
не скрипнула, ни одна собака не проснулась,
со всеми пропусками; и граммофон затыкается:
жарь, мое солнце, режь, моя музыка и пони-
маешь.

Эй, типографская краска! Цветите, розы
политики! Хватит мыкаться по ярмаркам и
богадельням — вдарь в жабры, желчь! Алкай,
печень! Трясись, губа! На свинцовые пряники
течет моя дурь и каплет, в газете варится. Ка-
кая там история: мы сами. Даешь большой огонь!
Дух захватывает и прет через край (а смысл
в скобках, и тело в скобках) мы впереди исто-
рии на один шаг (о, темнота!) мы на один
миг впереди истории, пуйс, понимаешь!

«Сколько до станции! — Еще две версты».
Денег не пересчитывали, вот адрес, вот
паспорт. Вот опушка, подморозило, меркнет
Шестой год (но ведь Шестнадцатый! —
шестой! — шестой! — шестой!) все осталь-
ное, как сон — неоспоримо, но непереда-
ваемо, по Латвии по заснеженному полю в
полшестого убегая был застрелен, тут начи-
нается история (о, стекленеющий взгляд!) и
понимаешь.

Вот я. Вот ты, вот он.

Придет забытый, спросит: там кровь лег-
ла на траву, так кто те травы скосит!
Ведь был колчан и стрелы, я целил птицу
смело, раз вышел Бог навстречу без птицы —
в чем тут дело! Материя дробится, пространство
рвется, слышишь — неровное дыханье (Отец
наш, что ли, дышит!) сквозь стекла
семантические нельзя увидеть лица,
и не с кем выслать вести тем, кто
еще родится, у чисел нету смыс-
ла, все в черной речке тонем, и что
учили в школе, у черта спит в
ладони,
нет, это чушь. Вот я. Вот ты, вот
он.

Пиво

Ржавеет соль, обложен пленкой день
что, год остановился! лень поворотила
на зиму; что, год остановился!

Язык обложен так идет зима.

Сады пустеют так идет зима спит муха
в гробу стеклянном падает комар на свое жало
на ветке птицы нет, стекает утро позднее
обрушивается небо на землю бежит в берлогу
зверь приходят умершие блюсти хозяйство ворчат
ворчат и тонет время как ведро в колодце.

Тогда хорек варит пиво.

Перевел
СЕРГЕЙ МОРЕЙНО



ФОТО РЕЖИГЮСА ПІЧЕСЬ

АРВИД КОЗЛОВСКИЙ

СОЛНЦЕ И УХОД ЗА НИМ

То есть, отправься они в путь чуть — тридцатью тремя днями — раньше; то есть, не будь проволочек со снаряжением или провизией, допустим и скажем; то есть, не подвернись именины крайне ранимой(-ого) тетушки (дядушки) — воспаленные глаза их не увидели бы чужого флага. Флага, который давился от смеха. Норвежцы не виноваты, но флаг действительно давился от смеха.

Мог быть еще (маловероятно) драматичный спурт, с симметричным, навстречу друг другу (какое зрелище!), приближением к Точке.

И даже зеркально воткнутые древки, с уверенностью обеих сторон в том, что напротив — рожденное усталостью неудачное отражение, всего лишь.

Скоттом, последней его экспедицией, Ваши мысли были заняты давно. Вы, кажется, уже писали о нем.

Экспромтом могла быть лишь идея сплести две темы. Обоюдное оттенение.

Вышло, конечно, безукоризненно. Только вот со сном... В «оригинале» ведь было по-другому, громче. Или так только слышится теперь? Во всяком случае этот сон Ваш, Константин Георгиевич, преследует меня неотступно. Часто вспоминаю, если менее демонично.

Избитый киноприем, когда все вдруг начинают беззвучно раскрывать рты, в то время как одному нечто важное сообщает закадровая судьба бочковым голосом и, как правило, средь бала.

Подсмотренный, он ведет себя как мой собственный: непрерывно изменяется, расплываясь, крошась, разрываясь на куски, складываясь в совершенно другое. Нестрогие вариации. Отогнанное возвращается переодетым, чтоб не узнал его, но говорит все об одном, все об одном — чтоб быть узнанным.

А когда соберутся, Птиейн у них спросит, что поделывали. Они, не задумываясь, ответят, что стояли у истоков. Птиейн скажет, что ну и ладно. Потом сдержанно засмеется, и все безудержно подхватят. Октавой выше, что требует навыка. А потом Птиейн спросит об игрищах. Кто-то ответит, что с игрищами потихонечку. А он: «Что так?» А тот же кто-то: «А специфика игриш!» — «Именно! Потому что наносное не дремлет!» — скажет тогда Птиейн. Затем он разовьет эту мысль как следует. В конце же, проникновенно: «За горло ситуацию! Не так грубо, конечно, но, все-таки, за горло».

«По осмотре, по осмотре», — сказал сидящий у входа старик протянутой монетой. Торопливо перевернув страницу и выпучив глаза, он изготавился засмеяться или чихнуть. Не дожидаясь взрыва, я толкнул дверь...

На рыхлой — смешались клей и чернила — бумаге, на небольшом листочке, свежеприлепленном к тумбе, с тщательной неразборчивостью (мгновенно включается любопытство) было написано:

ГЭГ-ГАЛЕРЕЯ
ЖИВОПИСЬ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА
ВХОД ТОЛЬКО

Кривая стрелка указывала на этот двухэтажный, с грязными стенами дом. Я подошел и — «по осмотре, по осмотре»...

Удивили — всех. Не пишется такое за два часа. Пишется другое. Как шутка все было задумано, как развлечение! И все это поняли! Всем было ясно, что по исполнению и жанр! И вышли ожидаемые безделицы — милые, легкие, с искрами невзначай, с брызгами, с пуантами! Профессионалы ж — отдыхали!

Для Вас начиналось так же. И перо себе резвилось, и отвечали Вы впопад. Пока не был вдруг скомкан полуисписанный лист. И не был начат новый. И не ожили вновь... Как все это было неуместно!

Прикуривают, мелькают, тормошат, смеются, заглядывают, окликают, блюдо с персиками. А рука неудобно, скрюченно сидящего человека вздрагивает от боли, которую пишет. Люди медленно идут к уже исчезнувшей цели. Холодное солнце, обжигающий ветер, отчаянное спокойствие. И нежность, не слезоточивая, не запрограммированная, не из похоронного трио, а из последних сил перекрикивающий вьюгу шепот любимым — такая. Застыла улыбка на уткнувшемся в ледяную корку лице. Замерзла улыбка теплому ветру, ветру, от которого поют колокола и цветы, говорят.

До этого — давно — Вы видели сон и успели записать его.

«Странный сон. В Швеции. Рождество, вся страна в снегу. Получил приглашение от короля приехать в горы, на горную станцию, на праздник «со-ранга». Оказалось, «со-ранг» — южный ветер среди зимы, теплый, свежий, насыщенный запахами тропических трав и плодов. Он омолаживает, освежает, совершенно меняет людей, стирает с них пыль и грязь, раскрывает весь блеск и глубину. Я поехал. Фантастика...»

Собственно, гэга я в тот день так и не почувствовал. Только потом, много позже, понял, что был он снаружи, за окнами, там, где качалась паутина, и тихо плакал мальчик с разбитой коленкой. Он воздух, а мы дышим им, другого воздуха не имея. Гэг-галерея совершенно случайно совпадает своими размерами с одной из планет, вернее — с засиженной ее частью.

Нет, лучше, когда все будут в сборе, Птиейном молвится: — Уважаемый серпентарий! Особи! Особый день у нас сегодня! Особый потому, что я хочу сделать вам подарок! Сказать, что это будет удовольствие, — не сказать ничего. Божественное наслаждение по божеской цене! Есть, правда, нюанс. Побочный эффект, крошечный совсем. Но, если вздуматься, то с ним и острее даже. Черпнем классику, не успевшего истлеть нетленного. Вспомним Улисса. Как он спасся? Привязал себя — вот как. Привязал и проплыл мимо. Сирены-то надрываются! Сирены-то воют! А он преспокойно мимо. Только вспотел чуть-чуть. Недурная скрижаль, кстати. К чему я это? Да к тому, что нас вскорости ожидает, к подарку, к моему нам. Точней, к подарку моего единственного друга. Впрочем, если учесть его традиционно странную интерпретацию, — подарок от меня, да. Хотя натолкнул он, мой загадочный загадочный. Кто-нибудь видел его в последнее время? Я его что-то в последнее время не вижу. Он что-то не заходит в последнее время. Не случилось ли с ним, не дай бог, чего-то? Он ведь так порывист, так пылок, так неосторожен! Было бы жаль. Он прекрасен в вышеперечисленном. Да.

Носком Птиейнова ботинка укажется на обрывающийся край. Птиейн девически потупится, увальни, догадавшись, переполнятся восхищением. Тогда Птиейном гомерически икнется, а эхом раскатисто повторится, как миленьким.

Старик и женщина с его глазами — они явно были рады возможности поиграть со мной, увлечены какой-то старомодной и оттого трогательной церемонией одурачивания. Близкой по чопорности к нему швырянию тортами. Я очень быстро догадался, что афишка — надувательство, уловка; я, недооценив замысла, клюнул. И, не попади в ту, последнюю комнату, пребывал бы в неведении до сих пор. Какое профессионально подготовленное «вдруг!» С кривлянием, полусонного, меня втолкнули туда, где не зажмуриться, откуда не убежать, где видишь сквозь закрытые веки, сквозь ладони, отвернувшись. Но я ничего не увидел тогда. Возможно также, они ничего подобного и не предполагали. И все примыслил я. Давно искавший повод. «Вход только».

Увидев вошедшего меня и приветливо улыбнувшись, молодая женщина в синем халате поднялась с кресла, сказала: «Минуточку» — и мокрой тряпкой проворно вытерла висевшие на стене акварели. «Ну вот! Теперь можно!» — и классическим движением отбросила со лба прядь. Теперь было нельзя. Вежливо хмыкнув, я двинулся дальше.

И «Меньшинство, пожирающее большинство» была повернута ко мне мелким узором прессованного картона с трехзначным на нем инвентарным номером. Над нею вспыхивало и гасло зеленое: «ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ ТИШИНУ!» Микроскоп, предназначенный для рассматривания «Шагреновой ойкумены», был сломан.

Меня окружало множество такого рода шуток.

Птиейном Птиейна назвал папа. Вроде бы, это что-то по-гречески. Бог или болезнь. Птиейну его имя нравится. Звучит как-то мускулисто, адекватно. Непонятно, в чем тут секрет. Может быть, просто в расплескиваемом повсюду обаянии личности? Птиейн никогда, разумеется, всерьез — смешно! — не задавался этим вопросом. Но все, кого Птиейн пытливо расспрашивал, — все в один голос подтверждают правильность этой догадки. Как и прочих, перманентно Птиейна озаряющих.

Местечко-то! Спасибо, что показал! И буквально же за день до! Как будто знал! Да. Ты тоже мог бы, но так сложилось. Не хочется сейчас об этом. Не зажило еще.

И Птиейн стал думать о хорошем, о том, как он ворвался в литературу. Таки да!

Возможны ведь мелкие неполадки. Или не вполне добросовестно выполненный расчет. Тогда сожжет не всех. Тогда оставшиеся — отряхнувшись и наскоро возблагодарив обгоревшие небеса — начнут весело размножаться. Никакое не продолжение.

С опаской смотрят мутанты на не покрытые шерстью лбы, на отвратительно пятипалые руки. Мутанты боятся звуков, издаваемых время от времени этими существами, и глаз, из которых течет иногда жидкость, теплая и соленая, что неприятно.

Уродцев, к счастью, все меньше. Вот уже редко-редко попадается.

Но гадливость все растет. Присно мерзкими пребывают исчезнувшие в памяти мутантов.

И кричат хрипло, и воют от ужаса, и катаются по земле, наткнувшись на ветхий альбом; и жгут улыбающиеся лица (мое — скажем, к примеру, хотя бы, почему нет, возможно, не исключено; наше, в любом случае — наше), и топчут в ярости пепел, и не могут уснуть.

Смеялись бы, узнав о родстве. Нечем узнать. Никогда не смеются.

На опрокинутой арфе что-то вялится. Сидящий рядом — счастлив. Сейчас он отдышится и осознает во всей полноте. Прокушенное горло менее удачливого приятеля дает законное право на пользование престижными синими струнами. Но не это главное. Из-за этого не стоило бы риско-

вать. Главное, конечно, струны красные. Вот они неотразимы. Красные струны — заветная мечта каждого. Это, собственно, основная цель жизни — обладание замечательными красными струнами. Единственная, собственно. Уже совсем близко подполз новый сонскатель. Буколика.

Унстлерова «Гармония серого с зеленым» была криво заткнута за тонкую, с потолка в пол, сочившуюся трубу в углу. Слышно было, как бежит вода. «О, это наша гордость», — сказала женщина. — Как сразу чувствуется кисть! И полотно! И холст ведь тоже чувствуется! А какой мазок! А колорит! Вы чувствуете? Налицо подернутость чем-то неизъяснимым! Ощущается игра! Школа проступает! Нет, теперь так не видят, не умеют, не могут, да. И ни одной притянутой детали, обратите внимание и вдумайтесь! Как все на месте, как поет, как работает!»

Сохраняя взволнованность взгляда, она с минуту порылась в карманах и извлекла оттуда маленький ножик с перламутровым черенком. Затем двумя ловкими движениями лишила изображенную мисс Сайсли Александер одного глаза, задумчиво этот глаз переломила и вздохнула.

«Взгляните! Мы едва прикоснулись к чуду, и его уже нет! Оно как бы потухло! Что-то в нем нарушилось, сломалось, остановилось, увяло, поблекло, осыпалось, умерло! И нам становится грустно. Но ведь мы недолго грустим! Но мы ведь понимаем, что не так все плохо, как на самом деле!

Ну-ну-ну-ну! — она взверошила мои волосы. — Будем из-за ерунды? Когда по горло копий, тщательно хранимых и охраняемых? Ну-ка, прекратите дуться! Сейчас же! Успокойтесь и дальше сами, без меня».

Одобрительно тряхнув несколько.

Птиейн заерзал: — Объясните мне, наконец, что это он тут пишет? Это сон мы увидели? Или это наша призма так преломила действительность?

Тряхнув несколько раз головой, она ушла. Скрипнула одна из дверей, и просунулось на мгновение лицо старика, изобразив «правда, у нас весьма и весьма?».

Птиейн сказал «уой» и стал листать дальше, на предмет что там у него еще.

Старик посоветовал непременно прийти на выставку наскальной живописи, ожидаемой со дня на день.

Птиейн: — Что это за «гэг» за такой? Что за гусиное слово? Что за неудобьблаголемость? Что за неестественное отправление? Что это в переводе с жреческого? А? Чего-чего сдвинулось? Ах смысла сдвинулось? Ах смещение? Ах вывернутость! Ах мышления! Наизнанку? Ой! Ах метафора в реальность и наоборот? Ах даже свержение логики? Ах прием такой? У мага Сеннетта? Ах не мага, а Мака? Ш-ш-ш-ш-шты вы говорите! Как емко, емко как! До чего интересный поток информации переворачивает наши представления на другой бок!

И всё объединяла неприятная бойкость, хотя порой даже не было ясно, в чем она, присутствовавшая неизменно, проявлялась. Казалось, что число картин непрерывно увеличивается. Что сами стены, пораженные неведомой болезнью, покрываются ими.

Таки ворвался! Все то жалкое, доптиейновское, не выдержало, конечно, ни свежей струи, ни тем более привнесенного огня. И прекратилось. Уцелело лишь одно направление, «Кровь с молоком». Оно ограничило свою деятельность критикой Птиейнова — так совпало — творчества, критикой, негибкой в своей задушевности. Птиейн считал неприличным вмешиваться в диктуемый им естественный ход событий.

Культурная жизнь судорожно расцвела. Оба трехстишия печатались на одежде, вышивались на скатертях, плясали неонами, пропитывали брандмауэры, ставились в театрах, ложились в основу телесериалов, парили в небе, пелись и,

образуемые ногами волшебниц синхронного плавания, выныривали вдруг из воды.

Но Птиейн не зазнавался. Не тот характер. Птиейн внимательно прислушивался к мнениям о своем творчестве. Сам прислушивался и требовал того же от подчиненных. Те, растворившись, мели улицы, сидели в кафе, преданно дружили, любили и — прислушивались. Порою Птиейн узнавал о чем-то недопонимании его творчества. Он очень огорчался. И в меру сил старался помочь. И в силу мер, как правило, удавалось.

Собрание сочинений Птиейна становилось все многогранней. Благодаря Dubia, которые подбирались с большим вкусом и были чудо как хороши, просто чудо. Птиейн все это жадно читал, обильно нотабенировал, делал многочисленные выписки, потом сосредоточивался и вскоре чувствовал приближение новой книги.

Как кровь, утратившая способность свертываться. Дух захватывающая расширительность толкований, при которой полярные понятия могут сливаться ли в одно, менять ли знак на противоположный, иногда поминутно. Они, понятия, не толкуются даже — толкутся, дробятся. И захватан дух. Расширительность эта проникает в нас все глубже. Не терпит пустоты и ее природа.

Когда-то, почти мимоходом, иронично, в качестве причудливой интерлюдии исполненный английским виртуозом, — Сластигрох страшен угаданностью.

Птиейн: — Как сказано! Я близок к смятению шести чувств!

В последней комнате, неосвещенной и самой большой, не было ничего, кроме двух узких окон; не окон уже — рамы были с мясом выдраны — правильных дыр. В нижней части каждой, почти задевая кирпич, качались и дергались на ветру белые, с аккумулятивными узелками лески листки. В простенке тяжело висела рама. Она держала неровные, свернувшиеся кое-где трубочкой обрезки. На ввинченной в стену пластине, желтого металла и тусклой, было выведено паутиной гравировкой, каллиграфичнейше:

«СОЛНЦЕ И УХОД ЗА НИМ»
РЕСТАВИРУЕТСЯ
НИЧЕГО СЕРЬЕЗНОГО
ДИРЕКЦИЯ РАССЫПАЕТСЯ В ИЗВИНЕНИЯХ
И ХВАТИТ ОБ ЭТОМ
ЧТО СМОТРИШЬ
ИСПАРИЛСЯ
МОЖЕМ ПОМОЧЬ
ВОТ ТАК-ТО ЛУЧШЕ
УМНИЦА

Поймав один из листков и разгладив его, я снова прочитал: «гэг». Там, внизу, по усыпанной гравием дорожке бежали дети. Я разжал пальцы, ветер подхватил игрушку и шлепнул о сухую ветку.

Старик сказал: «после, после». И зашуршал книгой, уже другой. Я ушел.

— Ну! — скажет Птиейн. — Струись, беседа!

И беседа заструится.

— Дерзость! Дерзость непростительная — пытаться анализировать Ваши творения! Нет сегодня человека, который имел бы на это право! Ну не родился такой Гарун Тазиев! И родится ли? — скромно начнет запевала.

— Ваше творчество представляет собой уникальное явление во всей современной литературе, представленной исключительно Вашим творчеством! Его ни с чем нельзя сравнить! Оно уверенно стоит особняком, прекрасным особняком в самом себе, что далеко не просто!

— Ваши книги настолько настояльны, настолько настояльны — что всё!

— Однако издаются они просто уголовно малыми тиражами! Хотя мы и покупаем их по несколько раз в день и получаем ежечасно почтой — книги Ваши как были, так и

остаются библиографической редкостью! Народ негодует! Вот письма, которые проникнуты!

Птиейн осадит. Он скажет, что хотелось бы поконструктивней. И беседа заструится опять.

— Удивительно сдержанный, аскетичный бомбаст!

— Безупречное изящество анаколуфа, который, в свою очередь, как бы устремляясь, что всегда требует тончайшего

— А гипербатон? А гипербатон, я вас спрашиваю? Ненавязчиво и в то же время обволакивающе

— Лаконизм Ваших плеоназмов, как, впрочем, и новаторское влечение кеннинга в будничную оноματοпею

Птиейн: — эпентезу

— эпентезу

Птиейн: — пситтацизм

— будничный пситтацизм, позволяет отчетливо проследить глубину

— А какой бустрофедон!

Птиейн скажет, что бустрофедон — полнейшая для него неожиданность, что у него и в мыслях не было, что он, наоборот, сколько себя помнит, старался избегать, и если проследживается, то плохи тогда Птиейновы дела, и он сомневается, стоит ли в таком случае продолжать. Они закричат, что никакого бустрофедона нет и не может быть и что все его творчество — ярчайший пример самоотверженной борьбы с бустрофедоном, этим порочным явлением.

Началось с невзрачной, но перспективной загогулины эпохи оно. Которая, усердно совершенствуясь, и стала, наконец, тобою, удивительное надеждопитающее.

Надеждопитающее настолько, что тебе даже польстило (примешались, правда, и другие чувства), — польстило, что вошедшие семнадцатого — четвертого — семьдесят пятого в Пн . . . (название города и дата ни к чему: их постоянно сменяют новые; где-то встречают входящих и в эту минуту, ликуя), — тебе, конечно же, польстило то, что вооруженные точным знанием правильного пути подождали убивать уличенных в ношении очков, а уничтожили сначала все театральные костюмы и музыкальные инструменты. И лишь после этого.

«Ага!» — подумалось тебе под одеялом. «Вот так вот!» — подумалось тебе. Подумалось также: «боятся!», «как ни крути!» и что-то об искусстве.

Такая, вполне лошадиная, доза эндорфина — захлебнешься однажды — утончает мысль уже донельзя: ты, растроганный, видишь себя чем-то вроде универсальной точки золотого сечения, не менее. Пролетни.

«Ну-ка, последний разок!» Не задев его, сияющего, предмет и отражение полетели, сверкая, нашумели, соприкоснувшись, и замерли на квадратной плитке. Момент, неизменно Птиейна волновавший. При этом увлажнились его голубиные глаза. Он постоял неподвижно еще некоторое время и, осторожно переступив Венок, окунулся в дела.

Но тогда, на церемонии, это очень задело. Чуть не разрушился досадной случайностью продуманный до мелочей порядок. И не будь Птиейн Птиейном — еще неизвестно . . .

Две девочки подошли к нему, сидевшему, чтобы, низко склонившись (Птиейн этого не любил, но требовал) и одновременно встав на цыпочки (требовал не Птиейн, но масштаб его личности), то ли от волнения, то ли — ну и что, что гимнастки — не справились со сложностями позы, а может быть, и оттого, что закрыли в последний момент глаза (требовали медики), не в силах смотреть на лучи, которые исходили от Птиейна, тщетно пытавшегося эти лучи сдерживать, — девочки увенчали Огромным Золотым Лавровым Венком не прозрачное нечто (так славно выходило на репетициях!) над его головой, а голову саму. Яркое свидетельство признания, не встретив предполагаемой опоры, ударило по коленкам, а когда Птиейн, поблбднв, вскочил, — и по стопам. Но Птиейн не был бы Птиейном! Превозмогая боль, он обратился к народу с чем-то таким, от которого народ окрылился вконец. С удивив-

тельно метким и созвучным чаяньям. Сказанным долго потом пестрели газеты. А дети с удовольствием учили его наизусть.

Отсмеявшись, поохав и успокоившись, Птиейн все тем же каблуком выгреб из ямки осколки льда, после чего удачно в нее плюнул. Потом, вспомнив, что вот-вот к нему придут, приосанился, призадумался, выпятил губу и причмокнул.

«Друзья Сластигроха!» Хорошо-то как! Не всякий и оценит! Для сливок, безусловно. Четвертитоновая музыка, конечно.

Сластигрох! Люк Сластигрох! Гений, миляга, поросенок! Мечтал ты о таком, а? Ведь нет же, нет! Даже твои кора с подкормкой не разрешили такой дерзостью! Не мог ты вообразить, что созданное тобой не погибнет. Настолько не погибнет. Что, стремительно развиваясь, оно... В общем, спи спокойно. Конец речи.

Да шучу, шучу! Какой там конец! О тебе должно говорить бесконечно, предтеча! Извини, что сижу.

Безусловно, и в то время ты не был одинок в понимании человека как не-острова. Это бешено носилось в воздухе. Но. Они приготовили сироп, а ты разглядел истину. Впоследствии две линии шли параллельно, но в разные стороны.

Не остров, а грязная и вечно трясущаяся болотная кочка; кочка, которой нет дела до брэнчания близких и далеких колокольчиков; которой страшно оглянуться на звон: ведь все так зыбко, ведь так легко пропасть!

После тебя, Учитель, история развивалась с одной-единственной целью — доказать твою правоту. История справилась.

Ни единой ошибки, колосс! Ни малейшей погрешности, титан! Теперь-то у нас есть просторные лаборатории, смысленные ученые и самые совершенные приборы для проверки. А ты ведь всё — при помощи, можно сказать, циркуля и линейки. Даже не верится.

Ах, Сластигрох! Сколько блеска, изыска! И глубины, погружаясь в которую — воспаряешь, просветленно повизгивая. Незамутимый наш родник.

«Вход только».

У Диккенса в «Друде» есть Сластигрох, великий филантроп, он совершенно обескровливает затейливую интригу вокруг заглавной персоны. Сластигрох разъедает весь текст.

(Из его проектов.) Путь к всеобщему согласию через предварительное истребление всех, кто не может согласиться. Усиление любви к ближнему по мере втаптывания его в грязь, тобою же. Прекращение войн посредством захвата стран, подозреваемых в постыдной склонности к ведению войн, — то есть, всех стран. Бесценная возможность говорить все, сказанное Сластигрохом, или казначеем, или помощником казначея, или комитетом, или подкомитетом, или секретарем, или помощником секретаря Главного Прибежища Филантропии. Поголовное право быть членом Прибежища, платить взносы, иметь карточку, ленточку, что-то, кажется, еще — и не покидать трибуну ни под каким видом, никогда.

Возликуй, человеке.

— Вот всегда он так! О святых вещах да с ядовитостью! Что за характер! Стараешься как лучше, всецело отдаешься, а он — стали в сторонке и гундосим, и гундосим.

Птиейн в сердцах швырнул прочитанные листки на снег.

— «Надеждопитающее»! «Эндорфин»! «Золотое сечение»! Скажите пожалуйста! Сколько раздумий в нашем пальце!

Она — стараниями многих поколений селекционеров — превратилась в непрерывно цветущую и плодоносящую. Поначалу такая хрупкая культура, она победно увила всё вокруг. И взлеянная, выпестованная до невероятия, она, из чувства благодарности, улучшает, в свою очередь, некоторые особенно близкие ее природе наши свойства. Волнующий имбридинг дубинки и человека. «Вход только».

— Умирает окидывать мысленным взором разнообразными пласты. Смело уподобим его соколу. Этак сокол в лазури, краснокнижный вид. Полувздохом крыла способен переноситься в неведомые пределы, перекусить и просто так. Акуля неприхотливость в пище: паутина, Диккенс, выставочный каталог, садоводство. На землю почти не спускается. Все там же, в облаках, проглатывает лакомство, бурно переваривает и улетает, голодный еще более. Вот такой пернатый друг.

Непростительно, все-таки, разбрасывается! Ведь так интересно начиналось про загогулину, про ее трудную судьбу! Вот и разрабатывай! А мы бы все охотно ознакомились. А про арфу? Разве плоха была тема? Превосходная тема, редкостной красоты и богатства! Россыпи! Пиши только! Что же, однако, делает индивид, свернувшийся на нашей с вами груди? Какой злобенький тон! Какое шельмование и смакование! Торжество свистопляски!

Избавление, вариант второй. Убожество твоих поделок оскорбит читателя несомненно. Читатель, воспитанный на жемчужинах, возмутится таким неприкрытым глумлением над сокровенным. И удивится терпению бумаги, снесшей излитые на нее гадости. Читатель по достоинству оценит твой анти-мидасовский дар превращать золото в читатель тебе объяснит что. Он не прочтет ни единой строки, ни единого твоего слова. Ему помешает знание тебя, как облупленного. — Нет! — скажет читатель. — Нет, — скажет, — огульному оханванию! — Никому не похерить! — скажет. Повсюду прокатятся волны протеста. Над стройными рядами стихийно возникших шестивий грянет гневное тысячеустое «дудки!». Распоясавшегося мракобеса заклемят и пригвоздят. Так-то, мыслящий тростник.

Полулежа, Птиейн с отвращением разглядывал нависшие над ним вершины. Безобразной формы, они были как куча вывернутых карманов, грязных и мятых. «После обыска как бы» — Птиейн записал меткое сравнение и вновь, откинув голову и приоткрыв рот, вперил взор в зеленый свкозь стекла снег там, наверху, лежащий равнодушно на уродливых кривульках, плюющих на него. От последнего сделалось гошно. Птиейн стал энергично подпрыгивать вместе с сезлонгом, и вскоре милый сердцу южный край плато предстал его зраку. Совсем другое дело! Обрывается, падает, низвергается, сползает. И совершенно не за что зацепиться. Не-е за что! Птиейн засмеялся. Тонко-тонко. Каблуком выбивая ямку.

Избавление, вариант первый, отброшенный по причине мягкости и половинчатости. Но чем-то, все же, привлекательный и потому часто и на разные лады разыгрываемый.

Птиейн высморкался с наслаждением и подумал, как же это он так. Не уберег. Хотя, если вдуматься, — вдумался Птиейн, — моей вины тут никакой. Я только предложил. Но, все-таки, нелепо вышло, куда как. И — надо ж — не было рядом никого. Ни души! Хотя, попроси он меня — я б, возможно, не раздумывая. Но попроси! Молчал! Ну, нет так нет. Не приставать же в такую минуту. Мало ли какие планы у человека.

Как я любил его, моего безвременно вырванного! Как радовался его успехам! Как звали его... Нельзя забывать! Не имею права! Неважно. Мой дорогой, бесценный мой друг, что ж ты? Да еще в самом расцвете. Нехорошо ведь! Сколько мог бы успеть! Делай всё чуть по-другому. Глупей, что умней. Но этого не случится теперь никогда. Какая утрата! Какая глубокая рана! Такой раны у меня не было. Разве что после тех твоих слов, но я их сразу забыл. Мой самый близкий друг трагически усоп! Валаясь теперь внизу, изуродованный, с расколотым черепом. Радуй фауну. Я навсегда сохранию твой образ в своей печени.

Потеря, потеря-то какая! И надо ж было тащить его именно сюда! Ведь не собирался! Экий спонтанный, экий я заводной.

Он на удивление долго не падал. Хрупкий хрупким, а вцепился основательно, это да. Откуда что берется. Ножками потешно так сучит. А какая там опора, когда гла-

денько! Зеркальная поверхность! И вот кричит он, кричит, а балкончик с перильцами со стильными все не вырастает, все не вырастает. Ну никак! Из прокушенной губы уже и кровь тоненькой струйкой — а он все не успокоится. Но не хнычет, нет. Красиво уходит, по-мужски. Присев на корточки, я смотрю, как медленно разжимаются длинные, тонкие, с ухоженными ногтями — пальцы. «Как бы нехотя». «Подобно лепесткам раскрывающегося цветка». Я записываю обе удачные мысли. Вот уже только руки и вечный хохолок, трогательный, как никогда. Жаль, что нельзя больше видеть умных глаз. Чиркает напоследок куртка.

Из-за высоты я не слышал удара о камни, хотя прислушивался. Но все равно звук этот отозвался во мне нестерпимой болью. Первым желанием было — побежать туда, помочь, обнять. Я записал мысль и стал осторожно спускаться. Кого потеряли, кого потеряли! Почему, почему он? Почему не я, почему? Потому.

Проявилось, кстати, не только в истории с Венком. Птиейн вообще, надо сказать, любил, чтобы все было в натуральную величину. И к скульпторам это было основным требованием. Детали — выбор материала, затраты и тому подобное — Птиейна не интересовали, тут он вполне доверял профессионалам, их чутью и опыту. Но чтоб было полное соответствие истинным размерам — постарайтесь. Иначе возникнет неразбериха. — Хочу правды, — сказал Птиейн перед началом работ.

Поначалу возникли трудности. Горы, которые стояли вблизи дома и прекрасно были видны из окна, оказались неспособными вместить задуманное. А расположенные чуть поодаль и способные — заслонялись первыми. Расчистка местности от тектонических излишеств отняла долгих два года. Потом прошел еще год, пока громада не начала принимать узнаваемые очертания. Но один направленный взрыв, неудачно произведенный, загубил все труды. До самого горизонта теперь простиралась равнина.

Хорошо, что по другую сторону дома стояла еще одна гора. Но вызывали некоторую досаду неприятный бурый цвет и трещины, многообразно представленные. Вдобавок наверху курился вулкан. Но сказали, что все это легко уберется.

И вот, затаив дыхание, Птиейн рассматривает гигантскую, почти законченную голову. То и дело откладывая бинокль в сторону — чтобы взять зеркало. Внезапно Птиейна охватывает непреодолимое желание отпустить усы. И мгновенно спустя замечательные мастера начинают высаживать в соответствующем месте небольшую рожицу. Птиейн улыбается, качает головой и несколько раз тепло повторяет: «вот дурачье!»

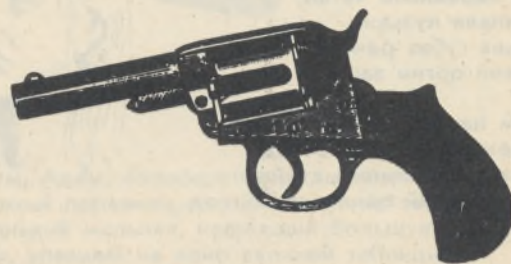
Потом он смело смотрит в будущее. Необходимо продолжить и углубиться километров на десять. Чтобы в полный рост. Ваять так ваять. Технические трудности? А когда их не было? По окончании щедро вознаградить авторов и исполнителей, а затем казнить, как злостных миниатюрис-

тов, по всеобщему требованию. И немедленно выйти на новые рубежи. Как же это будет прекрасно! На срезанной до блюдца Земле (сбудутся представления древних) стоит колоссальный Птиейн. И вечные вокруг толпы, и некуда толпам разойтись.

Солнце станет исправно греть огромный крутящийся натюрморт. Без грусти, ведь антропоморфизм исчезнет тоже.

— Взгляните на столбы, индивидуальные средства защиты, каждый может выбрать себе по вкусу, друг от друга не отличаются ничем, из так называемого дерева гофер, неотрывно следим за полетом аллюзии, а к ним прилагается набор кожаных ремешков, изумительных, таких уже не делают, приступим-ка, гениальной конструкции замок позволяет вам ничего себе не позволить, парализованному разрешили двигаться, в голову может прийти всякое мало ли что, я-то не слишком верю, и окажется обычной гипоксией, но убедитесь нелишне, или развитой фиоритурой, предварительно обернув мягкой тканью лодыжки, хотя говорилось без улыбки, а также запястья, тонкая аллюзия вонзается в могучий ствол, Ною не до нее, чтобы в минуту душевного подъема ремешки не повредили кожу, чуть пониже, такая высота столба совершенно исключает травмы черепа, теперь вы, а полуокружность дает счастливую возможность, потуже, возможность видеть лица, и зашелкиваем, если захочется смотреть, очень даже удобно, расслабьтесь, будто бы этот ветер, вначале лучше ноги, выделяет с людьми такое, правильно, что те сразу кидаются творить добро, позывы такие вот, и сразу за спину, веселье и полные сил, для чего и ремешки, падает с глаз пелена, пелена падает с грохотом, для того и замочки, попробуйте шевельнуться, вмиг сдувается ваша грязь в купе с пылью, ремешок недостаточно впился, его пыльное майясничанье трогает восприимчивого меня, вот так, теперь хорошо, поторопимся, но и задевает, а теперь я, какое владение телом, не правда ли, сущий дьявол, так ловко связать себя, дергаемся, слышим щелчок, готовность номер один, принимаем удобную позу, успокаиваемся, откроются сами, после аттракциона, без паники, за кого вы меня принимаете, реле, именно, что-то вроде, а вот и желтый карлик, будем загорать, конечности затекут, ничего, зато возможность пообщаться, покалякать всласть, смешно бояться какого-то ветра, гипотетического, перетерпим, заглянем в собственные глубины, если не провели нас, доверчивых, иносказаниями, очень сомнительно, но проверить нужно, обязательно, предвкушаю удовольствие созерцать ваши физиономии, глупые еще более, предполагаю также негодование по поводу как уз, так и пут, за себя спокоен, щекотки в области сердца не страшусь, я расскажу вам все потом, мы потом воссмеемся.

Снова, в который раз, он, отброшенный необычайной силы и холодным встречным потоком, не встретит ни души.



ГРИГОРИЙ ГОНДЕЛЬМАН

ИГРУШЕЧНОЕ ПЛАВАНЬЕ

Все тот же старый мим, все тот же старый миф, —
Смешной подросток Рим и девочка Эллада.
Но боги неверны. Нет выхода из Фив,
Лишь месть и семь ворот в картонных стенах ада.

Все хлопают — простак, фанатик, корифей,
Их души на виду, как ценники, как бирки.
Нет выхода. И в ад спускается Орфей,
И свеж простор полей германских и сибирских.

Ведь нынче дождь мясист, и жирная роса
Уже покрыла лоб веселого педанта.
Украдкой оглянись, пусть пропадет краса,
Мы выйдем из кафе, чтоб встретиться у Данта.

Как скучно: лебедь, бык, как нескончаем дождь,
Убогое вранье — все атрибуты Зевса.
Все тот же старый мир, все тот же старый вождь,
Сражающий быка под ликованье племса.

Никто не любит смерть. Никто не виноват.
Европа под быком — на слух ложится дико.
Нет выхода. И Фрейд спускается во ад,
Где крупным планом в зал смеется Эвридика.

* * *

В прилившем солнечном восходе,
Томим предчувствием беды,
Я плыл как ветка в половодье
В плесканье розовой воды.

Я видел нереально четко,
Как закипали пузыри
На заячьих губах речонки
В кровавой оргии зары.

Как храм наивнейшей постройки,
Я сердцем рвался на восход,
Я плыл восторженно и стойко
В свой страшный приливавший год.



ЛАТВИЯ

Я болен Европой, где выжил и вырос,
Высокой горячкой готической почвы,
Где жив христианства мучительный вирус,
Кириллица улиц, латиница почты.

Где явью становятся десять проклятий.
Я болен, и призрак по-прежнему бродит,
Но можно одеть европейское платье
И жить на одной из отпущенных родин.

Я сросся с Европой, но это слиянье
Легко разорвать, мои корни затронув
В земле, на которой псковские славяне
Сменили остзейских дворян и баронов.

Где путь по прямой оказался бесцелен,
Где круг замыкает порочная хорда,
Где пепел сожженных евреев бесценен.
Я болен горячечной почвой исхода.

ПАМЯТИ ЖАНИСА ЛИПКЕ

Господь сказал: если Я найду
в городе Содоме пятьдесят
праведников, то Я ради них
пощажу все место сие.

Бытие 18.26

В небе над Ригой летит горестный Божий вестник
Бикерниецким лесом и Московским предместьем.

Ангел трубит проклятье в ночи, насквозь промерзлом:
Горе слепым и зрячим, горе живым и мертвым.

Красного бога на время сменил коричневый дьявол.
Каждый охранник СС ответит, где спрятан Авель.

Господи, есть ли смертный, который в такое лето
Проходит кругами ада, чтобы спуститься в гетто?

Господи, есть ли безумец, который в такое время
Сквозь немцами полный город в дом приведет еврея,

Господи, есть ли рижанин, и что ему будет наградой?
— Это друг Божий Жанис, это возлюбленный брат Мой.



ЩИТ

Я соткал полотно, что слепило глаза белизной,
Из обрывков бессонных речей и осенней листвы,
Где под солнцем в зените и медной полночной луной
На серебряном поле гуляли веселые львы.

Только ветер судьбы, черный ветер надул паруса,
И стрела, и Земля сквозь пространство пронесется
слепо,

В скорлупе небосвода немеет ночная роса,
Тлеют капли вина и зияет расселина хлеба.

ЦИЦИКАР

Расскажи, Цицикар, про отца и про мать,
Не стесняйся, откуда ты родом?
Он молчит, наливается краской как мак,
Видно, правит великим народом.

Исповедуйся мне, у какого ручья
Ты проводишь бессонные ночи?
Там, где полночь троеится и почва ничья, —
Отвечают печальные очи.

Напоследок ответь, как сходил, Цицикар,
На последнее римское вече,
Не боишься ли божьих и дьявольских кар,
Раскусил ли нутро человечье?

Он клянется, в волненье срывая пенсне,
Что блюдет этот древний обычай —
Что дозволено вам, не дозволено мне,
Богу — богово, кесарю — бычье.

Отчего же на круглых и сочных щеках
Проступает землистый оттенок,
Словно яблоко власти созрело в веках,
Чтобы семя взлелеял застеночек.

Пусть Бастилия яблока падает ниц,
Все равно он красавиц не ценит
И не пьет голубое вино ягодич,
Он себе цинандали нацедит.

А булыжники спят летаргическим сном,
Кислород угрожающе девствен.
Ну хоть в ямку шепни, что ты валишься с ног!
Нет, — смеется, — я самотождествен.

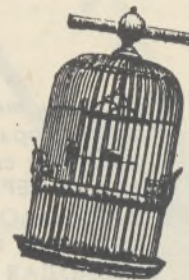


* * *

Синела земля. И глядели волхвы, как шутя,
Созвучьями, словно дарами у царского трона,
Играло спешившее к сумрачной славе дитя,
Наследник волшебных владений шотландского рода.

Волхвы — три уставшие феи из дальней страны,
И первая пела, прозрачными крыльями вея,
Вторая достала в подарок три звонких струны,
С армейской волынкой стояла последняя фея.

И краски бесцветного неба впитала шинель,
И за горизонтом в пыли схоронились Тарханы.
От крика, от эха, от шепота, от тишины,
От гула стихов, от бессмертия стонет дыханье.



* * *

Кто ты, Адам, воплощение рода людского,
Глиняный первенец, — как различить твои лица?
Маленький мальчик, нашедший большую подкову,
Алеф, упавший на лоно великой таблицы.

Еще ты могильщик, копающий землю бессменно.
Еще ты студент и убийца, пришедший с повинной.
Еще — эмбрион, распирающий чрево Вселенной
И полузадушенный тонкой стальной пуповиной.



ГАРОЛЬД ПИНТЕР

ГОРСКИЙ ЯЗЫК



ГАРОЛЬД ПИНТЕР

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА
ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА
СЕРЖАНТ
ОФИЦЕР
КАРАУЛЬНЫЙ
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК В КОЛПАКЕ
ВТОРОЙ КАРАУЛЬНЫЙ

1

ТЮРЕМНАЯ СТЕНА

Очередь женщин. ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА баюкает свою руку. Корзина возле ее ног. МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА держится своими руками за локоть ПОЖИЛОЙ. Входит СЕРЖАНТ, за ним — ОФИЦЕР. СЕРЖАНТ указывает на МОЛОДУЮ ЖЕНЩИНУ.

СЕРЖАНТ. Имя?

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Мы уже сказали наши имена.

СЕРЖАНТ. Имя?

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Мы сказали наши имена.

СЕРЖАНТ. Имя?

ОФИЦЕР. (СЕРЖАНТУ.) Прекрати этот бардак.

(МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЕ.) Есть жалобы?

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Ее укусили.

ОФИЦЕР. Кто?

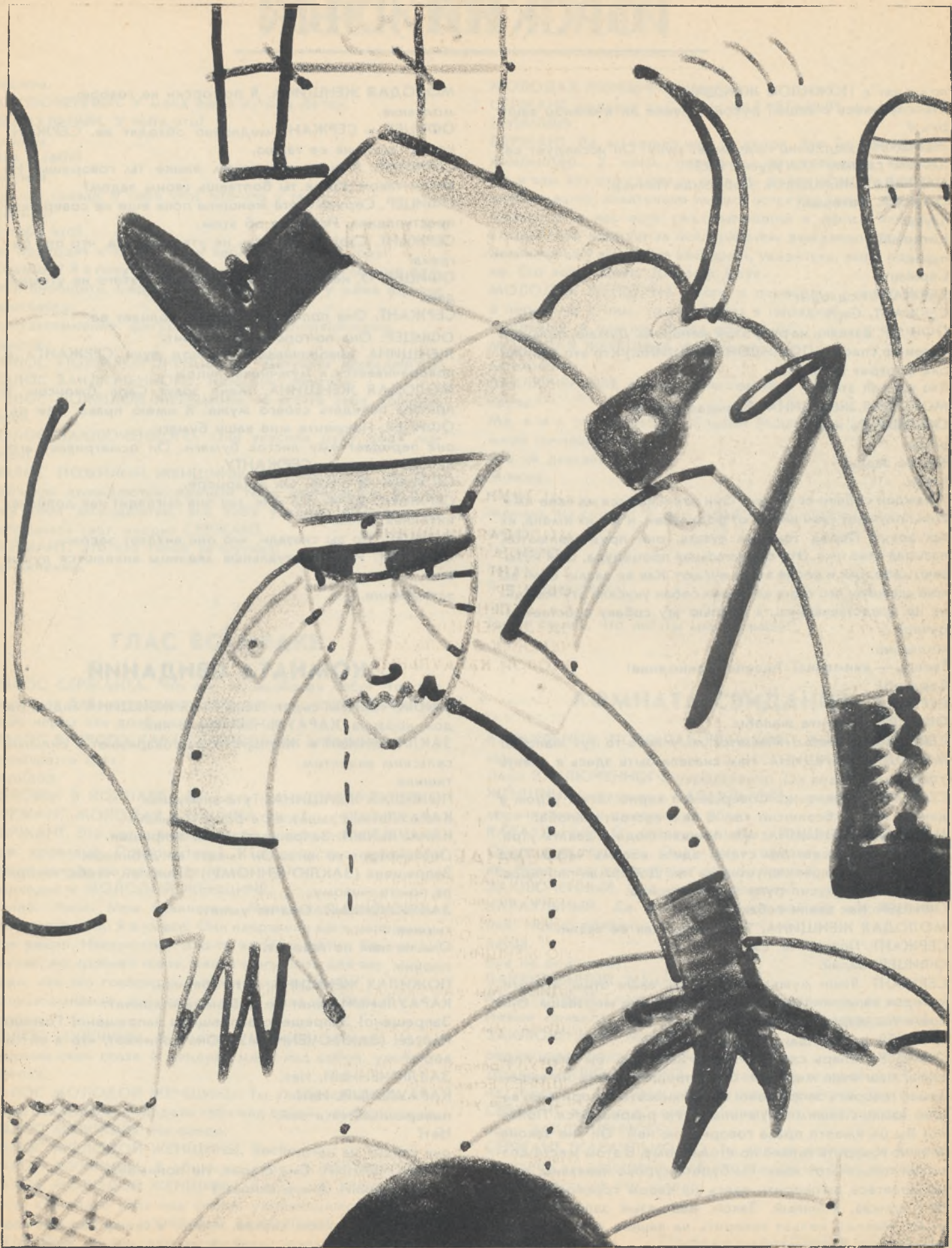
пауза.

Кто? Кто был укушен?

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Она. Ее рука разодрана. Ее рука укушена. Это кровь.

СЕРЖАНТ. (МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЕ.) Ваше имя?

ОФИЦЕР. Заткнись.



ГОРСКИЙ ЯЗЫК

подходит к ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЕ.

Что случилось с вашей рукой? Укусил ли кто-либо вашу руку?

ЖЕНЩИНА медленно поднимает руку. Он исследует ее. Кто это сделал? Кто укусил вас?

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Доберман Пинчер.

ОФИЦЕР. Который?

пауза.

Который?

пауза.

Сержант!

СЕРЖАНТ подходит

СЕРЖАНТ. Сэр!

ОФИЦЕР. Взгляни на руку этой женщины. Думаю, большой палец не спасти. (ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЕ.) Кто это сделал? она смотрит на него.

Кто сделал это?

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Большая собака.

ОФИЦЕР. Ее имя?

пауза.

Как ее звали?

пауза.

У каждой собаки есть имя! Они откликаются на свое имя. Они получают свои имена от родителей, и это их имена, их так зовут! Перед тем как кусать, они представляются, называя свое имя. Это официальная процедура. Они называют свое имя и после этого кусают. Как ее звали? Если вы мне скажете, что одна из наших собак укусила эту женщину не представившись, я прибую эту собаку собственноручно!

молчание.

Теперь — внимание! Тишина и внимание!

Сержант!

СЕРЖАНТ. Сэр?

ОФИЦЕР. Примите жалобы.

СЕРЖАНТ. Жалобы? Имеются ли у кого-то тут жалобы?

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Нам сказали быть здесь в девять утра.

СЕРЖАНТ. Правильно. Совершенно верно. Этим утром в девять утра. Абсолютно так. В чем состоит жалоба?

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Мы пришли сюда в девять утра. Тепер пять часов. Мы стоим здесь восемь часов. Под снегом. Ваш человек спустил на нас Доберман-пинчеров.

Один из них укусил руку этой женщине.

ОФИЦЕР. Как звали собаку?

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Я не знаю, как ее звали.

СЕРЖАНТ. Позвольте, сэр?

ОФИЦЕР. Валий.

СЕРЖАНТ. Ваши мужья, ваши дети, ваши отцы, все эти, которых вы дожидаетесь увидеть, все они мерзавцы. Они враги государства. Дерьмо.

ОФИЦЕР делает шаг к женщинам

ОФИЦЕР. Теперь слушать сюда. Вы с гор. Вы меня слышите? Ваш язык мертвый. Он запрещен. Здесь на вашем языке говорить запрещено. Вы не можете говорить на вашем языке с вашими мужчинами. Не разрешается. Понятно? Вы не имеете права говорить на нем. Он вне закона. Можно говорить только по-столичному. В этом месте дозволен только этот язык. Вы будете сурово наказаны, если попытаетесь заговорить здесь на своем горском языке. Это приказ. Военный. Закон. Ваш язык запрещен. Он умер. Никому нельзя говорить на вашем языке. Его не существует. Вопросы есть?

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Я по-горски не говорю. молчание.

ОФИЦЕР и СЕРЖАНТ медленно обходят ее. СЕРЖАНТ кладет руку на ее талию.

СЕРЖАНТ. А на каком-то языке ты говоришь? На каком-то языке ты болтаешь своим задом?

ОФИЦЕР. Сержант, эта женщина пока еще не совершила преступления. Помните об этом.

СЕРЖАНТ. Сэр! Но вы ведь не утверждаете, что она без греха?

ОФИЦЕР. О, нет. О, нет, разумеется, я этого не утверждаю.

СЕРЖАНТ. Она полна им. Он переполняет ее.

ОФИЦЕР: Она по-горски не говорит.

ЖЕНЩИНА выворачивается из-под руки СЕРЖАНТА и поворачивается к мужчинам лицом.

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Меня зовут Сара Джонсон. Я пришла повидать своего мужа. Я имею право. Где он?

ОФИЦЕР. Покажите мне ваши бумаги.

она передает ему листок бумаги. Он осматривает его, поворачивается к СЕРЖАНТУ.

Он вовсе не с гор. Он в карцере.

СЕРЖАНТ. Да уж. По мне, так она выглядит как долбаная интеллектуалка.

ОФИЦЕР. Но вы сказали, что она вихляет задом.

СЕРЖАНТ. Интеллектуальные задницы вихляются лучше всех.

затемнение.

2

КОМНАТА СВИДАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ сидит. ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА сидит, рядом корзина. КАРАУЛЬНЫЙ возле них.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ и ЖЕНЩИНА разговаривают с сильным сельским акцентом.

тишина.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА. Тута хлебушко.

КАРАУЛЬНЫЙ тычет ей в бок дубинкой.

КАРАУЛЬНЫЙ. Запрещено. Язык запрещен.

Она смотрит на него. Он тыкает ее дубинкой.

Запрещено (ЗАКЛЮЧЕННОМУ.) Скажи ей, чтобы говорила по-столичному.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. Она не умеет.

тишина.

Она на нем не говорит.

тишина.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА. Тута яблочки.

КАРАУЛЬНЫЙ тычет ее дубинкой и кричит:

Запрещено! Запрещено запрещено запрещено! Господи Иисусе! (ЗАКЛЮЧЕННОМУ.) Она понимает, что я ей говорю?

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. Нет.

КАРАУЛЬНЫЙ. Нет?

поворачивается к ней.

Нет?

она смотрит на него.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. Она старая. Не понимает.

КАРАУЛЬНЫЙ. А кто виноват?

смеется.

Уж не я, во всяком случае. И еще я скажу вам вот что.

У меня жена и трое детей. А вы все набиты дерьмом.

ГОРСКИЙ ЯЗЫК

тишина.
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. У меня жена и трое детей.
КАРАУЛЬНЫЙ. У тебя что?
тишина.
Что у тебя?
тишина.
Ты что сказал, у тебя что? Что-что у тебя?
тишина.
У тебя что?
он подходит к телефону и набирает одну цифру.
Сержант? Я в голубой комнате . . . да . . . полагаю, что должен сообщить, Сержант . . . кажется, тут у меня шутник выискался . . .
полузатемнение. фигуры остаются неподвижными.
голоса.
ГОЛОС ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ. Детушки дожидаются.
ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. Тебе руку укусили.
ГОЛОС ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ. И всё-то тебя дожидаются.
ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. Они укусили руку моей матери!
ГОЛОС ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ. Вот вернесси, так они тебя так дожидаются, каждый тебя дожидается. Все-то они тебя дожидаются, всё тебя увидеть дожидаются. загорается свет. входит СЕРЖАНТ.
СЕРЖАНТ. Это что такой за шутник?
затемнение.

3

ГЛАС ВО МРАКЕ

ГОЛОС СЕРЖАНТА. Что это за долбаная баба? Что эта долбаная баба тут делает? Кто пропустил эту долбаную бабу через эти долбанные двери?
ГОЛОС ВТОРОГО КАРАУЛЬНОГО. Это его жена.
включается свет.
коридор.
ЧЕЛОВЕК В КОЛПАКЕ, которого ведут КАРАУЛЬНЫЙ и СЕРЖАНТ. МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА поодаль, глядит на них.
СЕРЖАНТ. Это что ж такое? Приём в честь леди Дак-Мак? Где кровавый Потрошитель? Кто допустил кровавого Потрошителя до леди Дак-Мак?
подходит к МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЕ.
Хэлло, Мисс. Мои извинения. Маленькая неполадочка администрации. Я в ужасе. Они направили вас в неправильные двери. Невероятно. Кто-то за это ответит. Во всяком случае, по крайней мере, чем я могу быть для вас, милая леди, как это говорится в кино, быть полезным?
полузатемнение. фигуры остаются неподвижными.
голоса:
ГОЛОС МУЖЧИНЫ. Я смотрел на тебя, спящую. И ты открыла свои глаза. И увидела меня над собой, улыбающегося.
ГОЛОС МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ. Ты улыбался. Когда мои глаза открылись, я увидела тебя над собой, улыбающимся.
ГОЛОС МУЖЧИНЫ. На озере.
ГОЛОС МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ. Весна.
ГОЛОС МУЖЧИНЫ. Я обнимаю тебя. Я согреваю тебя.
ГОЛОС МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ. Когда мои глаза открылись, я увидела тебя над собой, улыбающимся.
включается свет. МУЖЧИНА В КОЛПАКЕ изнемогает, ЖЕНЩИНА пронзительно стонет.

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Чарли!
СЕРЖАНТ щелкает пальцами. КАРАУЛЬНЫЙ улоакивает МУЖЧИНУ.
СЕРЖАНТ. Да, вы вошли не в те двери. Это, должно быть, компьютер. У него, наверное, двусторонняя грыжа. Но я вам вот что скажу — если вы желаете иметь любую информацию, касательно любых аспектов жизни данного места, то у нас есть тип, бывающий в офисе каждую вторичную неделю за исключением дождливой погоды. Звякните ему в один из этих дней, увидите, все в порядке. Его зовут Доук. Джозеф Доук.
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Могу я переспать с ним? Если я пересплю с ним, то все будет в порядке?
СЕРЖАНТ. А как же. Какая проблема.
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Благодарю вас.
затемнение.
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. Мамаша, ты говори.
пауза.
Ма, я ж с тобой говорю. Слышь? Можно. Ты можешь со мной по-нашенски.
она не двигается.
Можно.
пауза.
Мамаш, ты слышь? Я ж с тобой по-нашенски.
пауза.
Ты слышь?
пауза.
Я ж по-нашенски!
пауза.
Ты не слышь, что ли? Ты меня слышь?

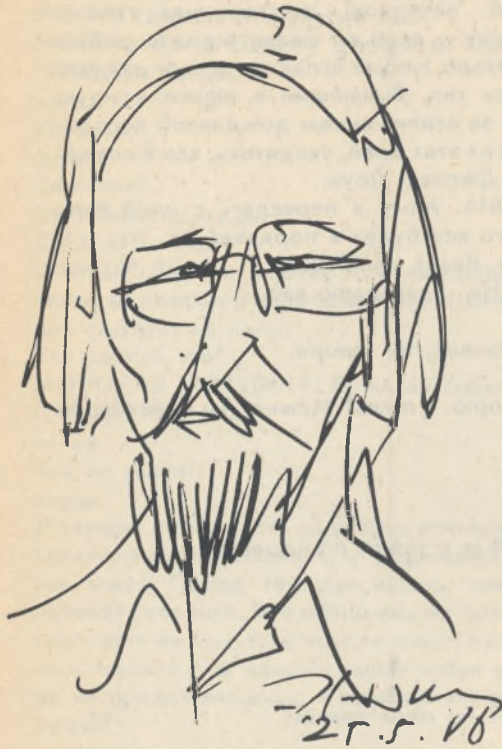
4

КОМНАТА СВИДАНИЙ

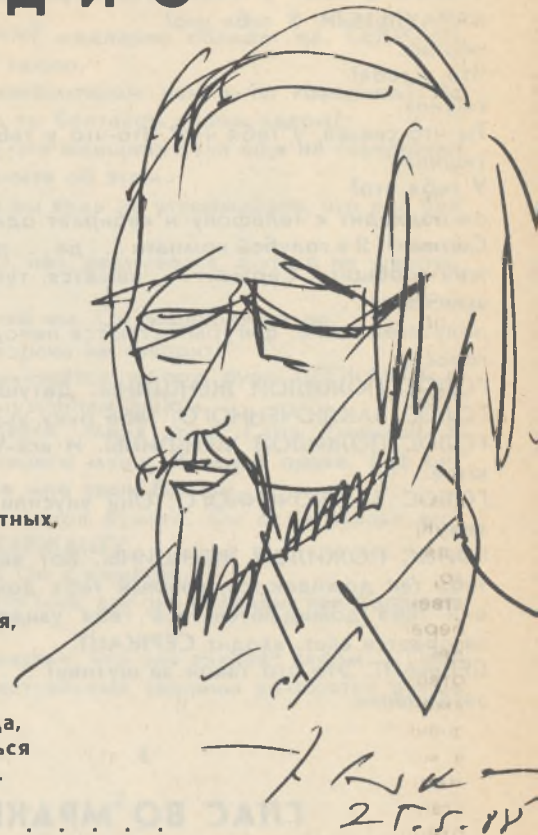
КАРАУЛЬНЫЙ, ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ.
тишина.
Лицо ЗАКЛЮЧЕННОГО окровавлено. Он сидит и дрожит.
ЖЕНЩИНА недвижима. КАРАУЛЬНЫЙ смотрит в окно. Поворачивается и смотрит на обоих.
КАРАУЛЬНЫЙ. О, совсем позабыл. Правила изменены. Она может говорить. Она может говорить на своем языке. Вплоть до дальнейших распоряжений.
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. Она может говорить?
КАРАУЛЬНЫЙ. Да. Вплоть до дальнейших распоряжений. Новые правила.
пауза.
она не реагирует.
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. Мамаша?
КАРАУЛЬНЫЙ. Скажи ей, что можно говорить на ее языке. Новые правила. Вплоть до дальнейших распоряжений.
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. Мама?
она не реагирует, сидит неподвижно.
Дрожь ЗАКЛЮЧЕННОГО нарастает. Он валится со стула на колени и начинает задыхаться и неистово трястись.
СЕРЖАНТ входит в комнату и изучает трясущегося на полу ЗАКЛЮЧЕННОГО.
СЕРЖАНТ (КАРАУЛЬНОМУ). Ты только взгляни на него. Ты идешь им навстречу, чтобы протянуть им руку помощи, а они класть на это хотели.
затемнение.

Перевел АНДРЕЙ ЛЕВКИН

ЛЕОНС БРИЕДИС



ЛЕОНС БРИЕДИС
Рисунки ЮРИСА СОЙКАНСА



БЛАГОДАРИЮ, ДУША...

Благодарю за то, что ты не торопила,
моя душа, ни звезд ночных, ни рос рассветных,
что вкуса моего к снегам не притупила
и летнюю жару ценила среди несметных
приманок бытия, за то, что расцветала
ты без оглядки, вся, грудь хищнику давая,
как несмышленышу, где бы ни обитала
ты, беззащитная и все-таки живая,
верхушка дерева, знакомого планетам
и странникам другим, надземная светлица,
где велено молчать, но можно притулиться
и даже петь, пока отчизна под запретом.

Благодарю, душа, за то, что ты поспешно
добро и красоту творением скрепила,
за то, что суть вещей упрочив небезгрешно,
ты вечности своей притом не торопила.

ИЮЛЬ

Взял вилы Бог-Отец, чтоб свежим сеном
снабдить стога, и силится при этом
освободить шмеля, но лезет летом
шмель в бороду, доволен душным пленом.

Косматую траву прижав коленом,
дождь бродит по холмам и по кюветам,
и цеп его молотит землю светом,
не брезгуя ни полем, ни поленом.

Укрылись липы-ветреницы в клетки,
за ними ясень бросился под крышу,
лишь дуб слепой гуляет на высотах;

Поймало нашу землю небо в сети,
и я, проснувшись на рассвете, слышу:
густеет мед в своих прозрачных сотах.

РАЗГОВОР, ПОДСЛУШАННЫЙ ЗИМНИМ УТРОМ

— Ты где!
— Со мною не бывает встреч.
Я в зареве, где сад цветет бесцветно,
и зеркалу меня не подстеречь,
и в зеркале, боюсь, ничто заметно.
— Дыханием ты растопил бы печь!
— Но небо для чего коптить мне тщетно,
когда игра давно не стоит свеч
и меркнувшее утро безответно!
— Все это вздор... Ты слышишь!
— Слышу, да,
но зимних снов, навеянных ночлегом,
не подсластишь... И кто же ты тогда,
покоя не дающий даже днем!
— Я снег...
— О Боже! С кем же я вдвоем!
Я начал разговаривать со снегом!

МАМИНА СКАЗКА

«Бывает лебедь белый здесь ночами,
пьет из ручья, который скован стужей...»

А у меня глаза полны лучами,
я сказку слушаю одну и ту же
и спрашивать по-прежнему не смею:
как это может быть!
Но засыпая,
я обнимаю лебедя за шею,
и нет полету ни конца, ни края,
и золотым наполнив душу паром,
я предаюсь моим пространствам сонным,
и утром, доверяя смутным чарам,
я вскакиваю, чтобы за оконным
стеклом увидеть лебедя, но краски
рассеялись, и нет его в помине,
лишь в маминой остался лебедь сказке,
которая не кончилась поныне,
и наполняются глаза лучами,
воспринимая глуть одну и ту же...

Всю жизнь мою летят они ночами
пить из ручья, который скован стужей.

ДУША ОСЕНЬЮ

Памяти актера Виктора Звайгзне

Осень в небо нас не пустит,
хоть сиянье в Божьей дверце,
но висит уже на сердце
паучок осенней грусти.

(Осень светит по старинке,
а душа на паутинке)

Ударять морозам впору,
ясный день в ручей глядится;
Стынет зеркало — водица,
эхо — лист, ползущий в гору.

(Осень светит по старинке,
а душа на паутинке)

Желтизна березки белой
в красных кленах над полями
тянется за журавлями,
чтобы небо голубело.

(Осень светит по старинке,
а душа на паутинке)

Только небо бесконечно
даже в сумраке за тучей;
затихает лес дремучий...
Спи спокойно, то есть вечно.

(Души по тебе горюют,
за тебя они воюют)

Что ты, душенька, без тела
за небесными морями
перед Божьими дверями
обрести навек хотела!

Или солнышка на красном
деревце осталось мало!
Только ветер ты поймала
в странствии твоём напрасном.

ИЗ «ОСЕННЕЙ МЕТАФИЗИКИ»

I

ein jeder Sinn ist nur ein Gast.¹
R. M. Rilke

Смысл — только гость, и срок его недолог
на многолюдном пиршестве, где мы
делить не успеваем недомолвок
с ним, и, вольноотпущенницы тьмы,
обречены тоскующие души,
хоть озаренья жаждали они
над морем, где предел пустынной суши,
влачить в необитаемой тени
ярмо порабащающего страха,
прельщенные бессмертием, но в час
непредсказуемый лишь fuga Баха
прохладным светом смысла тронет нас.

1985

II

Не только воды, — воздух и деревья, —
все движется, меняется, течет,
и страшен жертвам вечного кочевья
прекрасный, но безжалостный полет.

Нельзя два раза в собственную душу
мне погрузиться, так как в глубине
я вечного молчанья не нарушу,
готовящего там загадки мне.

Так все навеки замкнуто, что слово
по струнам губ скользящее смычком,
не убеждает никого другого,
как я несчастен

в счастье самом.

1983

III

Бескрайний воздух... Синева бескрайна...
Мечта бескрайна... Сколько мне дано
бессмертия, хоть смертен я, но тайна
бессмертия со мною все равно;
и в радугой моей души преграде
наперекор нырять я буду впредь,
смеясь от счастья, потому что ради
бессмертия не страшно умереть.

1985

¹ Смысл только гость всегда (нем.).

С чего начинается театр?
С вешалки . . .
С коврика и двух актеров на нем . . .
С неожиданных сочетаний звука, света, движения . . .
С ничего . . .

Теорий и рецептов сколько угодно. Твой собственный путь — один, в вязком тумане каждодневности. И пока что твой театр — это ты сам в мире, который по-гречески, кажется, означает: ожерелье вокруг горла.

И куда-то нужно деть свое знание, свою тоску по «большим страстям» и «сильным характерам», которые сегодня кажутся лишними на сцене. Но, напоминая о чем-то, все стоят в ушах хрустальное безумие Офелии, скрип телеги, грузенной мертвыми телами, «быть или не быть», непредсказуемый крик актрисы во втором действии какой-то второстепенной пьесы . . .

Что делать в ситуации, когда в театре так много всего накоплено — и так пусто?

Ведь все-таки без театра нельзя! Потому что это — самый верный шанс тут же, до конца проиграть различные варианты судьбы, испробовать не одну, а множество жизненных возможностей. Здесь не «вечность проводят», как в прозе, а публично раздают последние долги, доходят до предела, чтобы предстать таким, каков ты есть. И всегда все начинают сначала . . .

Так с чего же начать?

Я начала, извлекая на свет божий неких персонажей со «склада» — вещей, понятий, желаний, традиций, накопившихся за много лет человеческого существования и ныне пребывающих в относительном покое и порядке.

Есть интересное сопоставление «склада» и «церкви»:

«Склад — материалистическая церковь, где вместо молящихся людей, обретших высокий строй души, собрано множество вещей, обретших четкий инвентарный строй. И церковь, и склад — это замкнутые приюты

гармонии в падшем, грешном, разорванном и расхищенном мире . . . Как только склад охватит все стороны жизни, мы обнаружим себя на кладбище, и наш кладовщик, как кладбищенский сторож, отолпчет ворота собственной рукой — выносить уже нечего, некому, не для кого». (М. Энгштейн. Альманах «Зеркала», Москва, «Московский рабочий», 1989.)

Мною был выбран ряд свойств человеческого организма (по аналогии со «свойствами страсти»): СЛУХ, ЗРЕНИЕ, ОСЯЗАНИЕ, ДЫХАНИЕ. Так появились четыре пьесы: «Ухозвон», «Око», «. . . Среди цветов и продуктов», «Пир в Замоскворечье».

Наш век, уходя, оставил представление о некоем отсутствующем герое. От человека как бы сохранился лишь слабый контур с незаштрихованной сердцевинной. А перечисленные органические свойства, сохраняющиеся всегда, позволяли хоть как-то «собрать» человека, заштриховать пустое пространство.

Явить миру нового героя, конечно, не удалось, но, может быть, удалось создать новую стереоскопическую реальность пьесы, в которой лучше улавливаются живые проявления коллективной человеческой души.

В своих пьесах мне так хотелось расслышать, разглядеть, почувствовать чужую плоть и кровь — через помехи и шумы времени, ошибки собственного зрения, «руку в перчатке».

И мне кажется, что мои персонажи, хоть и прикреплены к своим местам, позам, положениям, по сути очень активны и обладают какой-то внутренней свободой. Они свободны хотя бы потому, что жизнь многоэтажна и складывается из взаимодействия различных — губящих и творящих — энергий.

Все это в итоге создает возможность драматического действия, оставляя надежду на превращение человека со склада в просто человека и . . . все-таки героя.

Не желая также оказаться в роли упомянутого «кладбищенского сторожа», я предлагаю читателям и людям театра одну из четырех пьес.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА

...СРЕДИ ЦВЕТОВ И ПРОДУКТОВ

МАЛЕНЬКАЯ КОМЕДИЯ
О СВОЙСТВАХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ИВАН ИВАНЫЧ, страхделегат
МАРИЯ ИВАННА, она же СУХАРЕВА БАШНЯ

Действие происходит в комнате, где совсем недавно разворачивалось торжество свадьбы. Воображение легко может подсказать такие предметы обстановки, как обвалившийся, под белой скатертью стол, рухнувшие батареи бутылок, остатки какого-то зажаренного и съеденного животного. Все кругом утопает в ярких цветах

и цветных транспарантах, сорванных и смятых чьей-то безжалостной рукой. Людей нет — разошлись, рассосались в зыбком времени утра. Иван Иванович совершенно один. Он вспоминает и думает, одновременно пытаюсь замести следы беспорядка, одновременно рассаживая картонные, в полный рост фигуры гостей.

ИВАН ИВАНЫЧ (очень утвердительно). Люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы... Да. Голова еще варит. Вот помню, и все тут. Молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, словом, все жизни, все жизни, все жизни... Иногда не захо-чешь, а вспомнишь. Все равно. Полным полно коробочка. (Стучит пальцем по лбу.) Все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь... Вот интересно, про фонарь — откуда это? Не знаю даже. В школе проходили? Или на институтской скамье? Или в самодеятельном порядке? Все равно. Главное, что помню слова, словечки. (Радует себе.) На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовой роще. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно. Вот кто я такой есть? Обычный служащий пищевой промышленности, одновременно же страхделегат, залетевший в столицу во время заслуженного отдыха. (Обидный жест в адрес ушедших гостей.) А вот кто вы такие — еще неясное явление. Хотя меня сюда и пригласили, это еще ни о чем не говорит. Сельдь у них тут в банке пла-вает! Соленые грибки на зубах скрипят! Дичь в шампанском крыльями машет!.. Я сам из города с развитой пищевой промышленностью. Служу в пищеблоке. И одновременно страхделегат. (Грозит пальцем.) Не очень-то, не очень!! Я в своей области душа общества, у меня практически весь город страхуется. Пожар, наводне-ние, прорыв трубы, кража имущества, ломка конечностей, разные взрывы. Пусть даже смерть!! Не боюсь, приходи ко мне... (Смеется.) А шуму-то, крику — куда только соседи смотрят? И хозяева тоже хороши, особенно невеста. Как пошла фатой мести, милицией не остановишь. О, женщина!.. (Поднимает перо птицы.) Сквородку, между прочим, хорошо смазывать. (Нали-вает рюмочку.) Ладно. Что выпито, то вылито. У нас тоже невесты были. И каждая на всю жизнь. Поэтому я и остался в единственном экземпляре. У меня-то жизнь одна, а у них много. Эх, что-то холодно-холодно-холодно-пусто-пусто-пусто. Ух! (Чокается с картонной фигу-рой и опрокидывает рюмку.) Венчайтесь, рабы божии с рабами божьими... Плодитесь и размножайтесь... Если вам это надо. А я и так душа общества. (Щелкает картонную фигуру по носу.) У меня и так произведения есть. Собственноручно вырезаю, в свободное время. Беру в руки ножницы — и творю до упора. Сначала, конечно, хохотали. А потом рты прикусили. Даже умо-лять стали: вырежи да вырежи нам наш силуэт. А на-роду в городе хоть пруд пруди, вот и занят постепенно творческим актом. Невесты, женихи и всякие другие родственники, и даже из мира животных. Чик-чирик — и перед тобой любое существо со своей окончательной линией. (Проводит рукой по кромочке картонной фигуры.) Острая, как лезвие... Тут один ученый до-думался, что если перекрестить два пальца — сред-ний и указательный — и дотронуться до кончика соб-ственного носа, то получится прикосновение к двум разным носам. Это, мол, обусловлено контролем наших органов чувств. А? Это же надо? Зачем мне два отдель-ных носа? Человек есть един, и нос у него должен быть един. Значит, врут наши органы чувств! Вот здесь вся наша линия налицо: нос, лоб, подбородок, затылок, шейный и локтевой сгиб, коленные чашечки и пальцы, пальцы, пальцы...

Из-под стола появляется женщина. Это Мария Иван-на.

МАРИЯ ИВАННА. Эй, вы!

ИВАН ИВАНЫЧ. Кто — я?

МАРИЯ ИВАННА. Вы, вы! Кто же еще?

ИВАН ИВАНЫЧ. Действительно. Никого же нет.

МАРИЯ ИВАННА. А где он?

ИВАН ИВАНЫЧ. Кто вас интересует?

МАРИЯ ИВАННА. Меня больше никто не интересует.

ИВАН ИВАНЫЧ. А никого и нет.

МАРИЯ ИВАННА. А вы?

ИВАН ИВАНЫЧ. Что я? Я тут просто случайно. Приле-тел — улетел.

МАРИЯ ИВАННА. А куда?

ИВАН ИВАНЫЧ. Никуда.

МАРИЯ ИВАННА. Вот и катитесь.

ИВАН ИВАНЫЧ. Послушайте! Как вы со мной разгова-риваете? Вы же меня совершенно не знаете.

Мария Иванна окончательно появляется из-под стола. МАРИЯ ИВАННА. Да, я вас совершенно не знаю. Но я вас совершенно могу узнать.

ИВАН ИВАНЫЧ. Не выйдет. У нас времени в обрез.

МАРИЯ ИВАННА. А вдруг выйдет? Надо себе только вообразить. Вот живут два человека, и оба ничего друг о друге не знают, и вдруг — бац! Начинают постепенно узнавать, узнавать, и наконец — бац! Знают все, полно-стью. Здорово?

ИВАН ИВАНЫЧ. Ничего здорового. Наоборот, пове-ситься можно.

МАРИЯ ИВАННА. Зачем вам вешаться? Все равно ниче-го не получится.

ИВАН ИВАНЫЧ. Это почему же?

МАРИЯ ИВАННА. А не дадут.

ИВАН ИВАНЫЧ. Кто?

МАРИЯ ИВАННА. А другой.

ИВАН ИВАНЫЧ. Какой это другой?

МАРИЯ ИВАННА. Какой, какой... Да любой. Вот вы, к примеру, еще сам не будете знать, что хотите пове-ситься, а он уже в курсе. Потому что узнал вас пол-ностью и охраняет от всякого такого.

ИВАН ИВАНЫЧ. А может, я не хочу, чтоб меня охраня-ли! Может, я хочу сам!

МАРИЯ ИВАННА. Да вы сам и будете. Только под охра-ной другого. Чтоб с вами ничего не случилось. Вам же лучше.

ИВАН ИВАНЫЧ. Я не хочу, чтоб мне было лучше! Это форменное физическое насилие!

МАРИЯ ИВАННА. Да к вам и близко никто не подойдет.

ИВАН ИВАНЫЧ. Сказал, не желаю, значит, не желаю. МАРИЯ ИВАННА. А вдруг желаете? Ведь есть же у вас какие-то органы чувств?

ИВАН ИВАНЫЧ. Органы есть, а чувств нет.

МАРИЯ ИВАННА. Не может быть.

ИВАН ИВАНЫЧ. Может.

МАРИЯ ИВАННА. Не прикидывайтесь. У всякого чело-века что-нибудь да есть. Например, слух! зрение! обоняние! осязание! что там еще?

ИВАН ИВАНЫЧ. Не хочу я вашего осязания.

МАРИЯ ИВАННА. Не надо себя обеднять.

ИВАН ИВАНЫЧ. Нет, надо.

МАРИЯ ИВАННА. Обидно вас слушать. Хотите, я вам докажу, и вы со мной сразу согласитесь?

ИВАН ИВАНЫЧ. Не приближайтесь!

МАРИЯ ИВАННА. Да я вас даже пальчиком не трону.

ИВАН ИВАНЫЧ. А чего вам тогда надо?

МАРИЯ ИВАННА. Вот, например, я сейчас узнаю, как вас зовут.

ИВАН ИВАНЫЧ. Не узнаете.

МАРИЯ ИВАННА. Иван Иваныч. Иван Иваныч. Иван Иваныч.

ИВАН ИВАНЫЧ (поражен). Так это, наверное, нас уже вчера познакомили...

МАРИЯ ИВАННА. А вы где в это время были? В отклю-чке?

ИВАН ИВАНЫЧ. Я не отключаюсь, у меня организм больной. Не принимает. Но я помню, что нас точно зна-комили.

МАРИЯ ИВАННА. Ничего не точно. Просто я вошла в ваше биополе и начала его осязать. И оно мне отчетливо просигнало: Иван Иваныч.

ИВАН ИВАНЫЧ. Вот как вошли, так и выйдите. Выйди-те, пожалуйста. Нечего мне рассказывать бабушкины сказки про Бермудский треугольник и про снежного человека.

МАРИЯ ИВАННА. Снежный человек, если хотите знать, тоже порождение вашего биополя.

ИВАН ИВАНЫЧ. Нет уж, извините-подвиньтесь, никаких полей у меня нет.

МАРИЯ ИВАННА. Есть.

ИВАН ИВАНЫЧ. Да какие они из себя?!

МАРИЯ ИВАННА. Разнообразные. В том числе и говорящие.

ИВАН ИВАНЫЧ. И что же они говорят?

МАРИЯ ИВАННА. Что хотят, то и говорят. Свободная вещь. Это раньше, чтобы раскусить предмет, нужно было его потрогать. А теперь достаточно всего лишь осязать поле.

ИВАН ИВАНЫЧ. А как?

МАРИЯ ИВАННА. Очень просто, всем организмом.

ИВАН ИВАНЫЧ. Этого я, извините, не умею.

МАРИЯ ИВАННА. А вы попробуйте. Попытайтесь проникнуть в мое поле и узнать, как меня зовут.

ИВАН ИВАНЫЧ (пытается). Что-то не выходит.

МАРИЯ ИВАННА. Это с непривычки. Меня зовут Мария Иванна.

ИВАН ИВАНЫЧ. Очень приятно.

МАРИЯ ИВАННА. Конечно, приятно.

ИВАН ИВАНЫЧ. Ну так давайте дальше.

МАРИЯ ИВАННА. Что — дальше?

ИВАН ИВАНЫЧ. Осязать друг друга организмами.

МАРИЯ ИВАННА. Давайте.

ИВАН ИВАНЫЧ. Давайте.

МАРИЯ ИВАННА. Что же вы?

ИВАН ИВАНЫЧ. Нет, уж лучше вы.

МАРИЯ ИВАННА. Сначала вы.

ИВАН ИВАНЫЧ. Почему это я?

МАРИЯ ИВАННА. Потому что вы первый.

ИВАН ИВАНЫЧ. Нет, вы первая.

МАРИЯ ИВАННА. Нет, я вторая.

ИВАН ИВАНЫЧ. Нет, я второй.

МАРИЯ ИВАННА. А тогда слушайте, что вам говорят.

ИВАН ИВАНЫЧ. Это кого это я должен слушать? Вас, что ли? Да вы сами ничего не умеете!

МАРИЯ ИВАННА. Это я не умею?

ИВАН ИВАНЫЧ. Вы — не умеете совершать творческий акт.

МАРИЯ ИВАННА. А сами-то вы кто такой сюда явились?

ИВАН ИВАНЫЧ. Я понятно откуда явился. Из Амска.

МАРИЯ ИВАННА. Отку-у-у-да?

ИВАН ИВАНЫЧ. Из Амска, что на реке Аме стоит, город бескрайних просторов. Имеем школы, библиотеки, завод запчастей, но в основном — новейшие пищевые блоки. Вырабатываем, так сказать, продукты в поте лица своего.

МАРИЯ ИВАННА. Продукты? Это какие же?

ИВАН ИВАНЫЧ. В основном искусственные.

МАРИЯ ИВАННА. Вот бы попробовать!

ИВАН ИВАНЫЧ. Нельзя.

МАРИЯ ИВАННА. Почему это?

ИВАН ИВАНЫЧ. У нас закрытая зона.

МАРИЯ ИВАННА. Неплохо устроились! Сами продукты едите, а другим шиш? Так, Иван Иванович?

ИВАН ИВАНЫЧ. Вы не понимаете общего положения, Мария Иванна. Надо учитывать опасность нашего производства.

МАРИЯ ИВАННА. Какая там опасность? Вот если бы вы служили на АЭС, тогда было бы еще о чем говорить.

ИВАН ИВАНЫЧ. Значит, не о чем говорить? Значит, вам АЭС подавай? Мирный атом — в каждый дом? МАРИЯ ИВАННА. А ваш Амск на том свете стоит? Вы что же, атомом брезгуете?

ИВАН ИВАНЫЧ. Да от вашего атома все несчастья. От него да от электричества. Сначала лампочка вошла в каждый дом, а потом уж и он, мирный ваш атом. Поселились, как хозяева, и тикают кругом.

МАРИЯ ИВАННА. Вы электричество не трогайте, вы без него нуль без палочки.

ИВАН ИВАНЫЧ. Почему же я нуль?

МАРИЯ ИВАННА. Потому что темнота полезна только молодежи, а вы уже не молоды, Иван Иванович.

ИВАН ИВАНЫЧ. Да, я не молод. Ну и что? А сами вы разве пионерка?

МАРИЯ ИВАННА. Да, мы с вами уже не дети, чтобы нам быть цветами.

ИВАН ИВАНЫЧ. Значит, нам все-таки есть о чем поговорить?

МАРИЯ ИВАННА. Допустим. Но что вы можете мне рассказать такого нового, чего бы я уже не знала сама?

ИВАН ИВАНЫЧ. А вот вы послушайте, Мария Иванна.

МАРИЯ ИВАННА. Слушаю, Иван Иванович.

ИВАН ИВАНЫЧ. Только попрошу присесть, Мария Иванна. Потому что речь пойдет о неясных явлениях нашей жизни.

МАРИЯ ИВАННА. Неясных?

Садятся рядышком.

ИВАН ИВАНЫЧ. Может, вы мне, Мария Иванна, не поверите, но сидим мы однажды с товарищем в пищевой блоке и работаем . . .

МАРИЯ ИВАННА. Да я вам верю, Иван Иванович.

ИВАН ИВАНЫЧ. . . . Сидим мы с товарищем и работаем над новым сортом мясного продукта. Клеточку к клеточке подбираем, как на картинке. Посмотришь — и слюнки текут от красоты, потому что все живое. Цвет отличный. И даже косточка белая мозговой спелости сбоку торчит. А я захватил, между прочим, в соседнем блоке пару бутылок сухенького . . .

МАРИЯ ИВАННА. Вы же говорили, что у вас организм не принимает.

ИВАН ИВАНЫЧ. Не принимает. Это так, для вредности, у нас без этого никак нельзя.

МАРИЯ ИВАННА. Понимаю, Иван Иванович.

ИВАН ИВАНЫЧ. Ну вот, сидим мы с товарищем и изучаем образцы. И вдруг . . .

МАРИЯ ИВАННА. Ой!

ИВАН ИВАНЫЧ. Вот именно ой! Началось.

МАРИЯ ИВАННА. А приборы — что, что показывали? Надо было сразу свериться со шкалой измерений.

ИВАН ИВАНЫЧ. Приборы все вышли из строя.

МАРИЯ ИВАННА. Зашкалило?!

ИВАН ИВАНЫЧ. Полный зашкал. Все ложки-вилки к чертям полетели.

МАРИЯ ИВАННА. А как с общим фоном?

ИВАН ИВАНЫЧ. С фоном было все в порядке. Дам, правда, не приглашали, но зато я принес свой картонки, как раз несколько штук вырезал . . .

МАРИЯ ИВАННА. Да что вы меня, за дурочку держите? Что произошло-то, говорите толком!

ИВАН ИВАНЫЧ. Толком все наши образцы прямо на глазах у человека стали раскисать, расплываться, разжижаться и в виде студня потекли прямо на нас с товарищем, нагло дыша нам в лицо. Я бежал, а товарища засосало. Видно, он к тому времени уже много попробовал и ассимилировался.

МАРИЯ ИВАННА. Какая у вас работа опасная, Иван Иванович!

ИВАН ИВАНЫЧ. А что я вам говорил, Мария Иванна? Но это мой долг — быть, невзирая ни на что.

МАРИЯ ИВАННА. А вдруг бы вы сами превратились в студень?

ИВАН ИВАНЫЧ. Ну что ж. Чей-нибудь ротик скушал бы меня.

МАРИЯ ИВАННА. Чей ротик?

ИВАН ИВАНЫЧ. Хотя бы ваш.

МАРИЯ ИВАННА. Ни за что. Живите, пожалуйста, так.

ИВАН ИВАНЫЧ. Спасибо. Мне еще таких слов никто не говорил. А то иной раз идешь на работу и не знаешь, вернуться назад или нет.

МАРИЯ ИВАННА. А вы пейте поменьше.

ИВАН ИВАНЫЧ. Я не пью, я работаю.

МАРИЯ ИВАННА. И работать тоже не надо.

ИВАН ИВАНЫЧ. Это как же?

МАРИЯ ИВАННА. А вот так. Не работайте, и все.

ИВАН ИВАНЫЧ. А кто же будет давать стране продукты??

МАРИЯ ИВАННА. Никто.

ИВАН ИВАНЫЧ. Но мы же умрем.

МАРИЯ ИВАННА. Мы и так умрем.

ИВАН ИВАНЫЧ. Вы не умрете, Мария Иванна. Вы такая живая.

МАРИЯ ИВАННА. Умру, Иван Иванович, обязательно умру. Но поле мое останется.

ИВАН ИВАНЫЧ. Опять вы про свое поле!

МАРИЯ ИВАННА. И у вас оно тоже есть. Вон, вы же весь светитесь.

ИВАН ИВАНЫЧ. Где? Где?

МАРИЯ ИВАННА. Да везде. Знаете, сколько всего вокруг вас скопилось? А вы проходите насквозь, топчите ногой, убиваете рукой. Вот и сейчас взмахнули! Разрушили целый мир, а там люди, насекомые, детишки — там жизнь! Золотые закаты Трои, пепел Попмеи! Это вам не пищеблочный студень...

ИВАН ИВАНЫЧ. Где? Где?

МАРИЯ ИВАННА. Перестаньте размахивать руками. ИВАН ИВАНЫЧ. Довольно! Я, Мария Иванна, не какой-нибудь наемный убийца. Я даже по лесу хожу в страхе, как бы не раздавить какого-нибудь паукообразного.

МАРИЯ ИВАННА. Зачем вам паукообразные, Иван Иванович?

ИВАН ИВАНЫЧ. Паукообразные — это первопоселенцы суши. Без них, Мария Иванна, возможно, и нас-то не было бы.

МАРИЯ ИВАННА. Нет, извините, Иван Иванович, я от людей. Просто они были в разных человеческих состояниях. Сначала вселялись в инфузорию тифельку, а потом уже появились окончательно.

ИВАН ИВАНЫЧ. Так, может, они и в пауков вселялись.

МАРИЯ ИВАННА. Какая пакость.

ИВАН ИВАНЫЧ. Пауков, если хотите знать, целых двадцать пять тысяч видов, и живут они повсюду — в лесах, ручьях, пустынях и даже близ вершины Эвереста.

МАРИЯ ИВАННА. А вы там были?

ИВАН ИВАНЫЧ. У меня организм слабый, голова кружится.

МАРИЯ ИВАННА. Это оттого, что много информации знаете, а от нее даже компьютеры болеют.

ИВАН ИВАНЫЧ. Если бы вы их узнали поближе, вы бы никогда не бросили в них камнем. У них имеется брюшко, голова и грудь одновременно, восемь пар ног и паутинные бородавки...

МАРИЯ ИВАННА. Пакость.

ИВАН ИВАНЫЧ. Они плохо видят, но зато все чувствуют, потому что у них есть паутина. Окружают себя паутиной, как домом, и так живут. Паук и паутина — это вещи суть нераздельные.

МАРИЯ ИВАННА. Я всегда думала, что паутина — это чтобы мух ловить.

ИВАН ИВАНЫЧ. Вы, Мария Иванна, человек без воображения.

МАРИЯ ИВАННА. Это я без воображения?

ИВАН ИВАНЫЧ. Вы, а кто же?

МАРИЯ ИВАННА. Зато вы о себе много воображаете. Вот вам, например, известно, что паук — к известию?

ИВАН ИВАНЫЧ. К какому?

МАРИЯ ИВАННА. Неизвестно. Иногда к самому худшему. А иногда ничего. Я однажды увидела паука, и сразу же мне пришла повестка.

ИВАН ИВАНЫЧ. В суд?

МАРИЯ ИВАННА. На соревнования.

ИВАН ИВАНЫЧ. Метание ядра? Держание весла женщины? Бег с котом в мешке?

МАРИЯ ИВАННА. Сами вы кот в мешке. А у нас было соревнование вполне современное. Каждый должен был явиться каким-нибудь предметом или явлением. Выбери себе по вкусу.

ИВАН ИВАНЫЧ. Ну, и что же вам по вкусу?

МАРИЯ ИВАННА. Сухарева башня.

ИВАН ИВАНЫЧ. И что вы в ней хорошего нашли?

МАРИЯ ИВАННА. Я ее на картинке видела, она устойчивая.

ИВАН ИВАНЫЧ. Так ведь она, кажись, не сохранилась?

МАРИЯ ИВАННА. Сколько надо, столько и сохранилась, как настоящая женщина. Она мне как мать — впустила в себя, и я заново родилась. Сначала я была у нее внутри, потом она у меня. Я как-то вся стала раздвигаться, расширяться, тянуться, расти, расти, расти — в этажи и ярусы, в этажи и ярусы. В нижней моей части помещались караульни и большие ворота, которые туда-сюда пропускали людей. А над воротами были палаты и галереи. А над ними — башня, а над ней — небо. Помню, мне было страшно и больно — все время вверх и вверх, из самой себя, из собственного камня. Но я все-таки произвела на свет все четыре яруса. Там помещались часы и астрономическая обсерватория. Я была башня, и я была время, и я была планета. Всем своим телом я касалась земли, и всем своим телом я плавала там, среди звезд. Во мне находился чугунный резервуар многотысячных капельных клеток, и я отдавала свою воду городу, и он жадно ее пил. Я давала приют птицам, потому что в моих камнях образовались углубления. И там всегда скапливались лужицы, и птицы касались меня своими клювами. Шел дождь, падал мокрый снег — я не боялась плакать вместе с ними. Может, эта влага со временем и развела бы меня, потому что от ее сернистых соединений даже мрамор однажды превращается в гипс. Но все произошло гораздо раньше. Сначала внизу шумел и торговал рынок, потом кто-то установил на одном из моих ярусов пулемет, и начали палить, и играла веселая музыка. Потом я перестала быть караульной, обсерваторией, башней и стала музеем коммунального хозяйства. Потом меня разобрали по частичкам, по клеточкам, по капелькам, по секундам. Все случилось гораздо, гораздо раньше, но тоже само собой...

ИВАН ИВАНЫЧ (подходит совсем близко). А пауки?

МАРИЯ ИВАННА. Что?

ИВАН ИВАНЫЧ. Пауки там жили?

МАРИЯ ИВАННА. Ползали. Потом исчезли вместе со всем остальным.

ИВАН ИВАНЫЧ (гладит ее по голове). Бедные.

МАРИЯ ИВАННА. Не трогайте, что-нибудь сломаете.

ИВАН ИВАНЫЧ. Вас уже не сломаешь, вы уже сломанная.

МАРИЯ ИВАННА. Нет, вы что-нибудь окончательно нарушите.

ИВАН ИВАНЫЧ. Не нарушу. Вы же не башня, а Мария Иванна.

МАРИЯ ИВАННА. Я — башня.

ИВАН ИВАНЫЧ. Может, вы кушать хотите? Здесь много всего осталось после гостей.

МАРИЯ ИВАННА. Спасибо, я что-нибудь проглочу. Садится за стол.

ИВАН ИВАНЫЧ. Кушайте на здоровье.

МАРИЯ ИВАННА. Остатки сладки.

Кушают остатки.

ИВАН ИВАНЫЧ. У вас кто-нибудь есть?

МАРИЯ ИВАННА. Никого. Хотя кто-то был.

ИВАН ИВАНЫЧ. Давно?

МАРИЯ ИВАННА. Вчера. Мы с ним на соревнованиях познакомились. Так он не нашел ничего лучше, как выбрать себе район Волонки — ЗИЛ. Видели, какие там дома? Стоят, скалятся в небо.

ИВАН ИВАНЫЧ. Вы его любили?

МАРИЯ ИВАННА. Кушать да, а так нет. (Смеется.)

Помните анекдот про помидоры? Вы помидоры любите — кушать да, а так нет... (Жует.)

ИВАН ИВАНЫЧ. Про помидоры не помню, хотя мне следовало бы как специалисту.

МАРИЯ ИВАННА. Ой!

ИВАН ИВАНЫЧ. Что?

МАРИЯ ИВАННА. А эти продукты не опасны?

ИВАН ИВАНЫЧ. Мы же вдвоем кушаем. . . Маша! Я могу вас так называть? Вы были когда-нибудь счастливы? Так, чтобы жить больше не надо было?

МАРИЯ ИВАННА (жуя, с сожалением). Мне всегда жить надо.

ИВАН ИВАНЫЧ. Маша! Я ведь могу вас так называть? Мне кажется, у нас что-то вроде взаимоотношений.

МАРИЯ ИВАННА (переставая жевать). Да? Кажется, что-то есть.

ИВАН ИВАНЫЧ. Мне в присутствии вас хочется слышать от себя одну голую правду. Почему это, а?

МАРИЯ ИВАННА. Не знаю.

ИВАН ИВАНЫЧ. Как не знаете? Вы же сами говорили. У каждого человека что-нибудь да есть, какие-нибудь чувства в организме. А у меня буквально ничего. Я пуст, как ящик из-под посылок, хотя посылки, Маша, были, и еще какие посылки! Вы меня понимаете?

МАРИЯ ИВАННА (опять жует). Угу.

ИВАН ИВАНЫЧ. Вот, вы меня уже совсем стали понимать. А вот полностью никак еще не можете.

МАРИЯ ИВАННА. Это почему же?

ИВАН ИВАНЫЧ. Потому что вру, Маша, никакой я не ящик, а чистый лист бумаги. Как эти фигуры. Дайте мне вашу руку.

МАРИЯ ИВАННА. Вы побелели, как бумага. Вам переехать надо в оздоровительный климат и ограничиться в приеме пищи.

ИВАН ИВАНЫЧ. Да! Мне надо к тебе переехать, Маша! Вот, взгляни. (Показывает на картонке фигуры.) У меня ничего нет, кроме них. Только линии бесплотных тел, а больше ничего. Но мне так хочется овладеть всем объемом, всеми цветами, всеми запахами!

МАРИЯ ИВАННА. А кто мешает?

ИВАН ИВАНЫЧ. Я не могу, Маша! Я погряз в своем вырезанном мире, я среди этих картинок как в лесу. . . Ау, Маша! Выведи меня отсюда! Спаси меня! Оживи!

МАРИЯ ИВАННА. А как?

ИВАН ИВАНЫЧ. Приди ко мне, Маша.

МАРИЯ ИВАННА. Да я и так тут.

ИВАН ИВАНЫЧ. Это я тут, а ты там со всеми этими объемами, цветами, тяжелыми запахами. . .

МАРИЯ ИВАННА. Здесь так хорошо пахнет цветами. ИВАН ИВАНЫЧ. Разве это цветы? Я вырежу тебе сотни, тысячи, я осыплю тебя ими и буду осыпать всю жизнь. Ты будешь стоять как елка в новогоднем конфетти. Ты любишь елку?

МАРИЯ ИВАННА. Кушать да, а так нет.

ИВАН ИВАНЫЧ. Маша, неужели все эти продукты окончательно тебя притупили? Неужели ты не хочешь осязать просто человека?

МАРИЯ ИВАННА. Дались вам эти продукты. А еще в пищеблоках живете.

ИВАН ИВАНЫЧ. Я там живу как в гробу! Черви едят мое тело, мои кости, мой мозг!

МАША. Так чего же вы там лежите?

ИВАН ИВАНЫЧ. Я там лежу, потому что мне всегда снится сон, что я лежу в гробу. Рядом музыка, люди, очень много людей. Они стоят вокруг меня и молчат. И я молчу. Хочу пошевелить рукой, заговорить знакомыми словами, но не могу. Тодько бортик больно вливается в кожу. Хочу проснуться, наконец просыпаюсь, и оказывается, что я лежу в гробу и вижу сон! Что делать, Маша?

МАРИЯ ИВАННА. А если вам из гроба взять и выскокить, хотя бы на секунду? Ухватитесь за что-нибудь и выскокните.

ИВАН ИВАНЫЧ. Давай, Маша, я за тебя ухвачусь.

Хватает Марию Ивановну, Мария Ивановна сопротивляется. Оба падают под стол. Долгое время на сцене ни души. Вдруг — слышны междометия, возгласы, звуки и наконец слова.

ИВАН ИВАНЫЧ (из-под стола). Ты, Маша, не бойся, не бойся, не бойся.

МАРИЯ ИВАННА. Я не боюсь, не боюсь, не боюсь.

ИВАН ИВАНЫЧ. Я ж к тебе лишь временно поселюсь, места нам обоим хватит. Как тут просторно, Маша. Ты не расстраивайся. Тебя еще восстановят. Обязательно, обязательно, обязательно. Тебя реставрируют, подправят, покрасят. Ты будешь снова показывать время, качать воду, плавать в небе. Снова свет, снова жизнь, снова смерть. А серы не бойся, она не опасная, и ты обязательно станешь мраморной. Обязательно, обязательно, обязательно. Тепло тебе, Маша?

МАРИЯ ИВАННА. Тепло, тепло, тепло. Обязательно, обязательно, обязательно.

ИВАН ИВАНЫЧ. Светло, светло, светло, как будто тысячу лампочек вставили. Светло тебе?

МАРИЯ ИВАННА. Светло, светло, светло. Тепло, тепло, тепло. Обязательно, обязательно, обязательно.

ИВАН ИВАНЫЧ. Вот и будем с тобой, вот и будем, вот и будем. Светло. Тепло. Обязательно.

МАРИЯ ИВАННА. Хочу, чтоб было еще светлее, еще теплее, еще обязательнее.

ИВАН ИВАНЫЧ. Завтра.

МАРИЯ ИВАННА. Тогда до завтра.

Из-под стола появляются головы Ивана Ивановича и Марии Ивановны.

ИВАН ИВАНЫЧ. Где это я?

МАРИЯ ИВАННА. На свадьбе. Посмотри, как все здесь красиво. Целое море цветов, как будто мы уже утонули.

ИВАН ИВАНЫЧ. В самом деле, зачем это столько цветов? И почему так светло? Уже день?

МАРИЯ ИВАННА. День.

ИВАН ИВАНЫЧ. А где лучи золотого дня?

МАРИЯ ИВАННА. Они золотят предметы.

ИВАН ИВАНЫЧ. Я хочу разные предметы.

МАРИЯ ИВАННА. Вот стол.

Иван Иванович ощупывает лампу. Смеется.

МАРИЯ ИВАННА. А это гости.

Иван Иванович ощупывает лампу. Смеется.

МАРИЯ ИВАННА. А эт гости.

Иван Иванович ощупывает картонных гостей. Смеется.

МАРИЯ ИВАННА. Всё у нас есть. К нам пришли гости.

Иван Иванович берет смятые транспаранты и раздает их картонным гостям. Транспаранты гласят: «Больше всех», «Желаю этого», «В другой раз лучше», «Вас помнят» и всякие другие слова, предназначенные жениху и невесте.

Начинается торжественное свадебное шествие.

ИВАН ИВАНЫЧ. Как много гостей! Люди, люди, орлы, куропатки, рогатые олени. . . (Вдруг вспоминает.) А где ружье?

МАРИЯ ИВАННА. Какое ружье?

ИВАН ИВАНЫЧ (вспоминает). Которое должно выстрелить в конце каждой пьесы.

МАРИЯ ИВАННА. Какой пьесы? Разве мы играем? Разве мы не люди?

ИВАН ИВАНЫЧ. Люди. Звери. Рогатые олени. А ружья нет.

МАРИЯ ИВАННА. А где же оно?

ИВАН ИВАНЫЧ. Вот и я спрашиваю — где?

МАРИЯ ИВАННА. Может, оно осталось в другой пьесе?

ИВАН ИВАНЫЧ. А что мы тогда делаем в этой?

МАРИЯ ИВАННА (растерянно). Я не помню.

ИВАН ИВАНЫЧ (сухо.) А надо помнить, милая Мария-ванна.

МАРИЯ ИВАННА. Я сейчас постараюсь вспомнить.

ИВАН ИВАНЫЧ. Поскорее. Гости ждут.

МАРИЯ ИВАННА (со слезами). Сейчас вспомню.

ИВАН ИВАНЫЧ. Ну? . .

МАРИЯ ИВАННА (плачет). Сейчас.

ИВАН ИВАНЫЧ. Может, вам просто нечего вспомнить?

МАРИЯ ИВАННА (рыдает). Вспомнила!

ИВАН ИВАНЫЧ. Что?

МАРИЯ ИВАННА. Мы тут были на чьей-то свадьбе. А потом все ушли и, наверное, унесли ружье.

ИВАН ИВАНЫЧ. А куда все ушли?

МАРИЯ ИВАННА. Не знаю!

ИВАН ИВАНЫЧ. Не знаете или не хотите знать?
МАРИЯ ИВАННА. Наверное, чтобы оставить нас одних.
ИВАН ИВАНЫЧ. А зачем?
МАРИЯ ИВАННА. Не знаю.
ИВАН ИВАНЫЧ. Вы, Мариванна, окончательно запутались сами и всех запутали. Не уйти ли и вам отсюда?
МАРИЯ ИВАННА. Куда же я пойду?
ИВАН ИВАНЫЧ. Туда же, куда и ружье.
МАРИЯ ИВАННА. Далось вам это ружье.
ИВАН ИВАНЫЧ. Как же без него?
МАРИЯ ИВАННА. Как-то раньше обходились. Вам что, мало тут всего остального?
ИВАН ИВАНЫЧ. Чего это всего?
МАРИЯ ИВАННА. Да вон — стол, стул, лампа. Свадьба... Поговорили...
ИВАН ИВАНЫЧ. Не вижу никакой причинно-следственной связи. А без нее все это пустое место.
МАРИЯ ИВАННА. Ничего оно не пустое, вы потрогайте! Потрогайте еще раз!
ИВАН ИВАНЫЧ (трогает предметы, как слепой). Стол, стул, лампа. Трудно, однако, без связи. (Натыкается на стену.) Стена, пол, потолок. Как тут ходить? Где? В какой плоскости? (Натыкается на Марию Ивановну.) Кто это?
МАРИЯ ИВАННА. Я.
ИВАН ИВАНЫЧ. Вы? А кто это — вы?
МАРИЯ ИВАННА. Мария Ивановна. Можете потрогать.
ИВАН ИВАНЫЧ (трогает). В самом деле, что-то есть. А ружья нет. Что же делать?
МАРИЯ ИВАННА. Зачем что-то делать?
ИВАН ИВАНЫЧ. Чтобы все наконец кончилось.
МАРИЯ ИВАННА. Не надо кончаться. Пусть все происходит без конца.
ИВАН ИВАНЫЧ. Нельзя. Иначе больше ничего не будет. Чтобы что-то было, все должно кончиться.
МАРИЯ ИВАННА. Вот вы какой! Вам что-то подавай, а всего вам не надо. Тогда лучше уж убейте меня.
ИВАН ИВАНЫЧ. А чем? Ружья-то нету.
МАРИЯ ИВАННА. Зачем вам ружье? Вы своими руками.
ИВАН ИВАНЫЧ. На что вы меня толкаете?
МАРИЯ ИВАННА. Я вас не толкаю. Я вас оживила. А теперь сама должна умереть.
ИВАН ИВАНЫЧ. Да, я теперь оживился. А вы должны умереть. В этом что-то уже есть.
МАРИЯ ИВАННА. Ну так убивайте.
ИВАН ИВАНЫЧ. Никак не пойму, чего вы от меня хотите?
МАРИЯ ИВАННА. Ничего я не хочу. Это вы хотите.
ИВАН ИВАНЫЧ. Что?
МАРИЯ ИВАННА. Убить.
ИВАН ИВАНЫЧ. Вы сумасшедшая, ненормальная Мариванна.
МАРИЯ ИВАННА. А вы поезжайте опять в свой нормальный Амск.
ИВАН ИВАНЫЧ. И поеду. Только сначала мне что-то тут нужно сделать. Ах да, убить.
МАРИЯ ИВАННА. Вам нужно, вы и убивайте.
ИВАН ИВАНЫЧ. Так вы же мне не хотите помочь — как?
МАРИЯ ИВАННА. Любым способом. Например, сделайте так, чтобы я сама этого захотела.
ИВАН ИВАНЫЧ. В этом что-то уже есть.
МАРИЯ ИВАННА. Давайте.

ИВАН ИВАНЫЧ. А как?
МАРИЯ ИВАННА. Боже мой! Ничего-то они не умеют, а еще страхделегаты! Кто таким только доверяет свою жизнь? Ну, вот я сама беру веревку и собственноручно обворачиваю вокруг своей шеи... Видите? Обворачиваю...
ИВАН ИВАНЫЧ. Ну? А что дальше?
МАРИЯ ИВАННА. А теперь сделайте так, чтобы я эту веревку сама потуже затянула. Ищите какой-нибудь гвоздь.
ИВАН ИВАНЫЧ. Какой?
МАРИЯ ИВАННА. Вместо того, чтобы воздействовать на мое поле, вы задаете лишние вопросы! Вы какой-то лишний, Иванываныч!
ИВАН ИВАНЫЧ. Прошу меня не оскорблять, Мариванна. Я и так воздействую.
МАРИЯ ИВАННА. Плохо воздействуете.
ИВАН ИВАНЫЧ. Как уж могу. Это вы какая-то малочувствующая.
МАРИЯ ИВАННА. Неправда. Я много чувствующая. Это вы не соответствуете. Наверное, вам не хочется, чтобы я тут висела.
ИВАН ИВАНЫЧ. Что вы, очень даже хочется.
МАРИЯ ИВАННА. Ну так напрягитесь.
ИВАН ИВАНЫЧ (напрягается). Сейчас лопну. Вы, наверное, смерти моей хотите, Мариванна.
МАРИЯ ИВАННА. Вполне достаточно моей, Иванываныч.
ИВАН ИВАНЫЧ. Тогда сделайте шаг мне навстречу, Мариванна.
МАРИЯ ИВАННА. Смотрите, Иванываныч, как это делается!

Уходит за сцену и вешается. Иван Ивановч остается один.

ИВАН ИВАНЫЧ. Что это? Почему я опять один? Какое-то неясное явление?

Уходит за сцену и возвращается обратно в полном недоумении.

ИВАН ИВАНЫЧ. Кажется, повесилась. Кто ее об этом просил?

Снова уходит за сцену и оттуда разговаривает.

ИВАН ИВАНЫЧ (из-за сцены). Что это вы, на самом деле, тут висите? Зачем это? Ведь сюда войти могут в любую секунду. Гости и все остальные. Это ведь не какой-нибудь наш дом. Рабочие сцены войдут. Это же кулисы. Людям же работать надо... Маша! Я убил тебя! Я убийца. Маша!... Все равно. Висит. Больше не светится... (Плачет.)

Снова выходит на сцену лицом к зрителю.

ИВАН ИВАНЫЧ. Да, мы тут осяжаем полный труп. А ведь было что-то. Было.

Появляется Мария Ивановна.

МАРИЯ ИВАННА. Здравствуйте, Иван Ивановч.

ИВАН ИВАНЫЧ. Здравствуйте, Мария Ивановна. Вы что-нибудь чувствуете?

МАРИЯ ИВАННА. Спасибо, Иван Ивановч, ничего.

ИВАН ИВАНЫЧ. Давайте жить, Мария Ивановна.

МАРИЯ ИВАННА. Давайте, Иван Ивановч.

ИВАН ИВАНЫЧ. Садитесь сюда, поближе к свету, среди цветов и продуктов. Я вас теперь никуда не отпущу, пока окончательно не вырежу.

Мария Ивановна садится к свету, утопая среди цветов и продуктов. Иван Ивановч ее вырезает.

ВСЕ. КОНЕЦ.

ОБ АВТОРЕ. Васильева Светлана Анатольевна, 1950 г. р.; филолог, кандидат искусствоведения. Печаталась как театральный критик. Литературный дебют — рассказы в сборнике «Не помнящая зла» (находится в производстве в изд-ве «Московский рабочий»). Кроме указанных в предисловии, автор еще двух многоактных пьес — «Мышеловка» и «Ловля страха во полночи». Пьесы на сцене не ставились. «Око» было разыграно актерами театра-студии «Человек» в режиссуре М. Мокеева в 1988 г.

Х Е Л Е Н А Д Е М А К О В А

ИСКУССТВО В ГОРОДЕ, ОКРУЖЕННОМ ВОСТОКОМ

НЕМНОГО ТЕОРИИ

До сих пор вокруг Западного Берлина — Восток. Однако... Когда создавалась первая статья («Родник» № 2, 1990), Стена все еще стояла (с 1961 года). Но за один месяц произошло нечто такое, что не могли вообразить в самых смелых мечтах все те, кто стоял по обе стороны Стены. Неужели желаемое осуществилось? Я сейчас тоже могу писать только с этими первыми эйфорическими чувствами, вызванными падением Стены, стараясь отогнать мысли о том, что, пока она не пала полностью и окончательно, пока еще существуют два разных Берлина, для эйфории нет реальных оснований. Ни один думающий человек не сомневался в том, что Германия должна быть единой, что это страна одного народа, одного языка, одной традиции. Что величие и позор ее истории должна нести вся Германия. Что Берлин может быть настоящей столицей, только если он — цельный Берлин.

И все же... Сколько времени пройдет, прежде чем можно будет говорить о действительно единой Германии и едином Берлине? Не могу забыть прочитанные некогда слова Хайнера Мюллера:

«Когда с перехода «Фридрихштрассе» я еху на станцию Зоо в Западном Берлине, я чувствую большую разницу, разницу между цивилизациями, эпохами, временами. Здесь мы видим разные уровни времени, разные пространства времени. Человек действительно проезжает здесь сквозь стену времени».¹

Подданный ГДР, драматург Хайнер Мюллер — один из редких немцев, кому в последние годы разрешалось жить в обеих частях Германии. Его выдающийся талант был его привилегией. Недаром на Западе его называли Müller-Deutschland (Мюллер-Германия), и это восхваление могучего духа, перед которым расступаются Стены. Далее в той же беседе, из которой только что процитировано высказывание Х. Мюллера, его собеседник философ С. Лотрингер задает драматургу вопрос, который мог бы задать каждый, кто ощущает свою жизнь чрезмерно определенной внешними условиями:

«Берлинская Стена ведь не единственная стена. Есть огромное количество других стен». И ответ Х. Мюллера:

«Меня к этой Стене притягивает то, что она есть знак реальной ситуации, той реальной ситуации, в которой сейчас пребывает мир. А здесь вы видите ее воплощенной в бетоне».²

Этот знак теперь приобретает другое значение, но внешне никаких кардинальных изменений в мире не произошло. Смена значений происходит постепенно. Может быть, через пятьдесят лет наше поколение будет обсуждать подписанные сегодня тайные протоколы.

На этот раз нашей задачей не является обсуждение соотношения сил на мировой политической арене, хотя и в самых отвлеченных разговорах, в, казалось бы, чисто эстетической сфере, все труднее избежать политики. Однако до большого проекта выставок искусства Западного Берлина в Риге «Интерференции» времени осталось не слишком много (за это время представители рижской стороны снова побывали в Западном Берлине, и совместно определена дата открытия выставки — 18 мая 1991 года). Год для реализации такого проекта — период небольшой, и кроме того — можно ли предвидеть, что этот год принесет нам, что — Западному Берлину? Не вмешаются ли какие-нибудь жестокие игры истории в ход осуществления акции культуры? На данный момент остается только трижды плюнуть через левое плечо и продолжать рассказывать читателям о том, что кажется существенным по отношению к искусству Западного Берлина.

Концепцию выставки скорректировала сама жизнь. Первоначальный замысел НОИИ* — смотр искусства одного города — приобрел более конкретные очертания, а именно — искусство 1961—1990. От постройки Стены до начала ее разрушения.

Не сузят ли такие рамки ожидаемого художественного спектра? Не значит ли это, что все экспозиции приобретут выраженный политический оттенок? Перед глазами пронеслось виденное в западноберлинских музеях и галереях, и ответ может быть только один — нет, политика — это политика, а искусство — это искусство. И история искусства — это все же само искусство, даже на отрезке в неполных тридцать лет. События последнего года не могут изменить то, что создано на протяжении тридцати лет. Поэтому, несмотря на конкретизирующую концепцию выставочного проекта, мы, основываясь на материале ожидаемой выставки, можем говорить о немецком искусстве трех десятилетий вообще или, еще шире, об искусстве Запада в целом. Ибо это был, как уже упоминалось в первой статье, скрытый умысел организации этой выставки с нашей стороны — показать процесс развития

¹ Müller H. Rotwelsch. — Berlin, «Merve Verlag», 1982. S. 49.

² Там же, с. 51.

* НОИИ (NGBK) — Новое общество изобразительного искусства (Neue Gesellschaft für Bildende Künste).



ФОТО ГВИДО КАЙОНСА

искусства без помех, взяв за основу искусство одного западного города. Поэтому в конкретных рамках — направление от 1961 до 1990 — можно, начиная описывать, заменить абстрактными понятиями, направлением от послевоенных движений авангардизма до постмодернизма.³

Кое-что (и совсем не так мало) о западном искусстве 60-х годов и о последних десятилетиях еще недавно было в нашей периодике.⁴ С различными «измами» и промежуточными явлениями в течение года мы еще успеем познакомиться. Существеннее сначала, кажется, осознать ту культурную ситуацию, в которой сейчас рождается или сохраняется искусство Запада. И тогда из сегодняшнего дня еще раз взглянуть на прошедшие десятилетия. В этой культурной ситуации искусство — только одно из проявлений целостного типа культуры, и в его темах и обликах воплощается этот тип культуры нашей эпохи. Культуры, которая существует в стремительно меняющемся мире.

В большой степени о формировании нового типа культуры на Западе можно говорить благодаря тем процессам в обществе, которые вызваны техническими и технологическими новшествами двух последних десятилетий. Нарочно не упоминаю здесь такое привычное для нас словосочетание «технический прогресс», ибо формирование новых взаимоотношений в культуре, так же как новое положение человека в сетях коммуникаций, определяется и отказом от понятия «прогресс» в его традиционном понимании. Модернизм первой половины века еще мог рассматривать историю как непрерывно прогрессивное движение вперед. Теперь главный аргумент формирующейся культурной ситуации (и ее можно назвать постмодернистской, или постиндустриальной, или, может быть, кто-то придумает более удачный термин) — отказ от этой иллюзии. Но здесь лучше предоставить слово одному из активнейших идеологов постмодернизма: «Проект модернизма был создан, чтобы избавить человечество от неизвестности, подчиненности и нищеты: для этого развивались и распространялись наука и техника, искусства и свободы. Актуален ли еще сегодня, в конце XX века, этот проект?

В этом приходится усомниться. Западные демократии, выросшие из эпохи Просвещения, допустили и сделали возможными империализм и тотальную войну. Нацизм форсировал самые прогрессивные исследования, иногда в кошмарных условиях. С художественным авангардом общество не ознакомилось и его не постигло (...). Богатство Запада приводит к безработице на Севере и нищете на Юге. Рынок средств массовой информации производит тиранию суждений, и критерий «успеха» губит какое-либо чувство благоговения: благоговение перед жизнью, смертью и природой, перед чувствами и знаниями — благоговение перед человеком.

И все-таки мощь человека растет очевидно и непрерывно — от его тела и до галактик. Но с какой целью? Проект модернизма продолжает существовать, но в волнении и заботах. Неизвестность порождает желание безопасности, стабильности и идентичности. Это желание выражается в тысячах форм и иногда даже в понятии «постмодернизм!»⁵

Мышление, которое доминирует в эпоху постмодернизма, как бы парадоксально это ни было, — эстетическое мышление.⁶ Можно было бы избрать более легкий путь и

проиллюстрировать сущность «перевернутых» явлений, а именно, что художественное мышление приближается к философскому, однако, кажется, и нашим читателям уже довольно давно стало ясно, что существуют такие взаимосвязи, как искусство + комментарий к нему + полунные в сумме значение и смысл произведения.

Нет, на этот раз с определенным умыслом хочу подчеркнуть нечто другое, а именно — обращение великих современных мыслителей (пусть это будут или так называемые новые французские, или некоторые седые и известные немецкие философы) к сфере эстетического, и это увлечение нельзя объяснить философским характером самого нового искусства.

Как искусство, так и философия, литература, театр и т. д. сегодня в сущности сходно реагируют на упомянутые изменения в структуре западной цивилизации, а именно технические новшества. В новой культурной ситуации эти новшества в первую очередь означают приятие действительности, воспринимаемой через установки, которые формируются средствами информации, всеми видами носителей информации. Тогда, когда пространство становится насыщенным информацией, плотно наполненным всевозможными смыслообразованиями, может начать казаться, что вообще исчезает какой-либо смысл. Плюсы и минусы, суммируясь, дают нуль. Можно, конечно, думать, что новые технологии информации способны обобщить весь предыдущий опыт, однако это еще не основание для выводов и стратегии. В этой ситуации существует только совокупность нескольких осколков (часто, впрочем, содержательных и блестящих), которые при этом все — за исключением античеловечных — мы считаем в равной мере имеющими право на существование (да здравствует плюрализм!); в этой ситуации почувствованы раздробленность и фрагментарность мира, но при этом отнюдь не уменьшается тоска по «тому иному», Великому и Объединяющему, которое у западной культуры было в конце концов отнято на исходе XIX века. Авангард XX века компенсировал нехватку Абсолюта (на сей раз выберу это обозначение, поскольку еще немного позволено следовать традициям рационализма) своими утопиями, и они потерпели поражение не только потому, что массовые ужасы XX века вызвали обратную реакцию рационализма, убивающую и веру в утопию. Не менее важную причину оскудения программного авангардизма ищут в кажущейся парадоксальной ситуации — в сущности, художественные утопии уже реализовались, осуществились, но осуществились все. В их сосуществовании (которое есть тот самый прославленный плюрализм) скрывается их поражение. По этой причине мы не станем говорить об антимодернизме или еще каком-то течении, которое отрицает весь деструктивный опыт XX века, нет, речь может идти только о постмодернизме, который включает в себя также и весь опыт, приобретенный в течение века. К чему же может обратиться ищущая цельности и единства мысль с этим грузом всеобщего опыта? Теперь — с грузом понимания самых разнообразных типов культуры, из которых ни одному — как оглядываясь назад, так и осознавая то, что синхронно происходит в окружающем мире, — нельзя отдать предпочтение. Что обеспечит «безопасность, стабильность, идентичность»? Здесь следует искать ответ, почему так много современных мыслителей обращаются к сфере эстетического и там находят решение. Искусство (может быть, это преходяще, пока оправятся скомпрометированные слова) стало возможным средством всеобщего постижения мира, видом синтеза, который может одновременно раскрыть как наше конструктивное, так и деструктивное, как мифологический, так и рациональный опыт, а также настолько необходимую нам личную и национальную идентичность. Я уже утверждала, что не только облик самого нового искусства побуждал столь многих мыслителей искать цельность в сфере эстетического. Однако на искусство в этой ситуации постижения мира возложена обязанность отвечать, и оно отвечает — лучшими своими произведениями. Естественно, что накопленные дополнительные

³ Лединьш Х. Авангард, переставший быть авангардом. Родник. — 1987 — № 5 — с. 44—46.

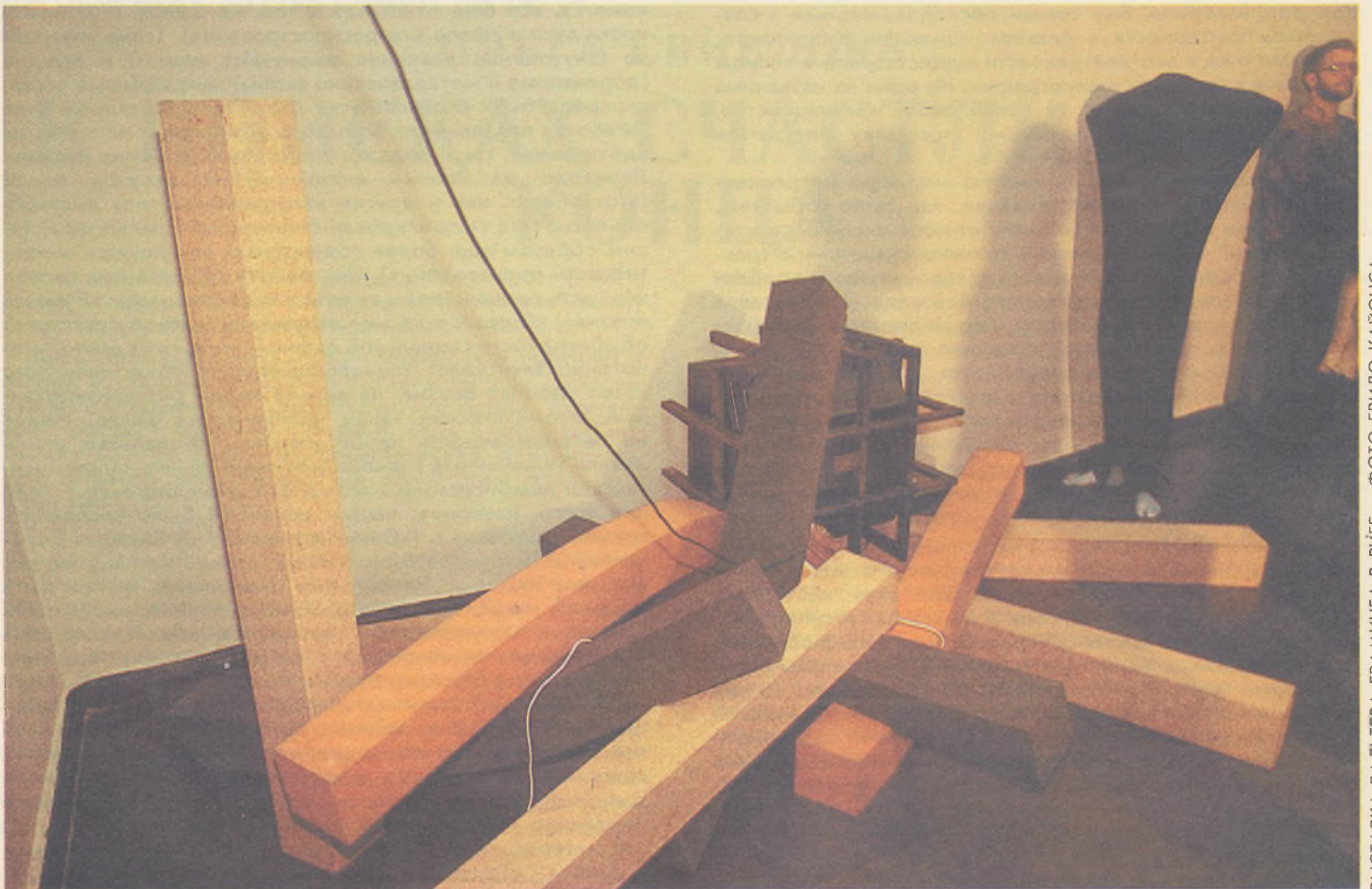
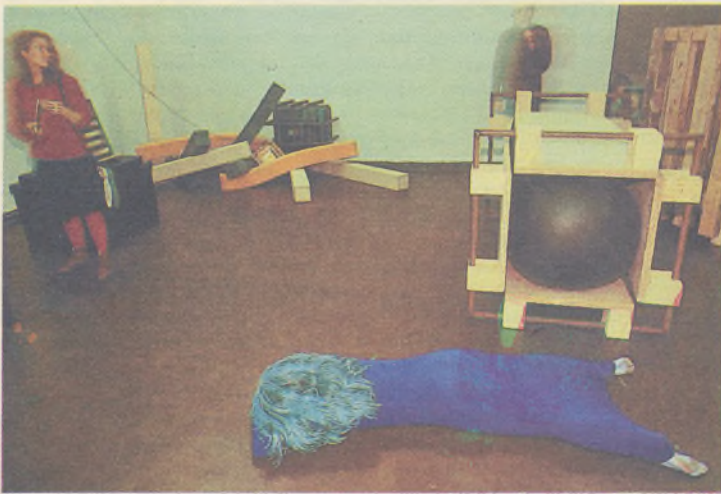
Lediņš H. Postmodernisma situācijas krustceļi: // Māksla. — 1987. — Nr. 6 — 12. — 15. lpp.

⁴ Клявиньш Э. Последние десятилетия западного искусства. Какими они были? Родник — 1988. — №5 — с. 33—38.

Borgs J. Brāzmainie sešdesmitie: Kaut kas nekas par Rietumu moderno mākslu 60. gados // Liesma. — 1988. — Nr. 1—14. — 15. lpp. un // Liesma. — 1988. — Nr. 3 — 18. — 19. lpp.

⁵ Loytard J. F. Immaterialien in: Lyotard mit anderen. Immaterialität und Postmoderne. — Berlin: Merve Verlag, 1985, — S. 9

⁶ См., напр.: Welsen W. Zur Aktualität ästhetischen Denkens in: Kunst und Philosophie // Kunstforum, — Köln, 1989. — Nr. 100. Loytard J.—F. Essays zur einer affirmativen Ästhetik. — Berlin: Merve Verlag, 1982.



ВЫСТАВКА ВАЛЬТЕРА ГРАМИНГА В РИГЕ ФОТО ГВИДО КАЙОНСА

функции направляют искусство более на антропологические штудии, чем на сферу, где доминируют интересующие только само искусство предметы.

Таким образом, новое формообразование закономерно соответствует другому типу мышления, и мы, если иногда неспособны понять и оценить общепризнанные шедевры западного искусства, можем винить только себя (легче винить обстоятельства, в частности, еще недавние спецфонды литературы и искусства). Или попробовать по крайней мере не порицать то, что является другим, ибо другим являются мышление и опыт, которые создали соответствующие работы.

Здесь и сейчас, наверное, бесполезно склонять кого-то к попытке приблизиться к ощущению Единого при помощи образов искусства, так как это процесс, требующий усилий. Легче уверить себя в прикосновении к Единому, впадая в мистику...

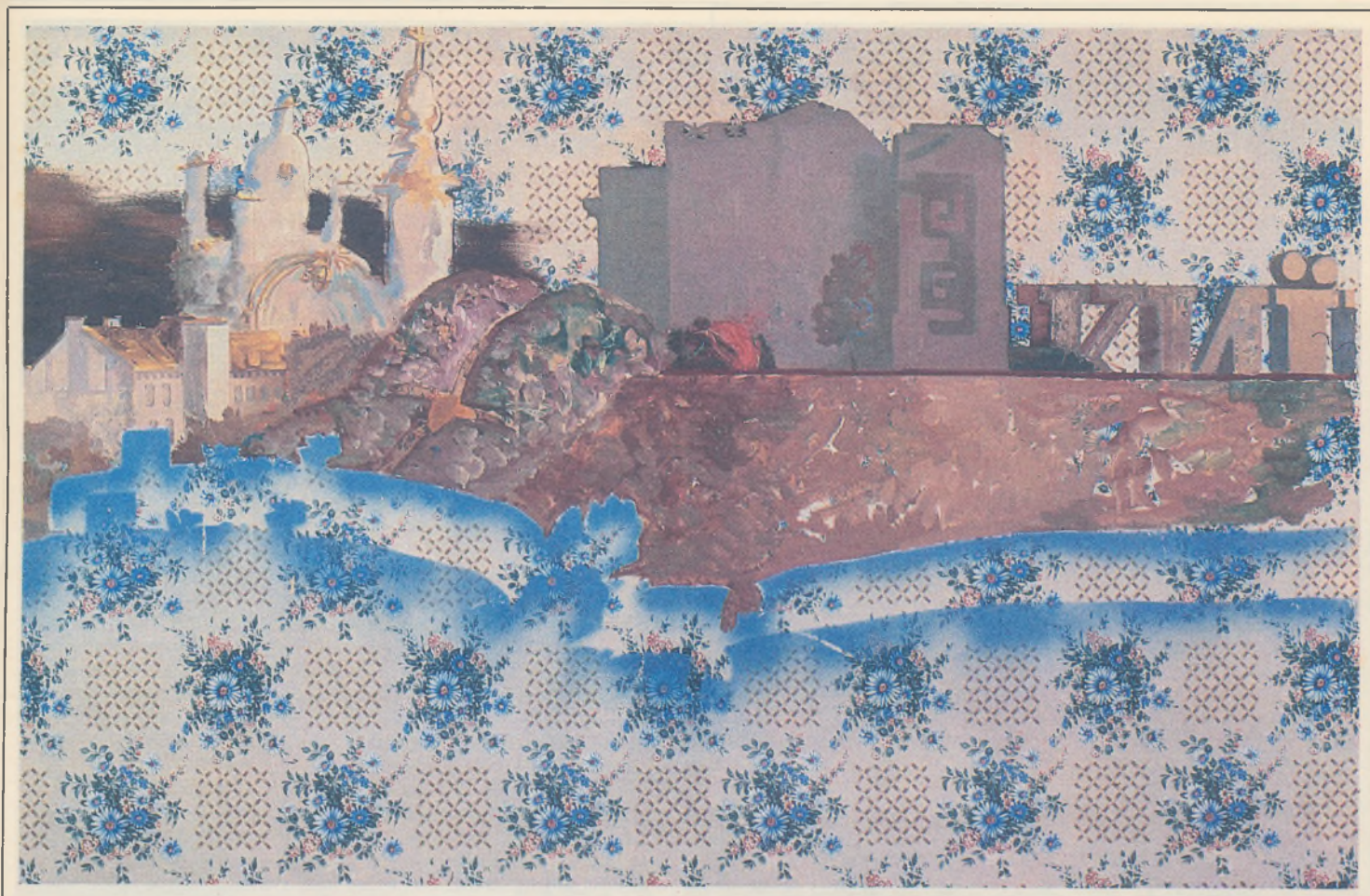
Здесь на месте был бы вопрос, возникший из текста Ж.-Ф. Лиотара, а именно, что «с художественным авангардом общество не ознакомилось и его не постигло...», вопрос об элитарности. Исчерпывающе его прокомментировать (высказаться за и против) лучше меня сможет само искусство. Наисовременнейшее искусство. Ибо, как уже было сказано, будут показаны достижения всех направлений искусства Берлина за последние 30 лет, в том числе и самые новые. Осмелюсь утверждать, что самое новое в наиболее ярких своих проявлениях успешно выстроило мост между элитарностью и развлекательностью искусства,⁷ так как большие художники почувствовали приближение новой эпохи с ее новыми требованиями преодолеть элитарность — приблизиться к массам. Что же может сделать это лучше новых средств массовой информации? Видеоискусство для Лори Андерсон и Роберта Вильсона — средство выражения, такое же, как многие другие. В Германии Йозеф Бойс свое искусство беспрерывно объяснял и популяризировал не только в бесчисленных интервью на ТВ и в прессе, он к тому же еще и основывал всевозможные общества. В Америке Энди Уорхолл, наверное, был самым последовательным в совмещении элитарности и развлекательности. Кино, фото, журналистика в его деятельности существовали в тесном соседстве с техникой шелкографии. Ни один из названных художников не потерял ни капли своей «элитарности», позволяя одновременно своему искусству спуститься с «башни из слоновой кости».

Мне удалось попасть на первую мировую ретроспективную выставку видеоинсталляции, что было событием, привлекая в Западный Берлин большое число посетителей. На ней в занимательной (можно сказать — аттракционной) форме повествовалось о серьезнейших проблемах существования современного человека. Эта выставка была сформирована Вульфом Герцогенратом, профессионалом, который в своей практике формирования выставок стремился преодолеть этот барьер, делящий «серьезное» и «несерьезное» искусство. С радостью несколько дней назад восприняла весть, которую привез из Берлина П. Банковскис, — что директором создающегося Западноберлинского Музея современного искусства (который будет расположен в огромных помещениях бывшего Гамбургского вокзала) назначен этот человек.

В заключение хочу сказать несколько слов о выставке, которая в большой мере иллюстрирует все вышесказанное о современном искусстве. Выставка состоялась в... Риге. 11 ноября 1989 года в Музее зарубежного искусства открылась выставка «Грамматика» западноберлинского художника Вальтера Грамминга. На репродукции вы видите фрагмент созданной им экспозиции. Скажу честно, что такой силы интеллектуального и эмоционального напряжения, как в Западном Берлине, от экспозиции его работ в Риге я не испытала, однако это несомненно было несоответствие помещения. Но Вальтер Грамминг —

один из тех западноберлинских художников, для которых важны именно освоение пространства, создание атмосферы с целью раскрыть взаимосвязи различных предметов. В трех залах Музея зарубежного искусства немецкий художник сформировал три независимых пространства, которые все же были объединены общей, высшей целью создания работы — открыть с помощью искусства объективную реальность, максимально исключая субъективный момент. Когда В. Грамминг первый раз изложил эту свою концепцию «объективного» искусства, присутствовал наш художник Олег Тиллбергс, который, конечно, будучи насквозь занят своим переживанием мира, не мог принять такого понимания миссии искусства (и у меня, надо признаться, словосочетание «объективная реальность» ассоциируется с догмами еще недавнего прошлого). Но интересно, что Грамминг сказал: «Тиллбергс хороший художник», а Тиллбергс сказал: «Грамминг хороший художник», будучи оба, казалось бы, на противоположных концептуальных позициях. Казалось бы, — ибо они оба — дети искусства 80-х годов, принимающие мир в его многообразии. И экспозиция Грамминга в Риге была тоже необыкновенно разнообразной в плане использования материалов, наравне с деревянными и металлическими конструкциями, резиновыми камерами и поролоном были также несколько компьютеров и видеоаппаратура, по которой можно было увидеть созданный Вальтером Граммингом 8-минутный видеофильм «Рабочая поэзия». Художник стремился этой общей экспозицией создать переживание такого мироощущения, которое синтезирует новейшие научные и художественные открытия, одновременно не выделяя созданного человеком из общего круговорота природы. В первом зале (экспозиция «Грамматика») запертая в деревянную конструкцию резиновая камера одновременно чувственно и рационально демонстрировала принцип действия и противодействия — на всех уровнях и во всех сферах. Гамма вызывавшихся ассоциаций могла направлять как к социальным, так и к естественнонаучным или философским толкованиям (последние, кажется, все еще относятся к той же сфере ограниченности духа и сфере его распространения). Такие внутренние (внутреннее давление резиновых камер) и внешне (деревянные и металлические скобы) напряженные частицы среды были видны во всех трех залах. Во втором зале («Рабочая поэзия») для большого объекта как источником вдохновения, так и образцом построения служил рисунок Леонардо да Винчи — анатомический рисунок мышц (этот объект, как и другие изготовленные для выставки объекты, был смоделирован с помощью компьютера, таким образом еще более подчеркивая кажущуюся объективность произведения). Эта работа создана как составная часть единой среды вместе с видеофильмом «Рабочая поэзия», который в весьма отчужденном виде повествует об абсурдности социальной дефиниции, и, пока диктор монотонно зачитывает энциклопедическое объяснение, что такое рабочая поэзия, на экране виден ритуализированный автоматический танец человеческих фигур. Намек на бессмысленность необоснованных социальных акций давали включенные в фильм документальные кадры хулиганской демонстрации 1 Мая в Западном Берлине. Сложнее всего, наверное, нашим зрителям было воспринять третью экспозицию («Дикий мужик»), где большая деревянная конструкция своим весом давила на надутые резиновые камеры. Здесь тоже толкование могло быть сходным с предыдущими работами, лишь преходящее духовного импульса и его хрупкость дополнительно символизировала помещенная в аквариум рыбка, или точнее — ее тень на стене. Думаю, что выставку В. Грамминга можно рассматривать как «первую ласточку» перед большим выставочным проектом, такую, которая была больше всего необходима, чтобы дать представление о подлинно современном западном искусстве. Не знаю, что додали многие посетители выставки, но по крайней мере молодое поколение (я думаю — поколение будущих художников) это интересовало. Выставка дала понять, что серьезным и ищущим может быть другое искусство.

⁷ См. Herzogenrath W. Kunst zwischen «E» und «U». Die neuen Strategien der bildenden Künstler in: documenta 8. — Kassel, 1987. — Bd. 1. — S. 52. — 64.



КОНСТАНТИН РЕУНОВ. «НА СХЫЛАХ ДНИПРА», 1988, 120×170

ОЛЬГА СВИБЛОВА

В ПОИСКАХ СЧАСТЛИВОГО КОНЦА

Константин Реунов (1963 г. рожд.) и Олег Тистол (1960 г. рожд.) — художники из Киева, представляющие группу «Волевая грань национального постэкслектизма».

«Тиха украинская ночь...» — первое, что приходит в голову, когда речь заходит об Украине. Ну еще, пожалуй, рушники с орнаментом да гоголевские казаки, уплетающие галушки и вареники с вишней. Этим и ограничивается для многих стереотип представлений о национальной культуре республики, чья территория превышает Францию.

В начале века благодатная почва и ласковое южное солнце вскормили целую плеяду блестящих философов, литераторов, режиссеров и художников. Таланты вызревали здесь, как гигантские подсолнухи. Киев, Харьков, Одесса были центрами интеллектуальной жизни, оазисами, где формировался художественный авангард 10—20-х годов. Красный террор и последующая духовная стерилизация привели к культурной амнезии. В памяти остались лишь хрестоматийные строчки, а реальность заполнилась буйно расцветшим социалистическим реализмом, «национальным по форме».

Советское нонконформистское искусство послесталинского периода, столь популярное сегодня повсеместно, сформировалось преимущественно в северных столицах. Прежде всего в Москве, в какой-то мере в Ленинграде.

Ибо в центре, в непосредственной близости от «места власти», у органов и так было много работы, так что до подводного материка альтернативной культуры по-настоящему просто «руки не дошли». Дело ограничилось угрозами. (По мнению автора. — Ред.)

На Украине все было жестче, утрированной (так дубли подчас убедительней оригинала). Всяческие попытки уклонения от нормативов соцреализма наказывались сурово и немедленно. Даже невинные поиски в области чисто живописной, «уход» в натюрморты, например, воспринимались как дезертирство с поля боя, где шла война за новое, самое прогрессивное искусство. Автор обвинялся в нежелании служить народу, «которому в нашей стране принадлежит искусство».

Примерно одновременно с эхом взрыва в Чернобыле до Киева докатилась волна перестройки. Изобразительное искусство — оплот консерватизма — тоже оказалось втянутым в орбиту преобразований. Трудно судить, что было решающим фактором: ослабление идеологического прессинга, организационные изменения в художественной жизни, открывшие молодым перспективу реальной социализации, парадоксальное воздействие радиации или воля провидения, но случилось так, что в 1987 году в Киеве произошел мощный выхлоп творческой энергии. Стало очевидным, что в городе идет становление нового художественного направления. Деятельность группы «Волевая



ОЛЕГ ТИСТОЛ. УПРАЖНЕНИЕ С БУЛАВАМИ, 1989, 270×240

грань национального постэклектизма» на сегодняшний день — самое интересное и перспективное проявление этого феномена.

Программа «Волевой грани» сложилась как некое облако представлений о перспективах жизни и творчества художников, не удовлетворенных существующим состоянием искусства и теми способами, которыми авангард пытался разрушить его границы.

Константин Реунов и Олег Тистол принадлежат к первой генерации молодых советских художников, чье творческое сознание не связано с противостоянием официальной культуре, ибо они вошли в художественную жизнь, когда оппозиция 'официальное — неофициальное' утратила актуальность. В этом смысле их творчество действительно свободно, не являясь альтернативой чему-либо или кому-либо.

Дети восьмидесятых, они лишены романтических иллюзий, ироничны и достаточно практичны. Их мышление насквозь рефлексивно. Конечно, какие-то элементы постмодернистского менталитета были уловлены из воздуха, однако прежде всего это следствие тотальной деаксиологизации, поразившей Советский Союз в последние десятилетия.

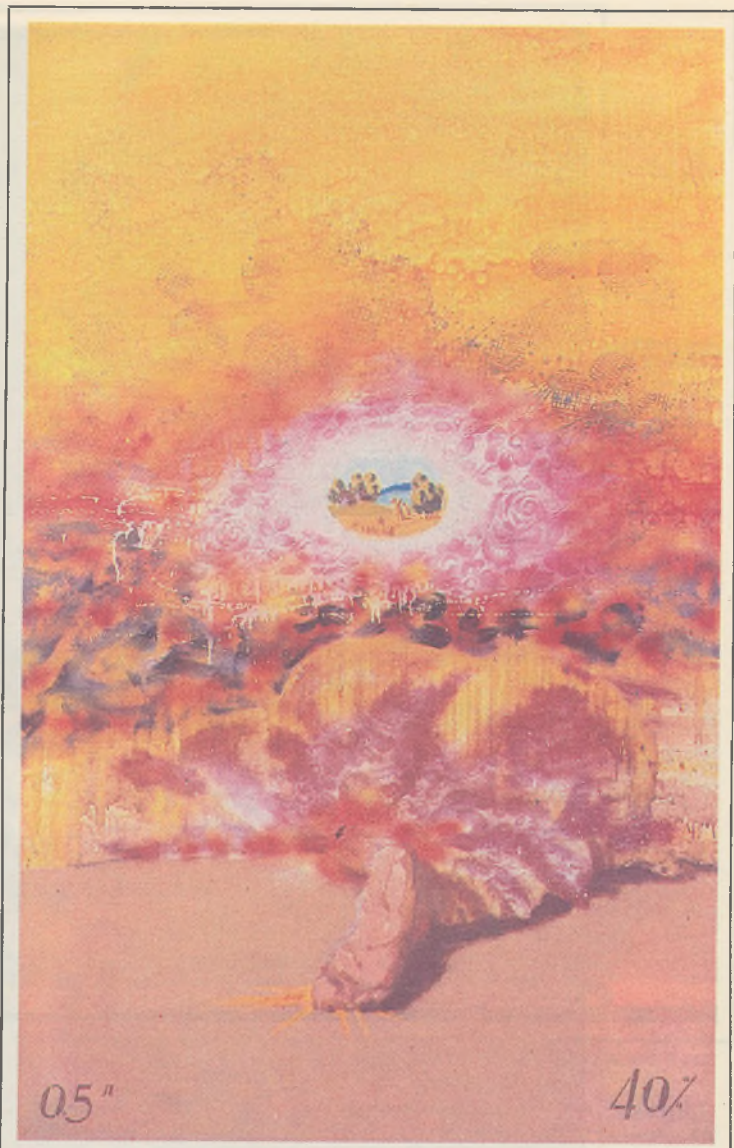
Они по горло сыты утопическими экспериментами переделки мироздания, в том числе с помощью искусства. Поэтому опыт русского авангарда начала века не имеет в их глазах ореола исключительности, а является лишь одним из этапов развития культуры.

«Волевая грань национального постэклектизма» не стремится делать новое искусство, ее программа — создать КАЧЕСТВЕННО ИНОЕ. Если авангард постоянно объявляет войну всяческому стереотипам, в том числе художественным, «Волевая грань», напротив, борется за красоту стереотипа. Участники группы считают стереотип неотъемлемой частью культуры, одним из механизмов ее стабилизации. Художники, которые слишком хорошо знают на примере родного отечества, к каким последствиям приводит реализация новаторских идей, отрицающих опыт предшествующего культурогенезиса, стремятся всячески проявить существующие художественные, социальные, политические, психологические, исторические и прочие стереотипы, а также занимаются созданием собственных стереотипов. Олег Тистол и Константин Реунов предпочитают прозаизм «стереотип» «высокому стилю» семидесятых, пристрастных всевозможным мифам и архетипам, ибо механизмы и содержание интересуют их больше, чем структуры.

Киевская художественная школа — привилегированный лицей, где все семейственно, все дети друзей, коллег, начальников и т. п., — стремилась привить капризные и балованым дарованиям преклонение перед великим таинством искусства. Современные достижения стыдливо замалчивались, недостаток концептуального мышления компенсировался повышенным интересом к проблемам чистой живописи. Дарования же предпочитали футбол и сопротивлялись любому обучению. Позже, как выяснилось, именно то, чему сопротивлялись, накрепко засело в голове.

Реализовать страсть к живописи было не просто, так как живописание само по себе вызывало скуку. Концептуализм же, с которым познакомились позже, был куда более занимательным, однако казался ущербным именно в силу отсутствия развитой пластической основы. Из раздражительности и недовольства, фантазии и упрямства, скуки и южного темперамента, воздуха и энергии, ярости и интеллекта, частных комплексов и глобальных мифов возникла новая большая игра — «Волевая грань национального постэклектизма».

Участники «Волевой грани» избегают слишком серьезных отношений к чему-либо, даже личным проблемам. Их художественный мир основан на сплошной профанации культуры и реальности, и здесь они истинные реалисты. Только в отличие от той профанации, которая столько лет была свойственна всем аспектам духовного и физического бытия Страны Советов, художественная профана-



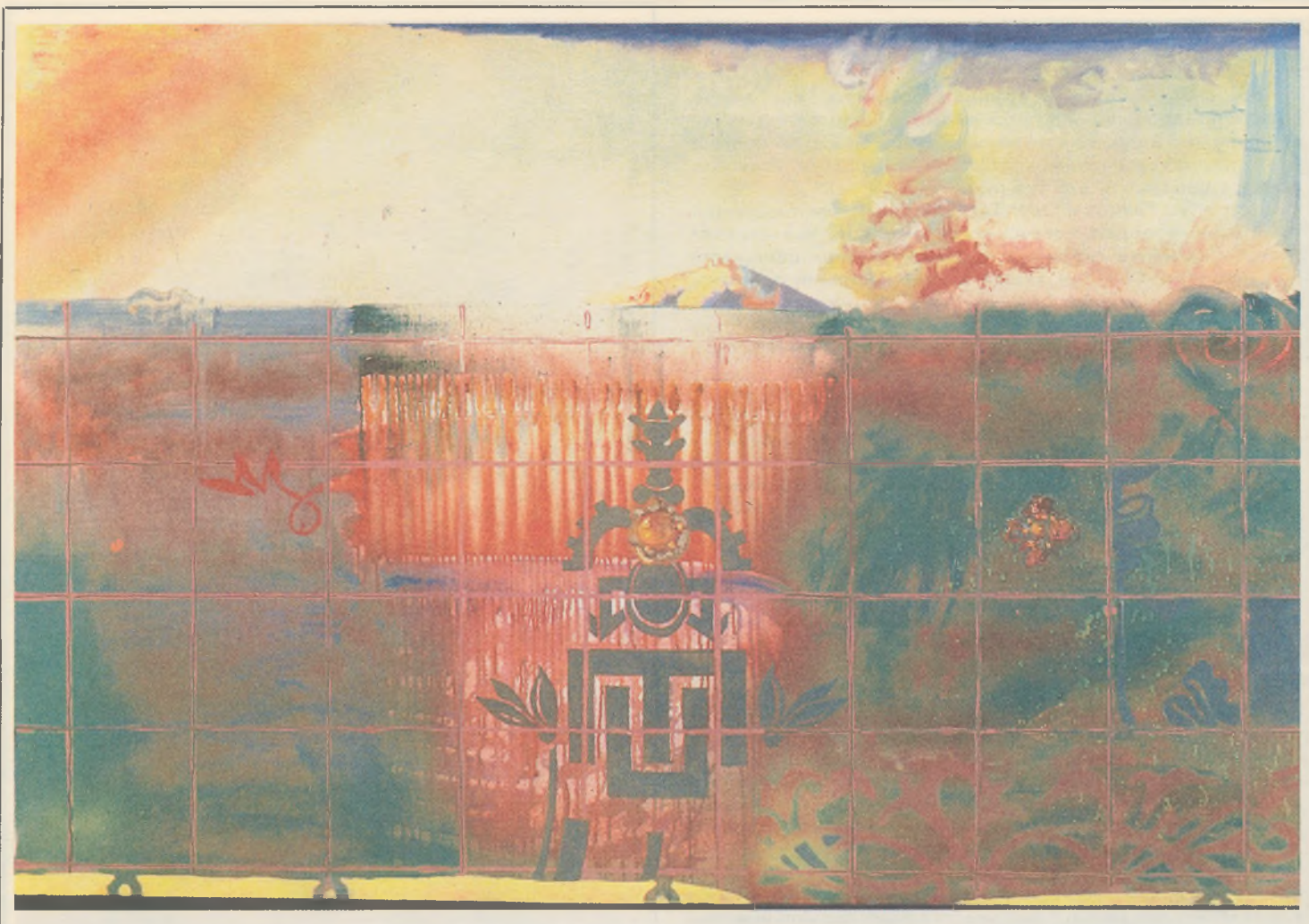
КОНСТАНТИН РЕУНОВ. «ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ СУДЯТ. ПОДАРОК ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ НАРОДУ ОТ ВЕЛИКОГО УКРАИНСКОГО», 1989, 200 × 130

ция «Волевой грани» замешана на позитивной витальности, даже тогда, когда создаваемая художественная модель таит в себе привкус распада, как у Олега Тистола.

То, что делают Константин Реунов и Олег Тистол, находится как бы на сломе художественных систем, когда в действие вступает семиотический процесс перестройки концепции художественного знака в его связи с обозначаемым предметом. Сбивается выработанный в предшествующих системах автоматизм соответствия между ними. Идет постоянное нарушение и восстановление идентичности между знаками и реальностью.

Так, в работах Олега Тистола взаимооборачиваются отношения пейзажа и орнамента. С одной стороны, как и в барокко, чьи традиции несомненно развивает «Волевая грань», его художественная система ищет истину в маскировке, в орнаменте, с другой — проявляет собственную семантику орнамента, активизируя чувственную форму знака, стимулируя тем самым множественность смысла, порой вовсе ему не свойственных (как, например, случилось с номерами денежных знаков, используемых Тистолом в серии «Проект новых украинских денег»).

«Волевая грань национального постэклектизма» создает сагу о воплощении и развоплощении знаков, когда предмет или пейзаж становится лишь фоном, наполнителем пространства, создающим и выявляющим его эмоциональную и семантическую природу. Меняются отношения текста и контекста.



ОЛЕГ ТИСТОЛ. «КАЗБЕК», 1989, 90×130

Кроме использования существенных знаков — самой различной природы: социальных, сакральных, эротических, товарных и т. д. — «Волевая грань» создает собственные знаки, например знак самой группы, присутствующий почти во всех работах, денежный знак у Олега Тистолла, цветок любви или монумент с пионерским костром у Константина Реунова и др. Помещая знак в живописный и культурный контекст, ибо почти каждая работа участников группы содержит сложнейший диалог различных культурных и эстетических систем, художники испытывают его на прочность. Возникает напряженная динамика взаимодействия чувственной реальности с формами ее интеллектуального отражения, искусства и культуры, искусственно и естественного. «Волевая грань национального постэклектизма» не просто использует барочные традиции, но опирается на специфическую разновидность стиля — национальное украинское барокко. Стиль, не успевший до конца исчерпать свои возможности, содержит огромные трансформационные потенции, которые с блеском используют молодые украинские художники.

Обратившись к «сумасшедшим» цветам украинских парсун, вводя в работы специфическую южнорусскую литературу, то есть повышенную, хотя и несколько утяжеленную метафоричность, «Волевая грань» как бы нарочито декларирует свои национальные корни. В то же время, прикидываясь националистами, они тут же профанируют этот тип сознания, убежище для нищих духом. Если идет игра с историей, то она запутана и профанирована, и в то же время достоинство высокого предмета сохранено.

И вот тут-то и попадаем мы в ловушку. Ибо при полной абсурдности составляющих элементов структура выглядит чрезвычайно убедительно, даже если мы знаем,

что вместо Богдана Хмельницкого перед нами, например, римский император или наоборот. Увы, ловушки эти возможны и в жизни. Потому так тянет проиграть этот ад в пространстве искусства, сублимируя реальные комплексы. Сегодня незримая радиация пронизывает благодатные украинские земли, также неосозаем, но ощутим момент разложения, распада, присущий произведениям «Волевой грани». «О, римский мир периода упадка...» — писал когда-то Верлен.

У украинцев нигде нет прямого нагнетания надвигающейся катастрофы. Напротив, все эпично и статуарно. Эти ощущения мимолетны, как неуловимые колебания почвы. Все сдвигается лишь на мгновение, а затем опять наступает сладостное умиротворение.

А вот объект для медитации опять чем-то настораживает. Вроде горы, кочующие из одной работы в другую, — как нельзя более подходящий материал для созерцания. Но у художников горы перекочевали в плоскость холста не с натуры, а с этикеток дешевых папирос и минеральной воды. Прием не очень-то поэтичен, зато реалистичный. Ибо именно в этом масскультурном качестве мы зачастую потребляем положенную долю «духовного». Художники играют с атрибутами сегодняшней цивилизации, используя их как символы тотальной ущербности окружающей среды обитания «нового человека развитого социализма».

Олег Тистол и Константин Реунов создают мир прекрасный, даже роскошный. Подчас его излишняя краснота настораживает. В безупречной тистоловской палитре начинают проступать элементы гнильцы и разложения. Как мыльная пена, опадают блистательные барочные композиции Константина Реунова. Мотив финальности оказывается вплетением практически во все произведения



ОЛЕГ ТИСТОЛ. «IX», 1989, 170×90



КОНСТАНТИН РЕУНОВ. «КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ», 1989, 200×200

молодых украинцев, хотя нигде нет прямого нагнетания надвигающейся катастрофы.

Ирония и южная витальность позволяют «Волевой грани» специфически трансформировать апокалиптические мотивы, столь свойственные сейчас советскому искусству. «В поисках счастливого конца» — так назвал серию своих работ Константин Реунов.

Художники ищут конструктивный выход в сложившейся ситуации нагнетания страхов и неопределенности. Чувство юмора позволяет овладеть собой и моментом.

Проект «В поисках счастливого конца» ориентирован более на процесс, чем на результат, ибо неизбежная финальность принимается в нем как счастливая данность. При этом идет игра на сближении мотивов танатоса с эросом.

Профанируя и первое, и второе, создавая новые стереотипы «тоталитарной, политической и интеллектуальной эротике», участники «Волевой грани» образовали акционерное общество «Искусство конца века» для всемирного развития и скорейшего осуществления проекта «В поисках счастливого конца». Программа проекта будет опубликована в журнале «Родник», который станет первым художественным журналом, вошедшим в число акционеров.

А вот украинцев опять выручили чувство юмора, южная витальность и, конечно, особая тактильность и чувственность, характерные для украинской культуры вообще. И образительного искусства в частности. Профанируя тему, «Волевая грань» создает новые стереотипы «тоталитарной, политической и интеллектуальной эротике».

Большая игра «Волевой грани национального постэклетицизма» в разгаре.

Акционерное общество «Искусство конца века»

ПРОЕКТ

«В поисках счастливого конца»

Акция первая: Заложение монумента.

Время проведения: 12.01.90. Ночь [Старый Новый год].

Место действия: Москва.

Акция проводится членами группы «Волевая грань национального постэклетицизма» Константином Реуновым, Олегом Тистолом, Александром Харченко на языке полного молчания.

Куратор проекта: Ольга Свиблова.

Музыка: Сергей Летов, Аркадий Кириченко, Александр Александров, Сайко.

КОММЕНТАРИЙ

Форма языкового общения выбрана не только из корыстных целей самообогащения участников, ибо известно, что молчание — золото.



КОНСТАНТИН РЕУНОВ. «НЕ ГОВОРИ НЕТ», 1989, 200×200

Молчание и есть тот самый идеал, необходимый для пополнения золотого фонда культурных ценностей человечества.

Во время акции молчание происходит на нескольких языках славянской группы.

В будущем «Волевая грань национального постэклетицизма» стремится достичь безупречной артикуляции немоего наречия, выражающейся в возможности молчать на всех языках народов мира.

Тем самым «немое наречие» приносит в жертву гуманитарную связь, определяет потребителя искусства как зрителя, очищая базисную функцию изобразительного искусства.

Акция раскрывает таинственный рецепт получения золота в виде жеста художественного молчания.

Все золото, полученное за время проведения первой акции «В поисках счастливого конца», будет использовано для финансирования проекта «Искусство конца века».

Перевод с языка молчания на русский Константина Реунова.

ПРОТОКОЛ

акции «Заложение монумента искусству конца века»

Техника исполнения: зеркало, эмаль, время.

Комментарий: Закладывая основу монументу «Искусство конца века», венчающего конец эпохи умирания искусства [кто только не искал его смерти в XX веке], участники отдавали себе отчет в эфемерности собственных сегодняшних представлений, отдаленных от рубежа веков десятилетием. Поэтому акция «Заложение монумента» предполагает ежегодную коррекцию путем повтора. См. Приложение 1.

ОПЕРАЦИИ

1. 10 зеркал закрашиваются эмалью, на каждом указывается год от 1990 до 1999.

2. Та же процедура производится с зеркалом 2000 года, но закрашка происходит с обратной, незеркальной стороны.

3. На каждое закрашенное зеркало ставятся печать куратора проекта «В поисках счастливого конца» и подписи акционеров.

4. Зеркало 2000 года переворачивается отражающей стороной к участникам акции. Все присутствующие получают возможность взглянуть в будущее [известно, что в особых условиях, например во время рождественских гаданий, зеркало отражает не только реальность, но и прошлое, и приоткрывает и являет будущее].

5. По случаю исторической важности момента открывается красное шампанское, которым заливается магическая поверхность. Зеркало, приоткрывшее будущее, немедленно загрунтовывается до грядущего рубежа тысячелетия.

6. Заложение монумента искусству конца века, т. е. тому, что из далекого сегодня представляется как таковое. Председатель акционерного общества Константин Реунов торжественно снимает с зеркала 1990 г. розовую ленточку. Обнажаются зеркальная линия горизонта и еле заметный контур монумента.

7. Открывается белое шампанское. Всеобщее ликование.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Акция «Заложение монумента» в рамках проекта «В поисках счастливого конца» предполагает ежегодное повторение в ночь на Старый Новый год до 2000 года включительно.

Каждый год на следующем зеркале будет обнажаться тот же монумент. Его размеры и линия горизонта станут увеличиваться по мере приближения к концу века. Когда от краски будет очищена вся поверхность зеркала 2000 года, участники акции снова смогут взглянуть в нее. То, что откроется взору, и будет монументом искусству рубежа тысячелетия, исходя из отражающей природы самого искусства.

АЛЕКСАНДРА ДАВЫДОВНА ГРОМОВА-ДАВЫДОВА

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО АРТИСТА

В 20-е годы как грибы после дождя возникли новые театральные студии. Театры не были похожи друг на друга — каждый стремился иметь свое лицо, свой почерк. Блистательные «старички» Художественного театра совсем еще не были стары, они были на вершине своего мастерства, однако уже думали о смене. Еще в 1921 году у К. А. Станиславского возник план передать дело театра 1-й Студии. В 1924 году В. И. Немирович-Данченко писал в одном из писем В. И. Качалову: «... Первая Студия, приобретшая общую поддержку, настойчиво ищет новое помещение, задыхаясь в ужасающем Альказаре. Первая Студия не склонна соединяться со старичками в нашем здании, боясь подпасть под тот усыпляющий или затормаживающий энергию режим, который отличает стариков, и от которого 1-я Студия избавилась». Далее Владимир Иванович пишет: «Первая Студия, получая новый большой театр, склонна быть совершенно самостоятельной (2-й Художественный театр?). В особенности Чехов — у него своя художественно-этическая линия, и он боится вливаться в другие элементы». (Избр. письма В. И. Немировича-Данченко, М., «Искусство», 1978, 2-й том, с. 194, 196.) В 1924 году 16 марта в письме к О. С. Бакшанской Немирович-Данченко писал: «... Были у меня Чехов, Сушкевич и Берсенев. Из дальнейшей беседы стало решительно, что 1-я Студия не хочет сливаться в одно общее дело, этот поворот произошел у них в самые последние дни». (Там же.)

Это происходило, когда 2-й МХАТ находился уже в помещении Незлобинского театра на Театральной площади. Итак, Второй Студии суждено было стать сменой в Художественном театре. МХАТ 2-й в ту пору был очень любим публикой, представлял собой сильнейший ансамбль, во главе стоял Михаил Чехов.

Жизнь показала потом, что отказ от слияния был большой и роковой ошибкой, — будущее коллектива сложилось бы совсем по-другому. Михаил Чехов продолжал бы блистать своим даром в Москве, не было бы никаких группировок и конфликтов, — теперь можно думать об этом с великим сожалением! Для всего коллектива был удивительным тот конфликт, который возник в театре через несколько лет. Произошло это в то время, когда Чехов и все руководство театра искренне стремились найти хорошую современную пьесу. В Художественном театре уже поставили «Бронепоезд», где с таким блеском играл Качалов в неожиданной для него роли. МХАТ 2-й мучился поисками. Хороших советских пьес было мало, Чехов же хотел идти на компромисс и ставить пьесу низкого качества. (Михаил Александрович мечтал о «Дон Кихоте», «Короле Лире» и о хорошей современной пьесе, но не легкие были поиски.)

(Окончание. Нач. в № 4.)

Совершенно неожиданно в 1928 году стало известно, что внутри театра отпочковалась группа актеров (их было семь человек), во главе с А. Д. Диким и Л. А. Волковым. Оба они были очень хорошими актерами и, видимо, стремились к руководству в театре. Они организовали так называемую «оппозицию» и грубо выступили против Чехова на собрании. Они обвинили его в том, что он неправильно строит репертуар, что надо осовременить театр. Было даже ночное собрание, проходившее в нервной, непривычно грубой для этого театра обстановке.

Стремление осовременить театр было, конечно, искренним. Великий Октябрь требовал рождения на сцене новой жизни. Некоторые театры уже находили пьесы... Семь актеров не поняли, что Чехов стремился отыскать новую пьесу, достойную этой любимой им сцены. Когда на заседании этим актерам был задан вопрос: какую они современную пьесу конкретно предлагают поставить? — они ответили: «Волки и овцы» Островского. (Об этом вспоминает А. Д. Дикий в своей книге.)

Оскорбительно и грубо выступили они против Чехова, который любил весь коллектив этого театра, любил каждого актера. Михаил Александрович был очень легко ранимый человек. Резкие выкрики на собрании, поездки с жалобами в разные инстанции, наговоры на руководство Чехова (о чем ему было известно) были для него внезапным и тягчайшим ударом... Они нанесли глубокую травму его душе.

Чехов обратился с просьбой к Луначарскому об освобождении его от руководства театром. А. В. Луначарский и П. М. Керженцев прислали ему успокоительные письма. Основная мысль письма Луначарского звучала так: «Никаких причин с нашей стороны в деятельности управления для вашей отставки, или какого-нибудь недовольства против вас, конечно, не имеется. Надеюсь, что все недоразумения окончательно изживутся на благо театру, который мне очень дорог». И все же семь актеров добились, что конфликт этот вышел за рамки театра, в Профсоюз, Наркомпрос и Моссовет. Инстанции, ведающие театрами, и А. В. Луначарский приложили все усилия, чтобы примирить Чехова и «семерку». Это не привело ни к чему.

Как представитель от молодежи театра, я присутствовала на заседании в Наркомпросе и очень хорошо помню, как Михаил Александрович сказал, что он ищет хорошую современную пьесу, но не видит ничего греховного в том, что хочет также поставить «Дон Кихота» и «Короля Лира». В итоге всех собраний «семерка» была удалена из театра и переведена в театр им. Революции. Однако отдельные члены этой группы продолжали вести борьбу против Чехова. Они обвиняли его в склонности к религии, хотя он никогда не ходил в церковь.



1. Юбилей Василия Ивановича Качалова, 1928 год (пятый слева Качалов, шестая слева Александра Давыдовна, остальные — актеры разных театров Москвы).
2. Слева В. А. Громов, справа М. А. Чехов. Берлин, август 1929 г.
3. Под Ригой. Асари, 1932 г. Слева М. А. Чехов, В. А. Громов — справа.
4. Первый день приезда Александры Давыдовны в Берлин. Слева В. А. Громов, справа М. А. Чехов.
5. Асари, 1932 г. Слева направо: Громов, Ксения Карловна (жена М. А. Чехова), М. А. Чехов.



2



4



3



5

Обида и боль, причиненные Чехову этим конфликтом, вывели у него решение уйти из МХАТа 2-го.

Виктор Громов говорил мне: «Мишу шатало, когда он уходил из театра после собрания, он не мог идти по улице... В душе у него было все надорвано, и он очень пал духом».

Наступило лето 1928 года. Как и в предыдущие годы, Чехов поехал провести летний отпуск за границей. Михаил Александрович писал из Берлина А. В. Луначарскому: «Все, что я делаю здесь — играю и снимаюсь в кино, я делаю только для заработка. Моя конечная цель — приезд в Москву и организация в Москве своего театра. Я понимаю, что надо ждать, и я буду терпеливо ждать».

Чехов совсем не думал остаться за границей навсегда. Когда через год и несколько месяцев Виктор Громов и я получили приглашение через Центропосредрабис (в те годы Центропосредрабисом осуществлялся обмен артистами для съемок в фильмах) — мы приехали и не услышали от Чехова, что он решил не возвращаться. Он говорил, что договор с Рейнгардтом на роль клоуна Скида в пьесе «Артисты» подписал потому, что надо зарабатывать на жизнь.

Он мечтал о своем театре, и очень верил, что получит ответ от А. В. Луначарского, который всегда к нему хорошо относился. В. Громов считал, что ждать ответа за границей было ошибкой. Надо было ехать в Москву и дома хлопотать о своем театре... Но Чехов уже был связан договором с Рейнгардтом, он не мог его нарушить.

К съемкам фильма мы приехали с опозданием, но как счастлив был Михаил Александрович, что видит Виктора, которого любил, как младшего брата... Об этом не стоит писать, об этом все знали... Был последний квартал 1929 года, никакого фашизма в Германии тогда еще не было. Он даже не чувствовался в воздухе. Канцлером был некто Брюнинг. Берлин представлял собой огромный, совершенно чуждый нам город, мы пробыли в нем недолго.

Опоздав к съемкам в фильме, сниматься в котором нас рекомендовал Михаил Александрович, мы снялись в какой-то незатейливой картине с примитивным любовным сюжетом. (В ту пору за границей в большом количестве выпускались такого рода фильмы). Вскоре Виктор Алексеевич получил приглашение поставить спектакль в Литве, в Каунасе, куда он и поехал, чтобы заработать какие-то деньги, а я осталась у Чеховых (Михаил Александрович и его жена Ксения Карловна сняли нам квартиру на соседней улице возле Клопштокштрассе...). Питались мы всегда вместе. После возвращения В. Громова из Литвы мы поселились в квартире Чеховых. Помню, что Михаил Александрович ненадолго уезжал сниматься в каком-то фильме.

В Берлине в это время гастролировал Сергей Васильевич Рахманинов. Когда Михаил Александрович вернулся, мы вчетвером пошли на концерт Рахманинова. На всю жизнь остался в памяти этот вечер. Рахманинов был великим интерпретатором. Казалось, в его музыке звучали все инструменты симфонического оркестра! Марш «Фюнебр» Шопена в его исполнении звучал мощно и глубоко, как орган. Дружба и симпатия возникли между Чеховым и Рахманиновым после этого концерта и, как мы знаем, продолжались в течение всей дальнейшей жизни. Они встречались и в Париже, и в Америке.

Когда в 1943 году Рахманинов тяжело умирал от рака, в соседней комнате в течение нескольких дней находились его самые близкие друзья. Там был и Михаил Чехов. Больного Рахманинова Чехов брил. Когда Сергей Васильевич умер, на отпевании в Лос-Анджелесе было всего пять человек: скрипач Даниил Карпиловский, Михаил Чехов с женой и бывший артист Художественного театра Тамиров с женой. В Нью-Йорке были устроены грандиозные похороны...

Проходили дни. Михаил Александрович стал уговаривать нас пока не ехать в Москву. Он вел переговоры о гас-

ролях в Париже и не мыслил их без нас. Он говорил, что мы делаем пантомиму — русскую сказку, создать которую давно мечтает. Целыми днями мы сочиняли сценарий этой сказки. Я помню, как, сидя в его кабинете, мы с Виктором убеждали его в бессмысленности этой затее. Михаил Александрович говорил, что кроме сказки-пантомимы мы еще сыграем в Париже «XII ночь» и «Гамлета» в концертной форме, «Потоп» и «Чеховские инсценировки»... Может быть мы и «Дон Кихота» успеем поставить, и вернемся в Москву с репертуаром для своего театра.

Он говорил также, что группа из семи человек после увольнения из МХАТа 2-го продолжала развивать свою враждебную линию против него, что они все время ездили куда-то на него жаловаться и что ему надо ждать официального ответа от А. В. Луначарского, — он верит в положительный ответ!... Надо ждать... Но и жить пока что надо. Для этого нужны гастроли в Париже...

Возле Чехова всегда оказывались люди, которые его обожали. В Берлине он познакомился с Маргаритой Моргенштерн, вдовой прогрессивного немецкого поэта Моргенштерна. Это была пожилая женщина, влюбленная в Михаила Александровича, — она поклонялась его таланту, увидев в роли клоуна Скида у Рейнгардта. Она так обожала Чехова, что принялась изучать русский язык.

Маргарита, заложив свой дом, дала деньги взаймы Михаилу Александровичу на поездку в Париж и на первое репетиционное время, чтобы мы могли снять там квартиру, жить и репетировать. Тоскуя по Москве и по дому, мы двинулись в путь, в трудный путь вместе с блистательным Чеховым!..

И вот мы в Париже. Каждый, кому приходилось бывать в этом многомиллионном городе, знает: он не похож ни на один город в мире не только своей особой красотой, но еще и каким-то удивительным свойством. Если в Берлине, да и в любом другом городе за границей вы сразу чувствуете себя на чужбине, то Париж обладает каким-то необыкновенным качеством: он интернационален, он в каком-то смысле принадлежит всем, всему человечеству.

Мы сняли в Париже четырехкомнатную квартиру в большом доме возле метро Алезия, у какой-то французской актрисы, недалеко от центра. Виктору Париж не нравился. Он говорил, что тут все продажно. Квартира была очень модно обставлена. Когда хозяйка (очень редко) заходила, она всегда хвасталась, что диваны и кресла обиты дорогой тканью «тиссю Родье». Две комнаты занимали Чеховы, одну — мы с Виктором. Рядом с нашей комнатой была очень большая гостиная с раздвижной дверью. В гостиной мы репетировали.

В Париже стало известно, что приехал Чехов, и к нам начали приходить люди искусства. Они производили впечатление каких-то затерявшихся в океане жизни, случайно оказавшихся там, неустроенных и тоскующих по своей родине, фактически бездомных. Среди них были и большие мастера своего дела, потерявшие почву под ногами. Чехов старался обойтись минимальным количеством артистов в предполагавшихся гастролях.

Приходили к нам: художник М. В. Добужинский, композитор Бютцен, М. А. Крыжановская (в прошлом артистка МХАТа), Барановская с мужем, актером Павловым. Однажды в дверях нашей квартиры появился племянник Немировича-Данченко, в прошлом артист МХАТа, Н. П. Асланов, голодный, с бледным, измученным лицом. Мы сразу приняли, приласкали и накормили его. Он вернулся перед войной в Москву, был принят в Камерный театр. Он умер в Москве.

Как-то пришел сын Шалапина, Федя Шалапин, сразу появился у нас Игорь Константинович, сын Станиславского, и многие другие.

По приезде в Париж забота о деньгах не покидала Чехова. Где взять деньги, чтобы платить актерам? Как одеть в спектакли? Делать декорации и костюмы, оплатить рабочий сцены, снять помещение? Это ведь не Москва,



1



2



3



4

1. Из спектакля по рассказу А. П. Чехова «Ведьма».
М. А. Чехов — дьячок,
А. Давыдова — ведьма.
В. А. Громов в роли почтальона.
2. Париж. Спектакль «Ведьма».
3. Александра Давыдовна Громова, конец 40-х—нач. 50-х гг. в Москве.
4. Александра Давыдовна в роли Натальи Дмитриевны в пьесе Грибоедова «Горе от ума» (по режиссуре Чехова «Горе уму»). Париж.

где деньги на искусство дает государство, где все свое, родное... Кому здесь нужна русская сказка?

Любовь и сила обаяния Михаила Александровича, его вера в наш будущий театр держала нас рядом с ним. Трагедия его одиночества не давала нам решимости сразу оставить его одного, и вера в то, что придет из Москвы долгожданное разрешение строить свой театр, где он так мечтал сыграть «Кихота» и «Лира» и хорошую современную советскую пьесу... эта вера жила в нем все то время, что мы были с ним... Но пока что Париж...

Однажды, неожиданно пришла к нам девушка в квартиру, возле метро Алезия. Назвала себя Жоржеттой Бонер. Сказала, что она швейцарка, любит искусство, любит театр. Узнала, что в Париж приехал Михаил Чехов, — давно слыхала о нем, как о замечательном артисте. Лицо открытое, смугловатое, коротко, по-мальчишески стриженные прямые темные волосы, умные карие глаза, тонкий рот, прямые черты лица. Говорила как-то очень сдержанно, уважительно, и во всей манере ее чувствовалось хорошее воспитание.

Михаил Александрович предложил ей снять синее, спортивного покроя пальто (она была скромно и строго одета) и пригласил в гостиную. Все четверо мы сели за столик и начали разговор о театре, разговор о том, о чем мечтает Чехов: о стремлении к прекрасной новой актерской технике, о Станиславском, о репертуаре, о мечтах нести зрителям со сцены большие мысли и чувства. Сказал, что мы сейчас увлечены постановкой сказки-пантомимы с музыкой и очень лаконичным текстом, что ежедневно целыми днями репетируем, работа уже очень подвинута, но он не знает, как быть: средств на осуществление спектакля у нас нет...

Жоржетта сразу же попросила разрешения бывать на наших репетициях и при этом сказала, что материальный вопрос не должен волновать Михаила Александровича. Ее отец — миллионер, у нее есть деньги и все расходы она возьмет на себя, вплоть до зарплаты актерам... Это было похоже на сон!

Только с Чеховым могли происходить такие сны в жизни и, как мы знаем, происходили и в дальнейшем, когда нас с Виктором уже не было возле него. Жоржетта стала ежедневно приходить к нам на репетиции. Теперь можно было пригласить композитора писать музыку, художника — делать эскизы декораций и костюмов. Было арендовано прекрасное помещение возле Шанзеллизе, в самом центре. Насколько я помню, это театральное помещение называлось «Авеню». Но сказка не дала хороших сборов — сборы не покрывали расходов. Пришлось прекратить спектакли и перейти к другим постановкам.

Если бы поэтическая и музыкальная сказка эта шла в Москве, на родном зрителе она дозрела бы. В Париже не было для этого времени, каждый день стоил больших денег, и не было в запасе дней, некогда было дозреть. В. И. Немирович-Данченко говорил, что актер может на генеральной найти себя в образе, но вполне овладеть новыми приемами, переживаниями он не может иначе, как через известный промежуток времени. Эту мысль можно целиком отнести к тому, что произошло со сказкой в Париже: не было времени, чтобы вжиться в оригинальную новую форму спектакля, слияние с музыкой, со всеми теми приемами, в которых она была сделана.

Жоржетта ассигновала средства на «Гамлета» в концертной форме, «XII ночь», «Потоп» и «Чеховские инсценировки». Рассказ А. П. Чехова «Ведьма» был нами сделан впервые. «Гамлета» мы играли в черных концертных костюмах, плащах темно-голубого цвета, на головах у нас были серебряные парчовые шапочки, похожие на шлемы. Декорации заменяли серого цвета кубы, ступени и занавесы вроде ширм. «Гамлет» в этом оформлении выглядел очень красиво.

Изошренность мастерства в буффонаде и гротеске, с которой Чехов играл Мальволио, потрясала зрителей контрастами и разнообразием красок. Дважды на спектакль приезжал художник Константин Коровин и выражал свои восторги. Все спектакли имели прекрасную прессу.

Но... театральные помещения стоили очень дорого, декорации, костюмы, музыка, зарплата актерам... Французская публика мало знала Чехова, чужой непонятный язык... В те годы французов больше привлекала Жозефина Бекер в Казино де Пари...

Жоржетта, бескорыстная Жоржетта, по характеру своему больше похожая на русскую девушку, чем на швейцарскую миллионершу, терпела убытки. У нас в сердце росла тоска, — мы прекрасно понимали, что русский театр Парижу не нужен. Новая форма — пантомима с русским народным сюжетом французам не понятна. Жоржетта, любившая искусство, имевшая машину Роллс Ройс, но принципиально ездившая в метро, эта демократическая миллионерша только тратила большие деньги, и нам это было тяжело, неприятно...

Не имея возможности оплачивать дорогую квартиру, мы переехали в отель, в котором всегда останавливался Константин Сергеевич Станиславский, он и рекомендовал этот отель Чехову для нас четверых. Игорь, сын Станиславского, жил с нами рядом. Было скромно и симпатично. Там же мы и питались. Мы недолго там прожили.

Неожиданно Чеховым было получено приглашение от Латвийских театральных государственных деятелей приехать совместно с Громовым в Ригу и осуществить ряд постановок в Латвийских Государственных театрах, также в Государственной Опере и в Рижском Русском Театре Драмы, сыграть Хлестакова в гоголевском «Ревизоре».

Возможность заново поставить и сыграть свои любимые роли была поистине радостной. Вначале туда поехали Михаил Александрович, Ксения Карловна и Виктор Алексеевич. Я оставалась еще целый месяц в Париже, затем они прислали мне визу, и я поехала к ним.

... Я смотрела в окно вагона на серые облака, и мне казалось, что где-то недалеко, за этими облаками, плывут облака из Москвы, с нашей родной страны, которая уже не была так далеко, и сердце учащенно билось, и так хотелось скорей, скорей туда, где все родное, где мы росли и где наш дом... Я получала все время письма от моей мамы, которая писала о том, как процветают в Москве театры... «Скорее, скорее домой!» — писала она. Но впереди был еще целый период Риги: у Михаила Александровича были большие долги — надо было зарабатывать, чтобы их отдать. Об этом он писал еще в своих письмах к Мейерхольду.

В пору нашего пребывания в Риге, латвийские актеры сильно отличались в своих вкусах и стремлениях от немецких и французских. Они тянулись к русскому искусству, к Станиславскому. Приезд Чехова был для них праздником. Чехов и Громов много дали латвийским актерам, работавшим с огромным увлечением и в Дrame, и в Оперe и сохранившим любовь и память об этом на долгие годы. Латвийский актерский Профсоюз организовал театральную Студию, туда было принято много талантливой молодежи. Чехов и Громов читали им лекции о мастерстве актера и возглавили эту Студию. По воскресеньям с утра устраивались лекции специально для профессиональных актеров государственных театров Риги.

Из Риги мы ездили на гастроли. Играли «Потоп» Бергера, «XII ночь» Шекспира, а также «Чеховские инсценировки». Рассказы А. П. Чехова «Утопленник», «Ведьма», «Забыл», «Свидание хотя и состоялось, но...», «Торжество победителя», «Жених и папенька», «Мыслитель», «Воры» (Литва, Эстония, Польша — в этих странах многие зрители понимали русский язык). Все спектакли имели большой успех и блестящие рецензии.

Жаль, что нет возможности описать подробно разнообразнейшие образы, созданные могучей творческой фантазией Михаила Александровича в «Чеховских инсценировках»! Каждый из них — шедевр! Эти образы представляли собою широкое поле для его блестящих импровизаций! Начиная от уже впадавшего в детство, но вместе с тем, необыкновенно темпераментного, цепкого папеньки в рассказе «Жених и папенька» (в этом рассказе Чеховым и Громовым была придумана и вставлена для меня роль

невесты, старой девы в пенсне, которую с превеликим удовольствием я играла). Папенька — Чехов доходил до неистовства в своем желании выдать дочку замуж, темперамент его был вулканическим, он впивался в жениха, как клещ . . .

Рассказ «Ведьма», как я уже говорила, впервые был нами сделан в Париже. Чехов играл Дьячка, Громов — Почталюна, я играла Ведьму, жену Дьячка, Раису. Мы с огромным увлечением репетировали и играли этот восхитительный рассказ Чехова. Кстати, о гриме Дьячка — Чехова. Грим мы искали перед премьерой, сидя вдвоем в одной уборной. Михаил Александрович испробовал несколько вариантов. Он искал свой грим весело, шутя и озорно, так же, как и играл эту роль, с азартом перевоплощаясь в глупейшего, подозрительного, суеверного дьячка, совершенно убежденного в том, что его жена — «бедьба». Так произносил он много раз это слово. Дикция Дьячка была невозможной, но все, что он делал и говорил, было предельно понятно. Вся сложность его построений, умозаключений и действий была жизнью этого существа и, как ни странно, его становилось жалко.

В конце инсценировки, воскликнув: «Чтоб ты пропал, окайный! . . .», дьячиха, повалившись на кровать, рыдая засыпала. Всё постепенно стихало. Долго смотрел на нее Дьячок . . . потом, крадучись, он подходил к ней и начинал играть её длинной косой. Он виртуозно достигал того, что коса как бы оживала под его рукой, она походила на живую змею своими своими разнообразными движениями. Он сам пугался ее и тихонько отпрыгивал, пятился назад. Затем снова осторожно, крадучись, приближался, принимаясь за эту игру, и почти плача, окончательно уверовав, что он прав, повторял с суеверным страхом: «Бедьба! . . . бедьба и есть бедьба . . .» Меняя интонацию, постепенно переходя к нежности, всхлипывая, с любовью начинал целовать кончик этой косы . . .

Эта сцена была целой трагикомической симфонией. Мы очень любили ее. Во всех гастроях всегда шли «Чеховские инсценировки».

Вместе с Чеховым я сыграла Актрису, а затем Королеву в «Гамлете», Виолу и Себастьяна в «XII ночи» Шекспира, Лиззи в «Потопе» Бергера, Ведьму в одноименном рассказе А. П. Чехова, Кашеевну в сказке-пантомиме «Краса Ненаглядная, или Дворец пробуждается» Чехова и Громова, Невесту в «Женихе и папеньке» А. П. Чехова, Анну Андреевну в сцене из «Ревизора» Гоголя (в концертном исполнении).

Не только играть, но и репетировать с ним, жить под одной крышей, — разве это было не таким же счастьем? Общение человеческое было творческим, так как это был легкий, подвижный, нестоицизм веселый человек, живой, остроумный. Даже в тяжелые минуты, которые посылала ему судьба, он не терял оптимизма, веры в хорошее. И детскость, и мудрость присущи были его натуре. Я не помню его злым, не помню мрачным даже в минуты огорчений и озабоченности. Дружба его с Виктором Алексеевичем была светлой, они удивительно творчески понимали друг друга — многие завидовали этой дружбе. Когда вспоминаешь Михаила Александровича, невозможно не думать о том, что его волновало.

Еще будучи молодым, он пережил восторги зрителей, слышал на каждом спектакле бурные овации в адрес его игры. Но с годами увлечение отдельными ролями стало отходить у него на второй план, и все больше и больше начинали волновать его «тайны» творчества, осознанные пути к вдохновению. Об этом он страстно думал и был одержим желанием искать пути в неведомое. Через много лет этим своим мыслям он посвятит книгу «О технике актера».

По мысли К. С. Станиславского, чем гениальнее артист, тем нужнее ему технические приемы творчества, доступные сознанию для воздействия на скрытые в нем тайники подсознания, «где почиет вдохновение». (К. С. Станиславский, Т. I., М., 1954, с. 406.) Константин Сергеевич говорит (там же), что «надо уметь не мешать вдохнове-

нию», а Чехов выражает свою мысль так: «Надо дать образу уплотниться».

Разница в том, что Станиславский и Шаляпин признавали, что творческое вдохновение не поддается анализу. Чехов же неудержимо стремился анализировать. Опираясь на свое собственное гениальное творчество, он считал необходимым найти ответы и проложить путь будущему театру, о котором мечтал.

Теперь, когда прошло более шестидесяти лет после «конфликта» с семью актерами во МХАТе 2-м, все, что было, кажется странным и даже детским. А вместе с тем, этот «конфликт» фактически сломал жизнь великого актера. Много раз возвращались мы в беседы наших к МХАТу 2-му, который был для нас вторым домом.

Чехов рассказывал Громову и мне, как однажды в Реперткоме один из работников предложил ему убрать «потусторонность» в «Гамлете».

— Зачем у вас там голубого свету пушено? Уберите его. Пусть будет нормальный яркий свет . . .

Чехов возражал, что потусторонний элемент введен самим Шекспиром в сцене с Духом отца Гамлета — само существование этой сцены уже есть «потусторонность». Кроме того, сцена с Духом происходит ночью. Как же может быть дневной свет? А разве народные сказки и их образы не полны «потусторонности»?

— Введите какого-нибудь вашего актера в виде Духа, пусть он пройдет по сцене . . .

Михаил Александрович не соглашался, считая такой прием слишком примитивным. (В частности, в гастроях Сандро Моисси во время его спектакля «Гамлет», Дух, исполнявшийся каким-то актером, проходя по сцене, вдруг закашлялся, чем вызвал громкий смех в зале, и кто-то вдруг сказал: «Дух простудился!» Я хорошо помню это, так как присутствовала на этом спектакле. Занятный диалог произошел тогда между Чеховым и Моисси. Посмотрев Гамлета — Чехова, Моисси спросил Михаила Александровича: «Почему вы Гамлета играете таким потрясенным? Я играю Гамлета совершенно спокойно. Чехов ответил коротко: «Вы не тем местом играете.»)

В постановке «Гамлета» во МХАТе 2-м Чехов стоял наверху, на крепостной стене, как бы СЛЫША слова Духа, ритмически и музыкально исполняемые мужскими голосами вокальной части театра, которой тогда руководил А. В. Свешников. Гамлет повторял эти слова. Они звучали, как внутренний голос его интуиции, как будто предчувствие подсказывало Гамлету, что отца его убил Клавдий — в этом не было никакой «мистики». В том, что Чехов не ввел передетого актера в виде Духа, был более высокий художественный вкус.

Во время наших увлеченных бесед Михаил Александрович любил нам с Виктором рассказывать о себе что-нибудь занятное. Он говорил, что когда на улице видит идущих впереди мужчину и женщину, может точно определить по походке, по соотношению их фигур, друг к другу, их взаимоотношения. Женаты ли они, или это пора влюбленности, а может быть, уже разочарованы . . . по походке, по их спинам, по положению шеи и головы он чувствует, кто у кого в подчинении, кто властвует. Говорил, что его забавляет такое наблюдение — это еще более увлекательно, чем угадывать профессию незнакомого человека, встретившегося где-то в поезде или в автобусе.

Он говорил также, что возраст человека духовный вовсе не зависит от возраста метрического . . . он давно это понял: старый человек может обладать молодой, даже детской совсем не мудрой душой. Наоборот, юноша может быть старичком — он уже родился с такой душой.

Жили мы в Риге на Меркеля иела, 21. Туда приезжала в гости Жоржетта, дружба с которой у Чехова сохранилась. Осталась также на всю жизнь самая теплая память о латвийских актерам. Прошло много лет с тех пор. Многие из них стали Народными и Заслуженными артиста-

ми Латвийской ССР и своим трудом прославили искусство Латвийской Республики.

Два лета мы вчетвером отдыхали в Сигулде и на Рижском взморье в Асари второй. В Асари жили на самом берегу моря, в красивом большом доме с прекрасным садом. Чеховы снимали просторную комнату с балконом на втором этаже. Мы с Виктором такую же на первом. И их, и наша комнаты выходили окнами прямо на море. Атмосфера была уютная и спокойная. После напряженной работы это был хороший отдых.

... Перед глазами песчаный пляж и спокойное море. За домом не далеко лес и хорошие прогулки по тропинкам, усыпанным иголками сосен. После обеда вместо «мертвого часа» мы играли в бридж. (Играли, конечно, не на деньги.) Чехов был всегда моим партнером, а партнером Виктора была Ксения Карловна. Непременное условие этой игры: надо сидеть с ничего не выражающими серьезными лицами, чтобы не дать даже намеком понять своему партнеру, какие у тебя карты. Вот тут и происходило у нас нечто такое, чего нельзя забыть.

Лицо Чехова сначала ничего не выражало, но это ничего было неопишимо... он как бы исключал мысль. Вначале противники наши делали вид, что всё благополучно. Вдруг медленно и значительно поднималась одна бровь. (ОН давал мне этим понять что-то о своих картах.) Ксения восклицала:

— Миша... ну... Миша!...

Бровь медленно опускалась. Но вот, очень странно, как бы удивляясь чему-то, он открывал рот и, будучи очень серьезен, издавал еле слышный писк... Происходило нечто невообразимое, игра превращалась в сплошной хохот, прерывавшийся возмущенными восклицаниями. Восстановить порядок было невозможно, так как он находился в полном упоении от количества и разнообразия возможных «знаков» и намеков партнеру... Мы катились от хохота, а он получал удовольствие от своего озорства и полного отсутствия дисциплины в игре.

Однако на следующий день мы снова садились за большой стол в нашей комнате, через несколько минут игры начиналось то же самое, он уже был в своей «стихии», и так было каждый день! Палитра красок, намеков, звуков и морганий, вплоть до поднимания одного уха были у него бесчисленными, и это было весело и называлось «игра в бридж».

А еще он очень любил показывать, как его противники во втором МХАТе изображают его «религиозным». Он брал большую мелкую тарелку, заносил ее в виде нимба за голову и говорил: «Вот каким меня рисуют мои враги в театре в Москве...» При этом он строил уморительную рожу «святоши», закатывал глаза, почему-то прыгал на одной ноге, вытягивал губы и делал вид, что шепчет какие-то непонятные заклинания: «Вот каким меня рисуют «религиозным святошей»...»

Это выражение и тарелка были здорово осмеяны им. Делал он это чрезвычайно сатирично и насмешливо по отношению к тому, кто его себе таким представляет.

Когда мы ходили гулять или проводили какое-то время на песчаном бархатном пляже, Чехов с Громовым всегда мечтали о том, что они будут еще ставить. Говорили о «Жанне д'Арк» по оригинальному роману Марка Твена, в котором Чехов играл бы короля, Громов — секретаря Жанны, а я — Жанну... Все это были мечты, которым не суждено было осуществиться!

Вспоминаю, как часто Чехов говорил еще в Берлине и Париже в самом начале нашего там пребывания: «... Здесь удивить зрителей я мог бы только, если бы вышел на сцену, надев на себя резиновые женские груди...»

Чехов боготворил Константина Сергеевича Станиславского, хранил в сердце своем благодарную память о Леопольде Антоновиче Суллежичком. Система была его природой, именно она вдохновляла его на дальнейшие поиски. Система прочно жила во всем его актерском творчестве.

Он купался в своем вдохновении. Неожиданно для него самого возникали контрасты, полностью оправданные, которые владели им, словно совершенным инструментом. Он называл это внутренним «имитированием образа» — это и была его идеальная способность перевоплощения. Этот внутренний процесс возникал от его великой творческой фантазии. Ключ и объяснение этому процессу он старался найти, сгармонизировать и научить других актеров такой способности творить.

Михаил Александрович мечтал воплотить образ Дон Кихота. Он видел очень ясно Кихота и рисовал его. (Вообще тема Михаил Чехов — художник заслуживает отдельной статьи.) Голова Кихота и его худое лицо (подлинник, нарисованный Чеховым карандашом) находятся у меня, подаренные Чеховым Громову, так же как и голова и лицо Санчо.

«Дон Кихот» был принят к постановке во МХАТе 2-м, в инсценировке М. А. Чехова и В. А. Громова, залитован, и было распределение ролей. Началась работа. Это были первые обсуждения, заседания и совещания перед отпуском в 1928 году, посвященные будущему спектаклю. Также в Париже были репетиции только сцены суда Санчо... Несомненно, Кихот и Лир были бы великими творениями Чехова...

О роли Грозного Михаил Александрович мечтал еще в Москве. Но возражал Репертком. Было опасение, что благодаря исключительному покоряющему актерскому обаянию, Чехов — Грозный вызовет у зрителей сочувствие, симпатию. Грозного играл Чебан. Прекрасные декорации к постановке были сделаны талантливым художником, двоюродным братом Михаила Александровича, Сергеем Михайловичем Чеховым.

Вспоминаю, как в Москве режиссеры спектакля попросили Михаила Александровича прийти посмотреть репетицию. Чехов, сидевший в зале, поднялся вдруг на сцену и обратился к Берсеневу:

— Ты понимаешь, Валя, я сейчас увидел вдруг походку Годунова — ведь он тигр или барс, у него и походка какая-то вкрадчивая... вот такая... — И он прошелся по сцене тигриной походкой. Берснев сразу уловил это и всегда так ходил в Годунове. В этой походке был весь внутренний мир Годунова. Иван Николаевич прекрасно играл эту роль.

В Риге спектакль «Смерть Грозного» не был повторением московской постановки. Это был совершенно новый спектакль. Постановщиком был В. А. Громов. Чехов играл на русском языке, все остальные в Латвийском Государственном драматическом Театре играли на латышском, однако это нисколько не мешало ни партнерам, ни Михаилу Александровичу, ни зрителям. Атмосфера была вдохновенной, все актеры играли с огромным увлечением, на сцене царил высокий актерское искусство. Грозного Чехов играл вдохновенно, в том масштабе мастерства и перевоплощения, в котором играл все свои роли. Пьеса называется «Смерть Грозного», — он и играл СМЕРТЬ, но не в физической дряхлости была глубина этого образа, а духовно, во всем существе его уже присутствовала в течение всего спектакля эта нагнетаящая, надвигающаяся смерть.

Самое непостижимое было, когда царь умирал в конце пьесы, то, КАК он умирал... Как делал он это, я до сих пор не могу понять... Он лежал на постели почти в профиль... Он как будто ничего не делал внешне... но весь зал в идеал, как жизнь постепенно покидает его. На глазах у зрителей лицо его медленно становилось белым, он умирал! Прозрачными, тонкими и острыми делались его черты!

Когда после премьеры мы ехали на извозчике в пансион, где мы жили, я спросила Михаила Александровича:

— Как вы это делаете? Что это такое происходит, когда вы умираете? Это какое-то чудо... Это, наверное, очень трудно?

Он засмеялся и ответил мне: — Что ты, что ты, это совсем легко!

Он вообще говорил, что, играя роль Грозного, очень мало

уствует, несмотря на всю напряженность действия этой пьесы. В Рижском Театре Русской Драмы Чехов с огромным успехом сыграл Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя, Мальволио в «XII ночи» Шекспира, Фому Опискина в «Селе Степанчикове» Достоевского. Публика была совершенно потрясена диапазоном волшебного его мастерства, той легкостью, с какой побеждал он все границы актерского «амплуа». За два с половиной года было семьдесят восторженных рецензий.

Во время работы над «Парсифалем», которого Михаил Александрович ставил в Рижской Государственной Опере, он вдруг заболел тяжелым приступом «грудной жабы» на почве отравления никотином — таков был диагноз врачей. Виктор Громов по его просьбе продолжил работу над «Парсифалем». Когда Михаил Александрович выписался из больницы, он сам выпускал спектакль.

В 1932 году Рейнгардт приехал в Ригу и смотрел Чехова в роли Хлестакова в Рижском Театре Русской Драмы. Он был настолько потрясен игрой Михаила Александровича, что, уезжая ночью после спектакля из Риги, велел передать Чехову, что считает его «ВЕЛИЧАЙШИМ АРТИСТОМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ», и что он очень хотел бы встретиться с ним в работе.

Во время наших бесед, в связи с отзывом Рейнгардта, Михаил Александрович однажды очень подробно рассказал нам с Виктором об удивительном «раздвоении личности» во время исполнения им роли клоуна Скида в постановке Рейнгардта в Вене.

Он был предельно измучен, репетируя Скида с бездарным помощником Рейнгардта, ремесленником от искусства, стремившимся «учить» Чехова (!) с голоса произносить текст... Михаил Александрович в отчаянии считал, что роль будет провалена им. Впервые в жизни он играл на немецком языке. Силы покидали его. Репетиции проводились ночью. Положение было безвыходным... Но вот на премьеру на него вдруг снизошло высочайшее вдохновение — он полностью перевоплотился в своего клоуна. Это произошло в третьем акте, в кульминационном моменте, во время большого трагикомического монолога... вдруг раздвоился — он ощутил себя и в Скиде, и над ним, и над зрителями, и над всем залом, и над партнерами, и, одновременно, внутри всего. Он диктует своему Скиду, который сидит на полу, Чехов слышит его как бы со стороны... и он чувствует и слышит, как странно, совершенно удивительно замер весь зал...

Чехов сказал, что это ощущение «раздвоения» было у него и раньше, в других ролях. Он почувствовал, что может ВСЕ — появилась НЕВЕДОМАЯ ОГРОМНАЯ СИЛА ВЛАДЕНИЯ ОБРАЗОМ в этом «раздвоении».

Чехов считал, что об образе надо думать и мечтать постоянно, «надо помешаться на образе», «не я играю, а образ играет при помощи моего тела»... Актер должен видеть свой образ в ритме всей пьесы... «Нашел роль» — значит нашел ритм, чувство целого. Образ создается сложными, отчасти внесознательными процессами. Надо всю роль прослушать, как музыку. **ВДОХНОВЕНИЕ — ДАР ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. ТЕХНИКА — ОРГАН ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ПУТЬ К ВДОХНОВЕНИЮ.**

«... Я увидел чувство моего Скида, — рассказывал Михаил Александрович, — его волнение и боль... внезапно он то менял темп, то прерывал свои фразы паузами... Я стал угадывать, что произойдет через мгновение в его душе... Я руковожу его игрой, я и в зрительном зале, и возле себя самого, я **МОГУ ВСЕ**» (и тут мне вспомнилось, как сказал о Чехове Станиславский: «Для Чехова нет невозможных задач на сцене — **ОН МОЖЕТ ВСЕ!**»)

Понятно, почему Макс Рейнгардт сказал: «Как это возможно, что такой актер без театра?!» Он сказал это перед поездкой Чехова в Англию.

ВДОХНОВЕНИЕ И ПУТЬ К НЕМУ — ВОТ ЧТО ЗАНИМАЛО ЧЕХОВА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. На двойственность человеческого существа во все времена указывали великие художники. Шаляпин говорил: «Дон Кихот у меня играет, а Шаляпин ходит за ним и смотрит, как он играет». Шаляпин всегда отде-

лял себя от образа. Федор Федорович, младший сын Шаляпина, приходивший к нам, когда мы жили в Париже, говорил: «Когда отец плакал на сцене, он плакал от сочувствия к образу, а себя никогда не доводил до истерики». Михаил Александрович сказал: «У Шаляпина я нашел указание на факт раздвоения сознания. У больших художников раздвоение сознания происходило само собой, — современные же актеры могут научиться этому». В своей книге «Михаил Чехов» Виктор Громов пишет о таинственном узле, который накрепко связывал вдохновение многообразия на сцене «и единство противоположностей в его жизни. Слабость и сила, детскость и мудрость, скромность в жизни и дерзновенность в творчестве, любовь к религиозно-духовным вопросам, ненависть к проявлению ханжества, ясность мысли и неразгаданная даже им самим сила творческой интуиции — все это и многое другое клокотало в его сознании». (В. А. Громов. Михаил Чехов. М., «Искусство», 1970, с. 209.)

Прекрасный артист Художественного Театра Михаил Яншин сказал однажды о Михаиле Чехове: «После Чехова его роли было играть нельзя!»

Вспоминаются разные шутки, словечки, которые были у Михаила Александровича в ходу. Например, он очень смешно говорил нам троим (Ксении, Виктору и мне), когда мы очень бурно на что-нибудь реагировали... Он вдруг устраивал многозначительную паузу и с олимпийским спокойствием произносил: «Не возбуждайтесь!» Для Виктора были в его устах разные названия: «Великий!», «Мицупочка», «Мензура» и др. Первое обозначало, что он считает Виктора очень умным, второе — что он нежно любит его. Третье просто было одним из многих шуточных прозвищ.

Когда какая-нибудь поклонница (а их было всегда множество) приходила к нему за советами по поводу своих переживаний, он очень терпеливо выслушивал ее и потом кратко отвечал: «Ищи все в себе!» Этот ответ доставлял ему удовольствие, веселил его.

Во время летнего отпуска во МХАТе 2-м, в сезоне 1926 года, который Чехов проводил за границей, он писал в Москву Виктору Громову (привожу два маленьких отрывка из этих писем): «... 15.08.26. Мензура моя, как вы рады моему письму и как мы рады вашему! Я огорчился, когда узнал, что ты не приедешь в Москву до моего отъезда, но потом понял, что Военно-Грузинская дорога даст тебе чудесные впечатления. Рад за вас... Целую, обнимаю! Здесь наткнулся на одну книжечку, в которой автор излагает свои взгляды на театр и на образование правильной художественной речи. Я решил сообщать тебе конспективно содержание этих театральных исследований... Очень хочу тебя видеть, скучаю и вижу тебя то в одном переулке Венеции, то в другом, то на мостике, то в моих объятиях. Целую, целую, целую...

Твой Миздра».

Из письма к В. Громову 28 августа 1926 года.

«Здравствуй, мое несравненное, единственное в своем роде произведение природы! Ску-ску-ску-чаю по Тебе, мое, мое, мое! А завтра мое рождение — 35 лет. О! У! Ы!

Все время, отведенное на писание, уходит на письма к тебе!»

Дальше Михаил Александрович пишет, что все его надежды на пантомиму. «Там можно подать слово (подчеркнуто) во всей его красе, ибо слов будет не много. Там можно развернуть жизнь жеста, там музыка! Мы с Тобой раз-делали!»

Он пишет также, что хотел бы для труппы МХАТа 2-го организовать школу и преподавать новую актерскую технику, — речь и движение. Считает, что преподавать могут пять человек, он, Татаринов, Громов, Гиацинтова и Чебан. «Надо будет пустить в ход всю имеющуюся у нас педагогическую интуицию, а такая интуиция есть у Тебя, Володи и меня.

... Я еще ничего не писал о впечатлениях Рима, Неаполя, Везувия и пр. Но уж видно по приезде хвачу Тебя

Стамбулом! Сообщу только, что святость итальянцев доходит до того, что они один из банков в Риме назвали «Банк Святого Духа», а в ресторане можно получить «филе а ля святой Петр», лучшее вино называется «Слезы Христа», — словом, хохот и срам! А в соборе Святого Петра поставили статуи пап (каждый свою статую ставил), а один папа даже портрет своей любовницы вонзил в собор! Это все из смешного. Но и неизгладимых впечатлений больше, чем много. Об этом не напишешь меньше, чем в шести томах с предисловием, послесловием и комментариями.

Если бы Ты знал, как я Тебя люблю . . . рву Тебя на куски . . . разорванного составляю вновь в целое, и вновь рву и так представляй себе без конца . . .

Твой Миха».

У меня сохранилась небольшая вырезка, из какого-то журнала, посланная в письме Ксенией Карловной. В ней описывается встреча Михаила Александровича с Сергеем Васильевичем Рахманиновым в Америке. «Рахманинов собирался навестить художника Сомова и Чехов также. Рахманинов любил водить машину и предложил Чехову ехать вместе. Михаил Александрович собирался в это время ставить в Нью-Йорке оперу «Сорочинская ярмарка». По дороге он все время задавал Рахманинову вопросы, как должен режиссер поступать с оперными актерами, которые привыкли петь глядя всегда, главным образом, в публику. Сергей Васильевич отвечал ему на вопросы — что можно и чего нельзя требовать от оперного актера. Михаил Александрович очень внимательно слушал его и все время только задавал вопросы. Когда они приехали, Михаил Александрович объяснил Сергею Васильевичу, что он его спрашивал в связи с предстоящей постановкой «Сорочинской ярмарки». Рахманинов смеялся и говорил: «Вот хитрец, ведь всю дорогу ни звука мне об этом не сказал!»

Там же они встретились с Шаляпиным. Рахманинов стал просить его петь. Федор Иванович сначала отказывался, но когда Сергей Васильевич взял несколько аккордов, Шаляпин запел и доставил всем великое удовольствие. Затем Рахманинов стал уговаривать: «Федя, покажи, как дама надевает корсет». Федор Иванович очень смешно это показывал. Все присутствующие много смеялись. «Покажи, как дама пудрится!» Это тоже было необыкновенно смешно . . .

Время шло. Мы с Виктором продолжали тянуться домой, в Москву . . . С великой грустью расставались мы с любимым Михаилом Александровичем. Никогда не забуду, как он провожал меня на вокзале . . . (Я уезжала на два месяца раньше Громова, так как он должен был еще закончить очередную работу в студии). Обнявшись втроем (Михаил Александрович, Ксения Карловна и Виктор Алексеевич), стояли на перроне перед уносившим

меня поездом . . . Я помню эти любимые глаза и их взволнованные лица. А ведь еще тяжелее предстояло Михаилу Александровичу вскоре расстаться с Виктором . . .

Он писал Мейерхольду, когда Виктор уехал в Москву: «Не подумайте, дорогой Всеволод Эмильевич, что это рекомендательное письмо! . . . Я посылаю Вам близкого и дорогого мне человека, с которым меня связывает семнадцатилетняя дружба . . . Здесь он самостоятельно был режиссером «Гамлета», «Эрика», «Смерти Грозного», «Села Степанчикова». Все новые варианты . . .» (Письмо от 23.06.34 г., оно не подробно напечатано в Сб.: В. Э. Мейерхольд, Переписка. — М., «Искусство», 1976.)

В конце своей жизни Чехов писал, что разлюбил театр, остыл к театру . . . «Театр потерял для меня свое бывшее очарование . . .» В этих строчках — тоска об искусстве у себя на родине, тоска по людям, которые были ему по-настоящему близки и любимы. Мы знаем, что во время Великой Отечественной войны он организовал выступления, деньги от которых посылались в Россию для Советской Армии.

Из всех больших художников сцены, которых мне привелось встретить в жизни, Михаил Чехов остался навсегда самым непостижимым и великим. Иногда вижу один и тот же сон: вот они все передо мной, живые образы, созданные его гением! Мерцают его светлые глаза, серьезен его взгляд . . . В каждом он, и не он. Это существа живые, каждый — особый мир, особое Я! . . .

Мальволио, ласково, похотливо и удивительно глупо улыбаясь, моргая и подмигивая от счастья круглыми блестящими глазками, согнув худые коленки, подбоченившись, восторженно усталился на графиню Оливию . . . Гамлет, исступленно и страстно подняв свой меч, летит на авансцену, восклицая: « . . . Оленья ранили стрелой, а лань здоровая смеется . . . за светом тень идет чредой, и так на свете все ведется! . . . Горацио! Истина, истина была каждое слово Духа! . . .»

Вот старенький Аблеухов, войдя в комнату сына, в удивлении стоит над тикающей сардинницей, недоуменно стараясь вникнуть и понять какую-то тайну. Делая большие паузы — непередаваемые, неопишуемые паузы, — он медленно повторяет одно и то же слово: песок . . . пески . . . ? Все они тут предо мной, Кобус, Фрибе, Калев, Фрезер, Эрик — безумный, несчастный Эрик!

Утопленник, Мармеладов, Чиновничек, Студентик, Грозный, Хлестаков, Дьячок, Муромский, Фома, Папенка, Скид, Иванушка . . .

К небу тянется и парит над землей тонкий и худой Дон Кихот, по земле он не ходит, а как бы перебирает легкими ногами . . . Властно и царственно горят одиноким страданием огромные глаза короля Лира . . . Они тоже здесь оба, хотя и не успели воплотиться! Как не похожи они все друг на друга, нет ни одного, кто напоминал бы другого. Я вижу их. Они живут и сейчас. Они не стерлись, не поблекли!



РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА ПЕРЕД СУДОМ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ*

На протяжении всего зрелого периода своего творчества (особенно в эмиграции) С. Л. Франк не считал себя причастным к реальной деятельной политике, но это не мешало ему не только постоянно думать о современных политических процессах и событиях, но и писать о них, соотнося последние с той метафизической реальностью, на которой он, как философ, был всегда сосредоточен. Такой подход придает политико-философским работам Франка непривычную для тех, кто занимается «политикой», духовную перспективу и позволяет понять, что политика, как и любой другой вид человеческой деятельности, напрямую соотносится с Божественным основанием мира. В таком контексте политика понимается уже не как «нечистое дело» корыстных авантюристов, но как «христианская политика», которая есть «царственный путь подлинно христианского совершенствования жизни, на котором, через проповедь любви, сострадания, уважения к человеку, обуздания темных, корыстных, хаотических вожделений, через соответствующее воспитание, через педагогическую и миссионерскую активность закладываются прочные основы лучшего, более справедливого, более проникнутого любовью и уважением к человеку порядка общественной жизни» (С. Франк. Свет во тьме. П., 1949, с. 380.) Но к такому обоснованному и до конца продуманному пониманию политики, как коллективного самовоспитания человечества в духе христианских заветов, Франк пришел уже в зрелый период, которому предшествовала длительная эволюция взглядов.

В юности, в пору учения в гимназии и

Московском университете, Франк, воспитанный в среде радикально настроенной русской интеллигенции, был увлечен марксизмом и даже занимался агитацией среди заводских рабочих. Однако эти юношеские увлечения прошли довольно скоро, когда в молодом Франке пробуждается «страстная жажда чистого, бескорыстного теоретического познания». (С. Франк. Предсмертное. Вестник РХД, П., 1986, с. 112.) Окончательный разрыв с революционным учением Маркса происходит у Франка во время революции 1905 г., которая отрезвила многих «революционеров-мечтателей» разгулом грубого насилия и попранием всяческих нравственных ценностей. Франк переходит в области политических воззрений к классическому либерализму, а в области философской — к метафизическому идеализму.

Франк часто выступает в печати по разным вопросам — от собственно философских до социально-политических — и становится известной фигурой в научном мире. В 1909 г. он участвует в нашумевшем сборнике «ВЕХИ. Сборник статей о русской интеллигенции», где в статье «Этика нигилизма» всесторонне и глубоко обосновывает свой разрыв с традициями радикальной революционной интеллигенции. Франк определяет классического русского интеллигента как «воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия» (Вехи. М., 1909, с. 204), которому свойственны «социальный оптимизм и опирающаяся на него механико-рационалистическая теория счастья» (с. 194). В основе такого мировоззрения, которое характерно как для социализма,

так и для любого революционизма, лежит учение Руссо, согласно которому внутренние условия для человеческого счастья всегда были и есть налично, и, таким образом, для достижения земного рая необходимо лишь устранить, разрушить существующий несовершенный социальный строй. Из такой религии социализма вытекает ее принципиальная установка на разрушение, а не на созидание. Это — творческая и зачатую анти-творческая религия земного благополучия.

Глубокая критика радикализма в политике неизбежно приводит Франка к признанию изначальности греха в человеческой природе и в поврежденном через человеческий грех мире. Признание же принципиального несовершенства мира (а не социального строя) приводит Франка на позиции либерального консерватизма, философскому обоснованию которого посвящены его поздние труды «Духовные основы общества» и «Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии». Но прежде чем прийти к этому единственно возможному для христианина здоровому духовному консерватизму, Франк в публикуемой ниже статье «De profundis» анализирует органические недостатки старых русских либералов и консерваторов. Это было для Франка необходимой расчисткой пути, поскольку виновными в русской революции оказались все ведущие политические направления — консерватизм, либерализм и радикализм, славянофильство и западничество. Выход был только в одном — в преодолении односторонности всех этих путей, в поисках нового «царственного пути».

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

«ИЗ ГЛУБИНЫ. СБОРНИК СТАТЕЙ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

СЕМЕН ФРАНК

DE PROFUNDIS

The air is cut away before and closed
from behind
Fly, brother, fly! more high, more
high!

Or we shall be belated.

Coleridge**

Если бы кто-нибудь предсказал еще несколько лет тому назад ту бездну падения, в которую мы теперь провалились и в которой беспомощно барахтаемся, ни один человек не поверил бы ему. Самые мрачные пессимисты в своих предсказаниях никогда не шли так далеко, не доходили в своем воображении до той последней грани безнадежности, к которой нас привела судьба. Ища последних

проблесков надежды, невольно стремишься найти исторические аналогии, чтобы почерпнуть из них утешение и веру, и почти не находишь их. Даже в смутное время разложение страны не было, кажется, столь всеобщим, потеря национально-государственной воли столь безнадежной, как в наши дни; и на ум приходят, в качестве единственно подходящих примеров, грозные, полные библейского ужаса мировые события внезапного разрушения великих древних царств. И ужас этого зрелища усугубляется еще тем, что это есть не убийство, а самоубийство великого народа, что тлетворный дух разложения, которым зачумлена целая страна, был добровольно в диком, слепом восторге самоуничтожения привит и воссан народным организмом.

Если мы, клеточки этого некогда могучего, ныне агонизирующего государственного тела, еще живем физически и морально, то это есть в значительной мере та жизнь по инерции, которая продолжает тлеть в уми-

рающем и которая как будто возможна на некоторое время даже в мертвом теле. Вспоминается мрачная, извращенная фантазия величайшего русского пророка — Достоевского. Мертвецы в своих могилах, прежде чем смолкнуть навеки, еще живут, как в полусне, обрывками и отголосками прежних чувств, страстей и пороков; уже совсем почти разложившийся мертвец изредка бормочет бессмысленное «бобок» — единственный остаток прежней речи и мысли. Все нынешние мелкие, часто кошмарно-нелепые события нашей жизни, вся эта то бесплоднословесная, то плодящая лишь кровь и разрушение бессмысленная возня всяких «совдепов» и «исполкомов», все эти хаотические обрывки речей, мыслей и действий, сохранившихся от некогда могучей русской государственности и культуры, после бешеной пляски революционных привидений, как последние дотлевающие огоньки после дьявольского шабаша, — разве все это не тот же «бобок»? И если мы,

* В № 4 опубликованы вступительная статья и статья П. Струве «Исторический смысл русской революции и национальные задачи».

** Раздался воздух впереди,
Сожмулся сзади он.
Летим, мой брат, скорей летим!
Мы запоздали так...

С. Колридж
Поэма о старом Моряке.
Пер. Н. Гумилева (Здесь и далее прим. ред.)

задыхаясь и умирая среди этого мрака могилы, в своих тревогах и упованиях продолжаем по инерции мысли бормотать о «заветах революции», о «большевиках» и «меньшевиках» и об «учредительном собрании», если мы судорожно цепляемся за жалкие, замирающие в нашем сознании остатки старых идей, понятий и идеалов и это бесплодное и бездейственное трепыхание чувств, желаний и слов во мраке смерти принимаем за политическую жизнь — то и это все есть тот же «бобок» разлагающегося мертвеца.

И, однако, неистребимая, органическая жажда подлинной жизни, жажда воздуха и света заставляет нас судорожно вырываться из удушающей тьмы могилы, влечет очнуться от могильного оцепенения и этого дикого, сонно-мертвого бормотания. Если России суждено еще возродиться — чудо, в которое, вопреки всему, мы хотим верить, более того, в которое мы обязаны верить, пока мы живы, — то это возрождение может быть теперь лишь подлинным воскресением, восстанием из мертвых с новой душой, к совсем иной, новой жизни. И первым условием этого возрождения должно быть полное, окончательное осознание как всей глубины нашего падения, так и его последних, подлинно-реальных духовных причин, а не только той призрачной, фантастической обстановки и калейдоскопически бессмысленного сцепления отрывочных событий этого падения, которые окружают нас с того момента, как мы уже потеряли почву под ногами. Подобно утопающему, который еще старается вынырнуть, мы должны отрешиться от головокружительного, одуряющего подводного тумана и заставить себя понять, где мы и как и почему попали в эту бездну. А если даже нам действительно суждено погибнуть, то и тогда дух жизни влечет нас погибнуть не в сонном замирании мысли и воли, а с ясным сознанием, передав векам и народам внятней, предостерегающий голос погибающего и чистое, глубоко осознанное покаяние. Силою свободной мысли и совести, — которых не могут отнять у нас никакие внешние бедствия, никакой гнет и произвол, — мы должны возвыситься над текущим мигом, понять и оценить кошмарное настоящее в связи со всем нашим прошлым, в свете не мигающих, блуждающих огоньков болотных испарений, а непроходящих, сверхвременных озарений человеческой и национальной жизни.

||

Казалось бы, дьявольское наваждение, нашедшее на нас, уже кончается, и петух, разгоняющий шабаш ведьм на Лысой горе, уже давно прокричал. Но мы все еще не опомнились, стоим, как зачарованные, и не понимаем,

откуда взялось это наваждение. Мы уже хорошо понимаем, что вихрь, закрутивший нас с марта прошлого года, был не подъемом творческих политических сил, а принес лишь гибель, залепил нам глаза поднявшейся с низин жизни мутой и пылью и завершился разрушительный свистопляской всех духов смерти, зла и разложения. Но мы еще не можем понять, как это случилось, и все еще чудится, что как-то независимо от нашей воли и против нее совершился ужасный подмен добра злом. Впервые родина стала истинно свободной для воплощения заветных своих идеалов, лучшие русские люди стали у власти, еще лучшие, более энергичные и пылкие, подгоняли их в осуществлении желанных целей, — и внезапно все это куда-то провалилось, и мы очнулись у разбитого корыта, хуже того, без всякого корыта и даже без старой, покосившейся, но все же родной избы. И несмотря на всю грозность знаменит и божьих кар, мысль большинства еще цепляется за мелкие, внешние и совершенно мнимые объяснения, старается сложить ответственность на какие-то непредвиденные и не зависящие от нас силы и инстанции на кого-то другого или на что-то другое и не видит связи совершившегося с самим существом русского общественного сознания.

Господствующее простое объяснение случившегося, до которого теперь дошел средний «кающийся» русский интеллигент, состоит в ссылке на «неподготовленность народа». Согласно этому объяснению, «народ», в силу своей невежественности и государственной невоспитанности, в которых повинен в последнем счете тот же «старый режим», оказался не в состоянии усвоить и осуществить прекрасные, задуманные революционной интеллигенцией реформы и своим грубым неумелым поведением погубил «страну и революцию». Продуманное до конца, это объяснение содержит, конечно, жесточайшую, уничтожающую критику всей политической практики наших революционных и радикальных партий. Что же это за политики, которые в своих программах и в своем образе действий считаются с каким-то выдуманном идеальным народом, а не с народом, реально существующим? Тем не менее это объяснение, даже со всеми вытекающими из него логическими последствиями, остается поверхностным, крайне односторонним и потому теоретически неверным, а как попытка самооправдания — нравственно лживым. Конечно, прославленный за свою праведность народ настолько показал свой реальный нравственный облик, что это надолго отобьет охоту к народническому обоготворению низших классов. И все же, вне всякого ложного сентиментализма в отношении «народа», можно сказать, что народ в смысле низших классов или

вообще толщи населения никогда не может быть непосредственным виновником политических неудач и гибельного исхода политического движения, по той простой причине, что ни при каком общественном порядке, ни при каких общественных условиях народ в этом смысле слова не является инициатором и творцом политической жизни. Народ есть всегда, даже в самом демократическом государстве, исполнитель, орудие в руках какого-либо направляющего и вдохновляющего меньшинства. Это есть простая, незыблемая и универсальная социологическая истина: действительной может быть не аморфная масса, а лишь организация; всякая же организация основана на подчинении большинства руководящему меньшинству. Конечно, от культурного, умственного и нравственного состояния широких народных масс зависит, какая политическая организация, какие политические идеи и способы действия окажутся наиболее влиятельными и могущественными. Но получающийся отсюда общий политический итог всегда, следовательно, определен взаимодействием между содержанием и уровнем общественного сознания масс и направлением идей руководящего меньшинства. Применяя эту отвлеченную социологическую аксиому к текущей русской действительности, мы должны сказать, что в народных массах в силу исторических причин накопился, конечно, значительный запас анархических, противогосударственных и социально-разрушительных страстей и инстинктов, но что в начале революции, как и всегда, в тех же массах были живы и большие силы патриотического, консервативного, духовно-здорового, национально-объединяющего направления. Весь ход так называемой революции состоял в постепенном отмирании, распылении, уходе в какую-то политически-бездейственную глубину народной души сил этого последнего порядка. Процесс этого постепенного вытеснения добра злом, света — тьмой в народной душе совершался под планомерным и упорным воздействием руководящей революционной интеллигенции. При всем избытке взрывчатого материала, накопившегося в народе, понадобилась полугодовая упорная, до истощения энергичная работа разнуздывания анархических инстинктов, чтобы народ окончательно потерял совесть и здравый государственный смысл и целиком отдался во власть чистокровных, ничем уже не стесняющихся демагогов. Вытесненные этими демагогами слабонервные и слабоумные интеллигенты-социалисты должны, прежде чем обвинять народ в своей неудаче, вспомнить всю свою деятельность, направленную на разрушение государственной и гражданской дисциплины народа, на затопывание в грязь самой патриотической идеи, на раз-

нуздание, под именем рабочего и аграрного движения, корыстолюбивых инстинктов и классовой ненависти в народных массах, — должны вспомнить вообще весь бедлам безответственных фраз и лозунгов, который предшествовал послеоктябрьскому бедламу действий и нашел в нем свое последовательно-прямолинейное воплощение. И если эти бывшие вдохновители революции обвиняют теперь народ в том, что он не сумел оценить их благородное «оборончество» и отдал предпочтение низменному «пораженчеству» или смешал чистый идеал социализма, как далекой светлой мечты человеческой справедливости, с идеей немедленного личного грабежа, то беспристрастный наблюдатель, и здесь отнюдь не склонный считать народ безгрешным, признает, что вина народа не так уж велика и по человечеству вполне понятна. Народная страсть в своей прямолинейности, в своем чутье к действительно-волевой основе идей лишь сняла с интеллигентских лозунгов тонкий слой призрачного умствования и нравственно-беспочвенных тактических дистинкций. Когда «оборончество» основано не на живом патриотическом чувстве, не на органической идее родины, а есть лишь ухищренный тактический прием анти-патриотического интернационализма, когда идеал социализма, к бескорыстному служению которому призывают народные массы, обоснован на разлагающей идее классовой ненависти и зависти, — можно ли упрекать народ в его неспособности усвоить эти внутренне-противоречивые, в корне порочные сгустки морально и интеллектуально запутавшейся интеллигентской «идеологии»?

Но довольно об этих притязаниях тех или иных групп и фракций социалистической интеллигенции объяснить потрясающую катастрофу великого государства тем, что страна не поверила им и стала лечиться не по рецептам их политической стряпни, а по каким-то чужим и худшим рецептам. Эта междуфракционная грызня и семейные счеты между всяческими «большевиками» и «меньшевиками», «левыми эсэрами» и «правыми эсэрами», сколь бы важными они ни казались сейчас бредовому сознанию гибнущего народа и сколько бы еще злосчастия и кровопролитий они ни стоили истерзанной родине, принадлежат именно к тому замогильному бормотанию, от которого мы прежде всего должны очнуться.

Мы обойдем молчанием, как поверхностные и не достигающие существа дела, и те многочисленные объяснения, которые возлагают всю вину за гибель родины на отдельных лиц, на неумелость, недальновидность или недоброжелательность практиков и влиятельных руководителей политической жизни в злосчастные «дни свободы». Конечно, было совер-

шено много роковых ошибок и преступлений, избегнув которых, можно было бы изменить исход всего политического движения, и многие, слишком многие из любимцев и избранных русской общественности оказались далеко не на высоте положения, не обнаружили необходимого сочетания государственной дальновидности с нравственной решимостью и чувством нравственной ответственности. Но уже обилие этих ошибок и преступлений в действиях и упущениях свидетельствует, что они не были необъяснимым скоплением случайностей. Quos vult perdere, dementat*. Вся эта длинная цепь отдельных гибельных действий, из которых слагалось постепенное, быстро нарастающее крушение русской государственности, несостоятельность большинства правителей, неуклонность порядка, в котором лучшие люди вытеснялись все худшими, и роковая слепота общественного мнения, все время поддерживавшего худшее против лучшего, — все это лишь внешние симптомы более общей, более глубокой коренившейся болезни национального организма. Это сознание не снимает ответственности с отдельных лиц, которые по своему положению и влиянию или с наибольшей силой влияли в государственную жизнь болезнетворные, разлагающие начала, или обнаружили недостаточную серьезность и энергию в борьбе с ними. Но оно возлагает ответственность и на всех остальных, прямых и косвенных, участников, вдохновителей и подготовителей этого крушения и старается наметить источник зла в его более общей и потому более глубокой форме.

III

Более глубокое определение источника зла, погубившего Россию, приходится отметить в лице нарастающего сознания гибельности **социалистической идеи**, захватившей широкие круги русской интеллигенции и просочившейся могучими струями в народные массы. Действительно, Россия произвела такой грандиозный и ужасный по своим последствиям эксперимент всеобщего распространения и непосредственного практического приложения социализма к жизни, который не только для нас, но, вероятно, и для всей Европы обнаружил все зло, всю внутреннюю нравственную порочность этого движения. На примере нашей судьбы мы начинаем понимать, что на Западе социализм лишь потому не оказал разрушительного влияния и даже, наоборот, в известной мере содействовал улучшению форм жизни, укреплению ее нравственных основ, что этот социализм не только извне сдер-

* Кого (бог) хочет погубить, того он делает безумным (лат.).

живался могучими консервативными культурными силами, но и изнутри насквозь был ими пропитан; короче говоря, потому, что это был не чистый социализм в своем собственном существе, а всецело буржуазный, государственный, несоциалистический социализм. У нас же, при отсутствии всяких внешних и внутренних преград и чужеродных примесей, при нашей склонности к логическому упрощению идей и прямолинейному выявлению их действительного существа, социализм в своем чистом виде разрозся пыльным махровым цветом и в избытке принес свои ядовитые плоды. Вопреки всем распространенным попыткам затушевать идейную остроту нынешнего конфликта, необходимо открыто признать, что именно самые крайние из наших социалистических партий ярче и последовательнее всего выражают существо социализма — того революционно-бунтарского социализма, который выявил своей живой облик в 40-х годах. Ибо, с позднейшим проникновением социализма в широкие народные массы и превращением его в длительное партийное движение в рамках европейской буржуазной государственности, четкость и резкая выразительность этого живого облика постепенно стухедалась и смягчилась. Уже так называемый «научный социализм» содержал непримирную двойственность между разрушительным, бунтарским отрицанием культурно-социальных связей европейского общества и широко-терпимым, по существу консервативным, научно-эволюционным отношением к этим связям. Позднейшее же растворение социализма в мирное экономическое и политическое движение улучшения судьбы рабочего класса оставило от антинационального, противогосударственного и чисто-разрушительного существа социализма едва ли не одну пустую фразеологию, лишённую всякого действительного значения. Внешне побеждая, социализм на Западе был обезврежен и внутренне побежден ассимилирующей и воспитательной силой давней государственности, нравственной и научной культуры. У нас же, где социализм действительно победил все противодействия и стал господствующим политическим умонастроением интеллигенции и народных масс, его торжество с неизбежностью привело к крушению государства и к разрушению социальных связей и культурных сил, на которых зиждется государственность.

Против этого понимания причин нашей катастрофы нельзя возражать, в духе рассмотренного нами выше ходячего объяснения, указанием, что по существу своему русские народные массы совсем не подготовлены к восприятию социализма и по духу своему не социалисты. Конечно, наши рабочие стремились не к социализму, а просто к привольной жизни, к без-

мерному увеличению своих доходов и возможному сокращению труда: наши солдаты отказались воевать не из идеи интернационализма, а просто как усталые люди, чуждые идеи государственного долга и помышлявшие не о родине и государстве, а лишь о своей деревне, которая далеко и до которой «немец не дойдет», и в особенности столь неожиданно обращенные в «эсэров» крестьяне делили землю не из веры в правду социализма, а одержимые яростной корыстью собственников. Все это фактически бесспорно, но сила этого указания погашается более глубоким уяснением самого морально-психологического существа социализма. Ибо эта внутренняя ложь, это несоответствие между величием идей и грубостью прикрываемых ими реальных мотивов, столь драстически, с карикатурной резкостью обнаружившееся в наших условиях, с необходимостью вытекает из самого существа социализма. Революционный социализм, утверждающий возможность установления правды и счастья на земле механическим путем политического переворота и насильственной «диктатуры», социализм, основанный на учении о верховенстве хозяйственных интересов и о классовой борьбе, усматривающей в корыстолюбии высших классов единственный источник всяческого зла, а в таком же по существу корыстолюбии низших классов — священную силу, творящую добро и правду, — этот социализм несет в себе имманентную необходимость универсального общественного лицемерия, освящение низменно-корыстных мотивов моральным пафосом благородства и бескорыстия. И потому и здесь не следует умалять значения чисто-идейного и сверхиндивидуального начала: нас погубили не просто низкие, земные, эгоистические страсти народных масс, ибо эти страсти присущи при всяких условиях большинству людей и все же сдерживаются противодействием сил религиозного, морального и культурно-общественного порядка; нас погубило именно разнуздание этих страстей через прививку идейного ядра социализма, искусственное накаление их до степени фанатической иступленности и одержимости и искусственная морально-правовая атмосфера, дававшая им свободу и безнаказанность. Неприкрытое, голое зло грубых вожделений никогда не может стать могущественной исторической силой; такой силой оно становится лишь, когда начинает соблазнять людей лживым обличием добра и бескорыстной идеи.

Не подлежит, таким образом, сомнению, что революционный социализм, в своей чистой, ничем не смягченной и не нейтрализованной эссенции, оказался для нас ядом, который, будучи впитан народным организмом, неспособен выделить из себя соот-

ветствующих противоядий и привел к смертельному заболеванию, к гангренозному разложению мозга и сердца русского государства. Полное осознание этого факта есть существенный, необходимый момент того покаянного самопознания, вне которого нам нет спасения. Разрушительность социализма в последнем счете обусловлена его материализмом — отрицанием в нем единственных подлинно жидительных и объединяющих сил общественности — именно органических внутренне-духовных сил общественного бытия. Интернационализм — отрицание и осмеяние организирующей духовной силы национальной и национальной государственности, отрицание самой идеи права, как начала сверхклассовой и сверхиндивидуальной справедливости и объективности в общественных отношениях и национального государственности, отрицание самой идеи права, как начала сверхклассовой и сверхиндивидуальной справедливости и объективности в общественных отношениях и национальной государственности, отрицание самой идеи права, как начала сверхклассовой и сверхиндивидуальной справедливости и объективности в общественных отношениях и национальной государственности.

Но в одном отношении этот диагноз источника нашей смертельной болезни все же недостаточен, не проникает достаточно глубоко: он не объясняет, почему социализм в России стал таким всепокоряющим соблазном и отчего народный организм не обнаружил надлежащей силы самосохранения, чтобы нейтрализовать этот яд или извергнуть его из себя. Это приводит нас к более глубоко захватывающему вопросу об общей слабости в России духовных начал, охраняющих и укрепляющих общественную культуру и государственное единство нации.

IV

Этот вопрос предносится прежде всего в плане чисто-политическом. Почему оказались столь слабыми все несоциалистические, так называемые «буржуазные» партии в России, т. е. все политические силы, направленные на укрепление и сохранение государственного единства, общественного порядка и морально-правовой дисциплины? Оставляя в стороне все мно-

гообразии чисто-временных, с более глубокой исторической точки зрения случайных и несущественных партийно-политических группировок, можно сказать, что в России издавна существовали две крупные партии: партия либерально-прогрессивная и партия консервативная. Обе, как известно, в самый тревожный момент крушения русской государственности оказались совершенно бессильными.

Бессилие либеральной партии, объединяющей, бесспорно, большинство русских людей, объясняют теперь часто ее государственной неопытностью. Не входя в подробное обсуждение этого объяснения, мы должны признать его явно недостаточным: история знает, в моменты резких политических поворотов, немало случаев успешной государственной деятельности элементов, не имевших до того государственной опытности. Кромвель и его сподвижники вряд ли были до революции более опытны в области государственной жизни, чем наши либералы.

Основная и конечная причина слабости нашей либеральной партии заключается в чисто духовном моменте: в отсутствии у нее самостоятельного и положительного общественного мирозерцания и в ее неспособности, в силу этого, возжечь тот политический пафос, который образует притягательную силу каждой крупной политической партии. Наши либералы и прогрессисты в своем преобладающем большинстве суть отчасти культурные и государственно-просвещенные социалисты, т. е. выполняют в России — стране, почти лишенной соответствующих элементов в народных массах, — функцию умеренных западно-европейских социалистов, отчасти же — полусоциалисты, т. е. люди, усматривающие идеал в половине отрицательной программы социализма, но несогласные на полное ее осуществление. В обоих случаях защита начал государственности, права и общественной культуры оказывается недостаточно глубоко обоснованной — имеет значение скорее тактического приема, чем ясного принципа. Не будет философским доктринерством сказать, что слабость русского либерализма есть слабость всякого позитивизма и агностицизма перед лицом материализма, или — что то же — слабость осторожного, чуткого к жизненной сложности нигилизма перед нигилизмом прямолинейным, совершенно слепым и потому бесшабашным. Организующую силу имеют лишь великие положительные идеи — идеи, содержащие прозрение и зажигающие веру в свою самодовлеющую и первичную ценность. В русском же либерализме вера в ценность духовных начал нации, государства, права и свободы остается философски неуясненной и религиозно не вдохновенной. Давно ли вообще идеи раз-
дины, государства, порядка открыв-

лись русскому либеральному общественному сознанию, как положительные идеи? Для большинства — едва ли ранее начала этой войны, которая своей грозностью открыла глаза даже полуслепым и, вопреки всем привычным верованиям, принудила их просто непосредственно ощутить опасность пренебрежения к этим идеям. Но от такого непосредственного, грубо эмпирического ощущения ценности этих начал еще далеко до разумного понимания их значения и еще дальше — до живого духовного усмотрения их первичного, основополагающего смысла в общественной жизни. Вот почему, в борьбе с разрушающим нигилизмом социалистических партий, русский либерализм мог мечтать только логическими аргументами, ссылками на здравый смысл и политический опыт переубедить своего противника, в котором он продолжал видеть скорее неразумного союзника, но не мог зажечь огонь религиозного негодования против его разрушительных дел и собрать и укрепить живую общественную рать для действенного его искоренения. То, что теперь называют «государственной неопытностью» русской либеральной интеллигенции, состоит в действительности не в отсутствии соответствующих технических знаний, умений и навыков, — которые она в значительной мере уже приобрела в местном самоуправлении и парламентской деятельности, — а в отсутствии живого нравственного опыта в отношении ряда основных положительных начал государственной жизни. Вплоть до самого последнего времени наш либерализм был проникнут чисто отрицательными мотивами и чуждался положительной государственной деятельности: его господствующим настроением было будирование, во имя отвлеченных нравственных начал, против власти и существовавшего порядка управления, вне живого сознания трагической трудности и ответственности всякой власти. Суровый приговор Достоевского в существе правилен: «Вся наша либеральная партия прошла мимо дела, не участвуя в нем и не дотрагиваясь до него; она только отрицала и хихикала». Подобно социалистам, либералы считали всех управляемых добрыми и только правителей — злыми; подобно социалистам, они не создавали или недостаточно сознавали зависимость всякой власти от духовного и культурного уровня общества и, следовательно, ответственности общества за свою власть; подобно социалистам, они слишком веровали в легкую осуществимость механических, внешних реформ чисто отрицательного характера, в целительность простого освобождения народа от внешнего гнета власти, слишком мало понимали необходимость и трудность органического перевоспитания общества к новой жизни. Их политический

реализм обессиливался их совершенно нереалистическим моральным сентиментализмом, отсутствием чутя к самым глубоким и потому наиболее важным духовным корням реальности, к внутренним силам добра и зла в общественной жизни, к власти подземных органических начал религиозности и древних культурно-исторических жизненных чувств и навыков. И опять невольно вспоминаются слова Достоевского: «Реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой безумной фантастики, потому что слеп».

Что и консервативные силы русского общества оказались беспомощными в момент революции, это, в известном смысле, в порядке вещей и вытекает из самого существа революции. Однако нигде, может быть, консервативные слои, в течение десятилетий или веков стоявшие у власти, не обнаруживали такой степени бессилия, не теряли влияния так внезапно, бесповоротно и легко, как у нас. И когда продумываешь эту важнейшую проблему исключительного бессилия русского консерватизма, то за многообразием ближайших исторических и бытовых его условий и форм проявления чувствуешь некоторую первичную духовную его причину. Русский консерватизм опирался на ряд давних привычек чувства и веры, на традиционный уклад жизни, словом, — на силы исторической инерции, но он уже давно потерял живые духовные и нравственные корни своего бытия и не чувствовал потребности укрепить их в стране или, по крайней мере, не понимал всей ответственности и сложности этой задачи, всей необходимой органичности такого прорастания корней в живые глубины народной души. Россия имела немало нравственно и умственно глубоких, духовно одаренных консервативных мыслителей и деятелей, — стоит вспомнить только наших славянофилов. Но они оставались ненужными и бессильными одиночками, ибо господствующий консерватизм не хотел использовать их, чуждался их, именно как носителей живых, будящих общественное сознание идей. Русский консерватизм, который официально опирался и отвлеченно мечтал опираться на определенную религиозную веру и национально-политическую идеологию, обессилил и обесплодил себя своим фактическим неверием в живую силу духовного творчества и недоверием к ней. Самый замечательный и трагический факт современной русской политической жизни, указующий на очень глубокую и общую черту нашей национальной души, состоит во внутреннем сродстве нравственного облика типичного русского консерватора и революционера: одинаковое непонимание органических духовных основ бытия, одинаковая любовь к механическим мерам внешнего насилия

и крутой расправы, то же сочетание ненависти к живым людям с романтической идеализацией отвлеченных политических форм и партий. Как благородно-мечтательный идеализм русского прогрессивного общественного мнения выпестовал изуверское насильничество революционизма и оказался бессильным перед ним, так и духовно еще более глубокий и цельный благородный идеализм истинного консерватизма породил лишь изуверское насильничество «черной сотни». Черносотенный деспотизм высших классов и черносотенный анархизм низших классов есть одна и та же сила зла, последовательно выявившаяся в двух разных, но глубоко родственных формах и обессилившая в России и истинный духовный консерватизм, и неразрывно с ним связанный истинный либерализм. Единый дух зла и насилия, безверия и материализма в этих двух своих проявлениях вырвал корни народной души из единственной питательной почвы, обеспечивающей живой рост народной силы и жизни, из слоя подземной творческой духовности — и тем иссушил дух и тело народа, ослабил его внутреннее единство и сделал бессильным перед первой налетевшей на него бурей. И если в настоящий момент вопрос о будущей форме правления в России, поскольку ей суждено воскреснуть, сам по себе имеет не больше значения, чем вопрос о покрое платья, в которое нарядится умирающий, на случай своего выздоровления, то — при всей психологической естественности жесточайшей реакции после совершившегося — нельзя достаточно подчеркнуть, что смена политически-красного черносотенства восстановлением того же черносотенства политически черного оттенка была бы не выздоровлением умирающего, а лишь иною формой прежней смертельной болезни. Правда, народное сознание теперь уже никогда не забудет, что русский консерватизм, что бы ни говорить, некогда создал великое государство, а русский революционизм его быстро загубил. Но оно не забудет и того, что яд этого революционизма был выработан в недрах того же консерватизма через его нравственное разложение и что не только у этого разложившегося консерватизма не оказалось никакого достаточного противоядия, но что, наоборот, все его соки ушли на усиление этого же яда.

V

Что Россия не возродилась, как все о том мечтали, после революции, а, наоборот, погибла в процессе революции — в связи с сознанием, что начало этой гибели относится все же к эпохе «старого режима», — этот факт необходимо должен изменить наше господствующее понимание условий и источников народного

счастья и несчастья, процветания и крушения государства. Теперь уже неизбежно сознание, что не политические формы жизни как таковые определяют добро и зло в народной жизни, а проникающий их живой нравственный дух народа. Гений Пушкина некогда охарактеризовал Россию в горьких словах: «Нужно признаться, что наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствие общественного мнения, это циническое презрение к мысли и к человеческому достоинству действительно приводят в отчаяние». Если поверхностный либерализм всегда видел в этих словах осуждение определенной эпохи, определенного политического уклада или общественного слоя, то мы на тяжком опыте теперь убедились в гораздо более глубоком, сверхвременном и сверхполитическом значении этих слов. Солдаты, бежавшие с войны и распродававшие врагу вооружение и снаряды, выказали во всяком случае не меньшее равнодушие к долгу, чем чиновники Николая I; революция обнаружила не меньше цинического презрения к мысли и к человеческому достоинству, чем реакция, и общественное мнение в России демократической оказалось не сильнее, чем в России императорско-сословной. Не те или иные учреждения, формы правления и порядки социальной жизни являются последними, конечными причинами благополучия и силы страны или ее бедствий и слабости; и поэтому также те или иные политические партии, их программы и образ их действия суть скорее лишь симптомы и формы проявления сил, направляющих народную судьбу, чем самостоятельные творцы этой судьбы. То зло, которое мы усмотрели в популярности крайнего революционного социализма, в духовной дряблости и недалёковидности русского либерализма, в отсутствии духовно живого и нравственно просвещенного консерватизма, должно быть сведено теперь к своему первоисточнику.

Судьба народа определяется силами или факторами двух порядков: силой коллективного склада жизни и общественных отношений, общих исторических условий и изменений народного быта и силой верований, нравственных идей и оценок, коренящихся в народном сознании. В разрезе определенного момента исторической жизни силы этих обоих порядков находятся в теснейшем взаимодействии и взаимообобщении, и ни одна из них не может быть взята отрешенно от другой. Но в какой-то глубине народной души или народного характера обе эти силы имеют единый корень в некоем первичном жизненном чувстве и общем духовно-нравственном лике народа. Для наших целей — для нравственного самопознания национального духа — нет надобности поэтому останавливаться на

конкретных исторических, экономических, государственных и международных условиях, которые служили выразителями, носителями и пособниками этого нравственного духа в плане коллективного быта и внешней, исторической жизни. Достаточно через моменты верований и нравственных идей нащупать самое существо этого первичного общественного жизненности и найти в нем источник нашего национального заблуждения.

И тут существенно прежде всего отметить, что проявления болезни, столь бурно и остро обнаружившиеся в вихре смуты последнего года и более зоркими наблюдателями подмеченные уже в движении 1905—1906 гг., в менее заметной и более хронической форме обнаруживались уже давно, едва ли не в течение всего XIX века. Нигилизм, который с такой потрясающей силой разгорелся за последние годы и так радикально совершил дело, достойное своего имени, — обращение России в ничто, почти в пустое географическое название, — этот нигилизм неуклонно нарастал и развивался в течение всего прошлого века. Если мы в эпоху революции присутствовали при ужасающем упадке уровня общественного мнения, при головокружительной быстроте падения всего лучшего и возвышения всего худшего, то внимательный наблюдатель увидит в этом вихре лишь последний, стремительный и узкий круг того духовного водоворота, который уже давно захватил нас. В течение едва ли не всего XIX в. в общественном мнении укреплялось не лучшее и творческое, а скорее худшее, наиболее грубое, примитивное и разрушающее из умственных течений. Наши славянофилы были, конечно, духовно глубже и плодотворнее вытеснивших их западников, как западники 40-х годов — более значительны, культурны и духовно богаты, чем радикалы 60-х годов. Великие русские прозорливцы, как Пушкин, Тютчев, Достоевский, К. Леонтьев, Вл. Соловьев, задыхались в атмосфере окружавшего их пошлого и плоского общественного мнения. Из западных влияний в России наибольший успех имели всегда более плоские и притом именно отрицательные и разрушительные течения. Позитивизм, материализм, социализм — вот главные плоды нашего общения с Западной Европой, по крайней мере, начиная с 40-х годов; а анархизм в значительной мере является прямым созданием русского духа; тогда как такие явления, как христианский социализм, проповедь Карлейля или Рескина, национальные и религиозные движения на Западе, не находили никакого общественного отклика у нас. Русская интеллигенция не оценила и не поняла глубоких духовно-общественных прозрений Достоевского и совсем не заметила гениального Константина Леонтьева, тогда как слабая,

все упрощающая и нивелирующая моральная проповедь Толстого имела живое влияние и в значительной мере подготовила те кадры отрицателей государства, родины и культуры, которые на наших глазах погубили Россию. Тот семинарист, который, как передают, при похоронах Некрасова провозгласил, что Некрасов выше Пушкина, предсказал и символически предуготовил роковой факт, что через сорок лет Ленин был признан выше Гучкова и Милюкова (*toutes proportions gardées**). И не рукоплескала ли вся интеллигентная Россия цинически-хамскому бунтарству тех босяков и «бывших людей» Горького, которые через двадцать лет после своего столь шумного успеха в литературе успели захватить власть и разрушить русское государство? И, быть может, самым глубоким и общим показателем этой застарелой и тяжкой нравственной болезни русского национального духа является ужасающее общественное бессилие и унижение русской церкви — той церкви, которая не только имела когда-то великих святых и проявила великое духовное творчество, но и своею нравственной силой содействовала объединению русского народа и спасению его от татарщины и развала Смутного времени.

VI

Но именно понимание своеобразия этой нравственной болезни, сознание, что русский народ — не народ, нищий духом и лишенный творческого богатства, а народ, несмотря на свое непрерывное, доходящее вплоть до наших дней могучее духовное творчество, лишь потерявший способность использовать свое богатство и в своем общественном бытии расточающий по ветру это богатство и отдающий предпочтению худшему перед лучшим, злу перед добром, — это сознание должно привести к правильному и нравственно-плодотворному диагнозу болезни. Ужасная катастрофа нашего национального бытия легка, конечно, может породить в душах безнадежность и отчаяние; и уже слышны голоса безверия, утверждающие, что дух русского народа окончательно разложился и может отныне служить лишь удобрением для иных, более здоровых и сильных культур. Это безверие не только преждевременно и морально недопустимо, будучи равносильно отказу от борьбы с болезнью и согласию на национальное самоубийство; оно и чисто-теоретически есть слишком суммарное и поэтому поверхностное объяснение. Истинное существо нашей национальной болезни, столь страшный кризис которой мы переживаем, состоит не в том, что народный организм утратил свои духовные силы и потерял

* При сравнении одного с другим (фр.).

способность вырабатывать живые внутренние соки, питающие народные тела и дарующие ему внутреннее здоровье, единство и соразмерность жизни, а в том, что эти соки остаются неиспользованными, пребывают в бессильно-потенциальном состоянии, т. е. что парализована та сила, которая разливала их по всему организму и тем обеспечивала нормальное и интенсивное его функционирование. Как бы глубока и тяжка ни была наша болезнь, она есть все же лишь функциональное расстройство, а не органическое омертвление.

Как и почему случилось, что народ (понимая народ не в классовом, а в национальном смысле), прозванный народом-богоносцем, стал народом-нигилистом, кощунственно попирающим все свои святыни? Как случилось, что народ, не без основания прославленный за свою нравственную кротость и чистоту, стал народом-убийцей, народом неприкрытой корысти и всяческого нравственного распутства? Трудно определить, почему это произошло, но, быть может, возможно наметить, как это совершилось. В нашем национальном жизненочувствии давно уже назревал какой-то коренной надлом, какое-то раздвоение между верой и жизнью. Русское религиозное сознание постепенно уходило от жизни и из жизни, училось и учило терпеть и страдать, а не бороться и творить жизнь; все лучшие силы русского духа стали уходить на страдание и страдательность, на пассивность и бездейственную мечтательность. И параллельно этому вся действенная, жизненно-творческая энергия национальной воли становилась духовно непросветленной, нравственно необузданной, превращаясь в темное буйство злых страстей и бесплодно-отрицательного рассудочного умствования. Русский религиозный дух уже давно перестал нравственно укреплять народ в его будничной трудовой жизни, пропитывать нравственными силами земные экономические и правовые его отношения. И потому здоровый в основе реалистический инстинкт народа оторвался от духовного корня жизни и стал находить удовлетворение в неверии, в чисто-отрицательной освобожденности, т. е. в разнузданности мысли и чувства. Все лучшее, благородное и духовно-глубокое становилось мечтательно-бессильным, а все сильное и практически-действенное — темным и злым. Сантиментально-мечтательное бессилие устремленной к добру русской интеллигенции и разрушительная энергия нравственной развращенности реакционного и революционного черносотенства есть такой же показатель этой болезненной раздвоенности русского национального духа, как пассивная кротость, бездейственность и беззащитность доброго русского мучика и способность его же на темную

исступленность погромов и пугачевщины. Русскому идеализму во всех формах и сферах его проявления недостает нравственной серьезности волевой силы, мужественного чувства ответственности за жизнь, понимания трагической трудности осуществления идеалов и умения одолевать эти трудности. И наоборот, волевой энергии русского народа недостает облагораживающего и просветляющего сознания духовных основ жизни, смиряющего и отрезвляющего понимания ограниченного значения всех достижимых внешних изменений жизни и необходимой их связи с внутренним культурно-нравственным фондом народной жизни, с органическими корнями народной души.

Это понимание духовного источника нашей болезни указывает если не путь, то цель и направление необходимого и — веруем — еще возможного возрождения. Чисто-этически эту задачу можно было бы определить как пробуждение духовно умудренного и просветленного мужества — не разрушительной дерзости чисто-отрицательной самоичности и отщепенства, а творческого мужества, основанного на смиренном сознании своей зависимости от высших сил, укорененности в них. Нам недостает, в смысле личной культуры, духа религиозно-просветленной действительности — духа истинного рыцарства. С общественно-философской стороны этот идеал может быть понят как возрождение мечты славянофилов об органическом развитии духовной и общественной культуры из глубоких исторических корней всенародного религиозно-общественного непонимания — мечты, которую Достоевский позднее определил в понятии **почвенности**. Правда, уже у славянофилов этот идеал был отравлен и обессилен романтической мечтательностью, сантиментальным непониманием трудности и ответственности в будничных условиях политической и экономической реальности. Но по своему существу именно в этом идеале намечено единственно здоровое и оздоравливающее направление общественно-политической мысли и воли. Вся наша жизнь и мысль должна быть пропитана духом истинного, высшего реализма — того реализма, который сознает духовные основы общественного бытия и потому включает в себя, а не противопоставляет себе творческий идеализм внутреннего совершенствования. Для этого реализма общественным идеалом может быть не выдуманная, оторванная от жизни отвлеченная идея, извне вторгающаяся в жизнь и коверкающая ее, а лишь живая сила устремления, органически вырастающая из самой жизни и движения всенародного сознания, — сила, которая только потому способна творить новое, что укреплена в старом и неразрывно связана с ним. В учреждениях, нравах,

быте, имеющих историческое прошлое, он видит не зло, которое должно и может быть механически устранено и механически же заменено новыми, данным поколением придуманными формами жизни, а проявление и следы нравственного и духовного прошлого народа, которые могут изменяться и развиваться лишь через органическое перевоспитание и внутреннее совершенствование народной воли и мысли. Не в отрицании и нивелировании, не в упущении и рационализации, а, наоборот, в любовно-внимательном, бережном охранении и развитии всей органической сложности и полноты исторических форм жизни усматривает он путь к развитию культуры. Это развитие он мыслит поэтому только в конкретно-исторических, органически произрастающих из народной веры и воли коллективных единствах нации, государства, церкви. Лишь в таких непосредственных, не искусственно создаваемых, а исторически слагающихся и растущих формах жизни он усматривает проявление истинной народной воли, т. е. осуществление подлинного идеала демократии, как внутренней обоснованности общественных отношений и политического строя на живом духе, конкретных нуждах и идеальных устремлениях народа. Политическую деятельность как отдельной личности, так и всего народа он мыслит не как самоичное дерзание, руководимое преходящими нуждами мига и поколения, а как смиренное служение, определяемое верой в непреходящий смысл национальной культуры и долгом каждого поколения оберечь наследие предков, обогатить его и передать потомкам.

Осуществление этого идеала духовного единства и органического духовного творчества народа, идеала религиозной осмысленности и национально-исторической обоснованности общественной и политической культуры, конечно, предполагает какой-то нравственный сдвиг с мертвой точки, отказ от давнишних болезненных привычек и навязчивых идей расстроеной народной души в пользу здоровых и необходимых навыков нормальной жизни, открытие некой забытой правды — очевидной и простой, как всякая правда, и вместе богатой сложными и действительно-плодотворными выводами. Если наша общественная мысль, наша нравственная воля в состоянии осмыслить все совершившееся, если Божья кара поразила нас не для того, чтобы погубить, а для того, чтобы исправить, то в нашем церковно-религиозном и национально-государственном сознании необходимо должно созреть это оздоравливающее умонастроение. Тогда с пути хаоса, смерти и разрушения мы сдвинемся на путь творчества, положительного развития и самоутверждения жизни.

НЕ НАДО ЖАЛОВАТЬСЯ И ПЛАКАТЬ...



Худое ироничное лицо Улдиса Германиса уже промелькнуло на страницах некоторых книг, выпущенных эмигрантскими издательствами. Они в основном попадали в Советскую Латвию случайно. Столь же фрагментарным оказалось знакомство с газетой «Vīva Latvija» («Свободная Латвия»), в которой Германис чаще всего публиковался под именем др. Улафс Янсонс, неустанно, с завидным упорством излагая прочитанное в прессе Советской Латвии. Конечно, в собственной интерпретации. К сожалению, эта сфера деятельности Германиса не поддается пересказу. Вероятно, именно его неутомимость и трезвый ум более всего раздражали исследователей творчества Германиса в Риге — в «органах» и в Комитете по культурным связям с соотечественниками за рубежом. Улдис называется его «культкомом». Сравнительно недавно комитет переименован в «Tēvzeme» («Отчизна»). Слово, близкое сердцу любого латыша. Мне показалось особенно интересным обсудить роль этого комитета, а также газет «Dzimtenes Balss» («Голос Родины») и «Atbalss» («Эхо») в работе «органов» с латышским зарубежьем. Но Улдис Германис предпочел другие вопросы.

— Из какой семьи ты родом? Что предопределено наследственностью? Средой, временем, людьми!

— Я рижанин в третьем поколении, оба моих деда перебрались в город. Мой отец Янис Германис был актером, одним из пяти основоположников Национального театра. На открытии он играл Эдгарса в пьесе Блауманиса «В огне». Позднее — все главные роли во многих пьесах Райниса. Он был первым Иосифом, Тотсом, Винтсом, Ильей Муромцем. Мать пела в хоре Оперного театра, иногда исполняла небольшие партии для альта. Старшая сестра матери Алиса Брехмане была актрисой Национального театра, лучшая хозяйка Силмачей и Раудупиете всех времен. Младшая сестра матери — Мильда Брехмане-Штенгеле. Мы жили на улице Дзирнаву между улицами Антонияс и Вальдемара, Мильда — на улице Лазаретес. Я рос в обоих домах. Общество — актеры, певцы, художники. Говорят, я маленьким мальчиком, читать еще не умел, взбирался на стул и декламировал монологи из «Иосифа» и «Гамлета». Это все среда. Но я никогда не осмеливался принимать участие даже в школьных спектаклях, из-за отца, боялся провала. Мы с отцом говорили обо всем — не только об искусстве. О политике, истории — во время революции он в России устраивал спектакли для латышских стрелков и очень много о них рассказывал. Я сказал, что меня интересует история, отец одобрил мой выбор. Так я начал изучать историю в университете. Потом пришлось прервать учебу на два года, нужно было пройти обязательную военную службу.

— В 1940 году ты еще был студентом ЛГУ.

— Да, я уже почти сдал госэкзамены, когда произошла оккупация Латвии. Сталинское солнышко и у нас засветило. Нас, студентов последнего курса, собрали для изучения марксизма-ленинизма. Красный профессор Мишка и сталинская конституция — сталинский закон — были тут как тут. Мы не были приучены к такому порядку, нравилось язык распускать, зубоскалить. На семинарах задавал разные вопросы и в конце концов заслужил плохие отзывы. Я окончил два университета, но никогда ничего

не заучивал так хорошо, как тогда марксизм-ленинизм. Таким образом, в 1941 году я получил советский диплом. Собрал у других профессоров хорошие отзывы и через месяц начал работать в Институте истории научным сотрудником. Там я и работал до прихода немцев. Во время немецкой оккупации написал труд на степень магистра и получил другой диплом ЛУ, у меня их два, и советский, и настоящий. Немцы институт прихлопнули, и я два года проработал учителем истории и латыни во второй городской гимназии, но когда немцам пришлось похуже, они возобновили Институт истории, только под другим названием. Профессора Швабе назначили директором, и он пригласил меня ассистентом. Вторым ассистентом был Теодор Зейле, он остался в Латвии.

— Что означало для людей твоих лет создание латышского легиона! Вы все были молоды...

— Я был одним из тех немногих, у кого не было никаких иллюзий насчет исхода. Мобилизация мне угрожала уже в сорок третьем, но удалось выкрутиться. В августе 1944 года уже не было никакой возможности отделаться. Можно было лишь выбрать воинскую часть. В латвийской армии я был капралом в артиллерии. Но сказал, что хочу работать военным корреспондентом. Важно было обеспечить себе свободу передвижения, чтобы в нужный момент я мог ударить, куда надо. Но немцам в то время требовались землекопы, а не военные корреспонденты. И все же мне удалось уговорить их устроить небольшую письменную проверку — могли ли я написать с примерами из истории об одном большом государстве, которое находится в очень трудном положении и все-таки в конце концов выкарабкивается. Я сказал — конечно! Так с августа 1944 года до капитуляции Германии я был военным корреспондентом. Недолго побыл на Эстонском фронте, потом у Риги, потом на фронте у Балдоне. Отступал в Курземе (Курляндии) вместе с армейской группой, там и провел оставшееся время, кроме месяца в Германии. Под конец меня прикомандировали к генеральному инспектору легиона Бангерскому, сопровождать пожилого генерала в поездках.

Когда я из Риги ушел на войну, то в рюкзаке у меня с собой был штатский костюм. Я был готов быстро переодеться, документы в кармане и еще книга Швабе. 8 мая вечером я сел в лодку и переплыл, в самый последний день.

— Звучит очень просто — сел в лодку и переплыл. Насколько оживленным было «лодочное сообщение» в последние дни перед капитуляцией Германии!

— В Швецию лодки пошли еще в 1944 году. Часть латышской интеллигенции тогда уехала, но я был на фронте и в форме. В тот день после обеда из Лиепай отчалили всего три лодки. Нам сказали — есть один шанс из десяти, что мы переправимся. Я сказал — хорошо, мы берем этот шанс. Мы переправились в полном здравии и сохранности. Таким образом, с 10 мая 1945 года по сей день я живу в Швеции.

— Как вас встретила Швеция — единственная из скандинавских стран, которой во второй мировой войне удалось сохранить нейтралитет!

— Тогда над беженцами не было такой опеки, как сейчас. Мы были молоды, по-шведски не знали, выполняли простую физическую работу. Это было очень романтическое время. Я рассчитал так: чтобы вернуться к работе историка, мне надо еще раз окончить университет, а для этого необходимо свободное время. Чем заняться, чтобы оно было! Устроился официантом. Поначалу филонил как мог. Два раза меня вышвыривали из ресторанов за нерасторопность. На третий раз повезло — получил работу в ресторане с танцами, с восьми до двенадцати вечера, каждый пятый день свободен. Так я учился заново, историю сдавать мне было очень легко, но был еще такой комбинированный экзамен на степень магистра — география, основы государства, история. Потом перешел на работу в ведомство по образованию, позже получил степень лицензиата исторических наук, потом степень доктора. Так я стал шведским доктором исторических наук.

— На данный момент в эмиграции издано десять твоих книг. Как ты сам прокомментировал бы свою страсть к писательству!

— У меня была такая мысль — я стал свидетелем одного из самых трагических для нашего народа отрезков истории, надо бы описать пережитое в форме исторического романа. Но сначала была работа, потом учеба, жена, двое маленьких детей, к тому же нужно было писать на более актуальные темы, и так большой замысел все отодвигался. В 1983 году наконец собрался и за три с половиной года написал первую часть «Поднимись на башню». В романе Вальтера Скотта «Айвенго», любимом мной в детстве, к одной главе

эпиграфом поставлен текст Шиллера: «Поднимись на башню, отважный воин, и объяви, как идет бой!» В этом есть известная доля иронии, не надо ведь быть чересчур отважным, чтобы взобраться на башню, не правда ли! Ты понимаешь! Поэтому у романа такое название. Первая часть самая главная, она охватывает время с августа 1944 года до начала февраля. Вторая часть, которую пишу сейчас, о времени с февраля 1945 года до капитуляции. Это своего рода книга по истории, только написана с лягушечьей точки зрения — о двух военных корреспондентах, один фотографирует, другой пишет, как они воспринимают происходящее и что происходит с ними самими. Думаю, по обе стороны это первый и единственный роман за все послевоенное время, написанный абсолютно правдиво.

Более всего меня интересует история эпохи революции. Еще мальчиком я увлеченно слушал отцовские рассказы о стрелках. Я родился в то время, когда на фронт ушли первые батальоны стрелков, может быть, поэтому стал о них писать. Моя диссертация — о латышских стрелках и полковнике Вацетисе.

Писал короткую прозу, но мало. Многие литературные работы были созданы после путешествий. После того, как в 1966 году два раза побывал в Риге, написал книгу «Синие стекла, зеленые льды». Очень известная книга. Когда академик Вилис Самсонс пишет о курземских партизанах или о реакционной латышской эмиграции, почти всегда что-то цитирует из этой книги. Есть еще две в том же стиле — одна об Америке «С неба ничего не падает», вторая об Австралии «В дальних даялах, на просторе».

— Вопрос — как и почему возник др. Улафс Янсонс — ты сам уже предвидел и сразу же ответил на него в предисловии к книге «Свидетельства эпохи». Позволю себе довольно длинную цитату: «... ответ звучит, может быть, несколько странно: он возник по мнимой или надуманной необходимости. В одном из лагерей латышских беженцев в деревушке Седерок на юге Швеции в конце мая 1945 года несколько молодых людей решили выпустить лагерную газету «Сенсація Седерока», определив ее как социально-политическую эротическую газету в рамках приличий. Но когда руководство лагеря, в котором преобладало старшее поколение (ред. Артурс Кродерс и др.), захотело подвергнуть газету своей цензуре, они от своего замысла отказались. Но отказ был мнимым. Вместо лагерной газеты они издали «комнатную газету» с названием «Улыбка Седерока». Так как в Швеции ответственные редакторы газет [издатели] должны были быть подданными этого государства, то... образ ответственного редактора ре-

шили создать на основе личности бывшего военного корреспондента Улдиса Германиса. Так как его отец был Янис, то редактор вполне естественно получил фамилию «Янсонс»; Улдиса в спешке переделали на шведский лад, и получилось «Улафс», а степень магистра подняли до «др.» в уверенности, что со временем он все равно им станет». Какой он и к чему стремится, др. Улафс Янсонс! «... Можно сказать, что в известной степени он является модернизированным и урбанизированным вариантом Пиетукса Крустыньша». Улафс, так же как и Пиетукс, хочет «вести народ через пустыню развития к солнечным вершинам просвещения...» Однако, будучи результатом диалектического развития, Улафс Янсонс в то же время выступает против национального духа, предвещенного полюбившимся ему предком. Идеал Улафса — это национальный дух, который основывается на понимании латышской культуры и истории и поэтому незыблем, и само собой разумеется, что латышу вообще не пристало лишиться раз об этом говорить, это не предмет ни гордости, ни стыда. Иными словами, это стабильный осознанный национализм культуры, из которого, в свою очередь, вытекают определенные и четкие национально-политические цели и требования.

Далее, не следует упускать из виду, что др. Янсонс родился во время большой национальной катастрофы — в 1945 году. Наши люди были потрясены, сбиты с толку, дезорганизованы и дезориентированы. В нашем обществе процветало мышление категориями желаний, в нашей литературе преобладали мотивы боли, страданий и стенаний. А Улафс не захотел с этим смириться. С самого начала эмиграции, или изгнания, он стал противником как мышления категориями желаний, так и слезливости, ахов и охов. Таким образом он встал в оппозицию по отношению к большей части общества. Никакого признания это ему, конечно, не могло принести. Он сам это прекрасно осознавал, но насколько не унывал. Он тогда был молод, упрям и уверен в правильности «своего дела».

Др. Янсонс думал, что следует критически оценить наше прошлое, надо реально смотреть на настоящее и делать соответствующие выводы, надо бороться с непрофессионализмом и дилетантством в деятельности эмиграции, надо собирать информацию о событиях на родине и задумываться на будущее. Жалобам, плаксивости и безропотному смирению тут не место. Чтобы это осуществить, латышам нельзя было терять способности смеяться и шутить, потому что люди, которые могут посмеяться над свои-

* Персонаж романа бр. Каудзите «Времена замлемеров» [прим. ред.].

ми недостатками, не побеждены и непобедимы.

Др. Янсонс охотник за словами и выражениями. Он их собирает, оценивает, комбинирует с большой тщательностью и серьезностью, потому что по сути он очень серьезный человек.

Много сил он посвятил изучению латсовязька и овладел им настолько, что может на нем свободно изъясняться устно и письменно...

При всем своем усердии и глубокой серьезности, др. Улафс Янсонс все же никакой не «положительный герой»... В его характере в утрированном виде представлены все те способности и смешные черты, которые временами можно увидеть в наших общественных деятелях, титанах духа («Geisteszürst») и людях с образованием. Академическое зазнайство и заносчивость, фальшивое подобострастие, плохо скрываемое тщеславие, гордость и спесивость, а также ярко выраженное стремление к самолюбованию и самовосхвалению. Все это наглядно проявляется в том, как он подписывает свои сочинения. Несколько примеров:

«Великий сын латышского народа, многославный патриот».

«Могучий судьбоносный дуб изгнания».

«Мудрый толкователь знамений, великий гуманист».

«Плетущий народный венок, вещий жрец».

«Каменщик духовного здания латышского народа».

«Ответственный науч-культ-лит-сотрудник».

«Прокурис (полномочный знаток) советских противоречивых процессов».

«Межнациональный этнофил».

«Пионер разоблачения интернационализма».

«Чуткий уловитель веяний родины...»

Улафс Янсонс увлекается политической поэзией. Запомнить имена ген- и других -секов и их длинные речи трудно. Выручает Янсонс. Например, др. У. Я. зарифмовал доклад члена Политбюро и секретаря ЦК тов. Константина Устиновича Черненко на пленуме ЦК КПСС 14 июня 1983 года.

— В одной из своих самых популярных книг «К сведению» ты пишешь: «Мы такие, какими нас сделали история и постоянные удары судьбы. Если бы был некий «суд истории», то он, наверное, наш народ во многом оправдал бы. Но это мало что дало бы нам, как нации. Намного важнее осознать свои ошибки и слабости, размышлять и делать разумные выводы».

— Как жилось соотечественникам в Латвии, и ты, и я очень хорошо знаем. Преемственность культуры была нарушена, людям недостает знаний о своей собственной культуре, истории.

Я не хочу никого упрекать, но это очень чувствуется при встрече с гостями из Латвии. Конечно, комплекс неполноценности прививался сознательно — вы никогда никем не были и не будете, единственный выход — слиться воедино. Иногда я задаю приезжим несколько невинных вопросов, например о литературе. Надо сказать, к сожалению, знания признанных сегодня в Латвии работников культуры тоже довольно-таки слабые.

Я принадлежу к тому необыкновенно счастливому поколению, которое все образование, начиная с начальной школы и кончая университетом, получило в свободной Латвии. Нас осталось немного. В нас не было ничего ни русского, ни немецкого, мы были намного терпимей, чем старшее поколение, которое страдало и боролось и у которого было смертельное неприятие всего немецкого или русского. Мы росли свободными и могли получить совершенно латышское образование.

Теперь, в первую очередь, надо осознать нынешнюю ситуацию — почему мы такие, какие есть, почему у нас эти недостатки (в них, правда, никого нельзя винить, это обусловлено исторически). По-моему, по возможности большему числу латышей надо бы дать возможность критически осознать свою историю, и по мере понимания будет меняться сознание и поведение людей. Я пытался внушить эту идею эмиграции, думаю, она сыграла свою роль в том, что у латышей в эмиграции развилась такая потребность в культуре — человек не живет хлебом единым, ему необходимо также духовное удовлетворение. Сейчас в Латвии самое важное — это просветительская работа.

Я старался подчеркнуть, что часто разные дела мы оценивали не с точки зрения латышей. К тому же этот дурацкий респект по отношению к чужим господам — премудрость их велика... Когда Густав II Адольф около 1617 года унаследовал шведский трон, ему было всего-то семнадцать лет, и он со страхом думал, как ему теперь править государством. Канцлер государства Уншель, который был на одиннадцать лет старше его, сказал знаменитые слова: если бы ты только знал, мой господин, сколь неразумно правят миром!

— Ты все еще думаешь, что «большинство латышей слабы в политической мысли и оценке и предаются мышлению категориями желаний»!

— В теории мы слабы потому, что раньше не было возможности для ее развития. Это исторически обусловлено. И в более свободных условиях, начиная со второй половины прошлого столетия, всегда нужно было думать, как устроиться практически. Изучать теоретические предметы — гуманитарные науки, философию, политэкономия — ну, это для больших

господ, они могут себе это позволить. Первыми латышскими академиками были пасторы и врачи. Потом еще адвокаты и инженеры. Мы деятельны и очень активны. Если нам дать немного воли и возможности действовать, то мы, латыши, достигаем чрезвычайно больших успехов. Но если нас ставят в сложную ситуацию, порой теряемся. Есть ситуации, когда ничего не сделаешь, когда умнее быть пассивными. Ведь многие хлебнули горя из-за необдуманных поступков. У Гамлета есть прекрасная реплика: чрезмерное стремление действовать зачастую очень опасно.

Ситуация во второй мировой войне была мне совершенно ясна, и я отказался принимать участие в чем бы то ни было. Но многие латыши предавались мышлению категориями желаний и сами себя зазря приносили в жертву. После приезда сюда тоже зачастую можно было услышать: сейчас поеду домой, и так далее. Я им говорил — домой вы можете ехать, но не забудьте, что вы едете в оккупированную Латвию, никакой третьей войны не будет. Для таких речей меня тогда считали слишком молодым и говорили — что этот бывший военный корреспондент мелет! Я отвечал, что, очевидно, нам придется наше время прожить здесь, но мы можем работать и действовать на благо будущего. Только без глупостей.

Короче говоря, мы сильны там, где есть возможность свободно, практически работать, действовать. А в теории, хитрости и жульничестве мы слабы. Меня это сильно раздражало. Я написал небольшую брошюрку «Нужно ли латышу быть наивным!» Нигде не сказано, что нужно. Поэтому эти соглядатаи и стукачи в Риге недовольны тем, что я довольно верно написал о многих вещах. Тех, кто регулярно анализирует и оценивает ситуацию в Латвии, по эту сторону немного, трое-четверо, но этого достаточно. Между прочим, журнал «Коммунист Советской Латвии» читаю с 1956 года, являюсь подписчиком, так что ошибки и неудачи прошлого мне известны. Человек, не знающий истории своего народа, неразумен, как ребенок.

— И с ним, соответственно, можно обходиться как с ребенком...

— Надо осознать, что прот и в нас работали с необыкновенным бесстыдством и хитростью, и это продолжается.

— Что ты думаешь по «вопросу веры»? Тебя не смущает тот факт, что после всего пережитого статистический латыш готов верить в так называемые светлые силы Коммунистической партии! Как только барин перестал стегать плеткой, так барин снова хороший.

— В Латвии, как и в любом обществе, среди коммунистов были честные и действительно светлые люди. Очень трудно признать свои ошибки,

тем более если они растянулись на всю жизнь и фактически были ее содержанием. Если человек способен это признать, значит, он чрезвычайно сильная личность. Таков Эдуардс Берклавс.

У шведов были такие восторженные коммунисты. Один из них только что выпустил книгу, он признает, что жизнь изгажена, что служил злой силе.

Некоторые люди как флюгер, в них никогда нельзя быть уверенным. За ошибки людей нечего судить, если они хотят работать в другом направлении, пусть работают. Только всегда существует этот вопрос — что они будут делать, если времена изменятся? Потому что есть люди, которые во что бы то ни стало хотят держаться на поверхности.

Латыши должны вновь осознать себя как нация, понять, что, тесно сотрудничая друг с другом, своими силами мы можем свершить большие дела. Использовать надо всех! Я не поклонник Ульманиса, но у него была хорошая мысль: какая глина есть, такую и надо месить.

У латышей в большой мере сломлена вера в свои силы, поэтому они охотно поддаются мысли о суперзначении Балтийского вопроса в глазах Запада — снова надежде на других.

— Это большое несчастье, на других не надо надеяться ни в чем. Но мы также не имеем и права сдаваться. Нам старались привить чувство неполноценности — вы, маленький народик . . . Я о своем народе никогда не говорю — маленький народик. Мы народ. Маленький, большой — понятия относительные. Все зависит от обстоятельств. В 1917 и 1918 годах латыши правили всей Россией, судьба всего государства зависела от них. Такое не повторяется, но появляются другие возможности. Если мы сами трудимся — и это видно в эмиграции — то довольно малыми силами способны сделать многое, ничего не ожидая со стороны. С течением лет латыши, например в Швеции, в некоторых вопросах добились очень большого влияния. Может, это не так явно, но фактически так.

Соответствующие органы все время присылали к нам «посланников культуры», чтобы нас утихомирить, не критикуйте, мол, это не на пользу, будьте лояльны, пропагандируйте на Западе советские достижения! Вот как наша культура цветет, читаем стишки или напеваем. Но если просить кого наедине, почему вы так и так, сразу духом падают — ну, что мы, мы ведь ничего не можем, мы маленькие . . . Мне случилось это слышать от ваших корифеев . . .

Вопрос чисто практический: как вернуть самосознание! Мы в эмиграции сумели его сохранить. Мы чрезвычайно трудно и упорно работали,

пытались углубить знания по всем важным для нас вопросам. Мы добились уважения в глазах нелатышей. Только знания дают уверенность и силу.

— В то же время нельзя игнорировать и ситуацию в хозяйстве — она толкает латыша придерживаться старого идеала — просто более обеспеченной жизни. Тут некого упрекать. Старые мечты по «своему уголку, своему клочку земли» сохранились до конца XX столетия.

— Латыши все время жили в бедности. Нас огорчает тот материализм, который так и прет из наших гостей. Все время по магазинам, в поисках вещей, которые, например, мы не покупаем. Они удивляются — как, у вас нет машины! Я отвечаю — автомобиль меня никогда не интересовал, у меня есть книги!

Мы не успели отъесться в то латвийское время, оно было слишком коротким. И тоска по материальному благополучию сидит глубоко-глубоко внутри. Хотя и от людей что-то зависит. В 1945 году, когда мы высадились в Калмаре, магазины были полны, несмотря на то, что и шведам приходилось трудновато с товарами. Мы шли по улицам, и некоторые женщины в восторге останавливались у витрин, восхищались и ломали руки. Я рассердился и сказал — ну что вы удивляетесь, ведь у нас в Риге тоже лавки были полными, что тут особенного, ведь у них войны не было. Материализм опасен, если это единственное, к чему стремится человек. Фактически, латыши отброшены назад в своем развитии более чем на сто лет.

— И сознание латышей в известной мере задержалось в романтизме XIX столетия.

— Нужны также и эмоциональные ресурсы, но они не дают народу и государству необходимых жизненных оснований. У нас, латышей, с одной стороны, есть образ лирического героя, который поет и так далее, с другой стороны, образ деятеля — которому побольше бы заграбастать! Каждому народу необходимо известное время, чтобы развить более глубокую культуру. И политическую тоже. Государства, народы, у которых была счастливая возможность развиваться в более спокойных условиях, обычно достигают известного уровня благополучия, на основе которого строится все остальное. И духовная сторона жизни тоже. В таких государствах обычно есть слой патрициев, старых родов, которые, как меценаты, поддерживают все дальнейшее. Наше время было слишком недолгим, чтобы успеть дойти до такой благоприятной ситуации. Тут нечего жаловаться или волноваться, такова реальность.

— Каковы, по-твоему, ближние и дальние перспективы!

— В Советском Союзе сейчас эко-

номический, финансовый и экологический крах. Я не думаю, что Москва допустит атаки реакционных сил на Балтию. Когда я читаю шведам лекции и они меня спрашивают о видах на будущее, я, как старый марксист-ленинист, отвечаю: классики марксизма учат, что общественная система, которая становится тормозом экономического и вместе с тем и другого развития, обречена на гибель, тут ничего не поделаешь. Это происходит не сразу, и по мелочам трудно прогнозировать. Решив распрощаться с Улафсом Янсонсом, я написал последнюю статью «Что произойдет!». Так как ничего существенно изменить невозможно, будет продолжаться суэта, работа вхолостую, и в тупик загнанная антицивилизация будет содрогаться в агонии. Уже в 70-е годы было ясно, что Советский Союз идет к краху. Имантс Лещинскис, который перебежал сюда, говорил — тут уже ничего не спасешь. Это надо пережить, и мудро пережить . . .

— Осознает ли эмиграция реальное положение латышского народа в Латвии!

— Эмиграция — понятие абстрактное.

— А ты!

— Да, думаю, что осознаю.

— И какой выход ты предлагаешь . . .

— . . . просвещение. Это то, что можно делать реально.

— Значит, люди, которые сейчас образуют латышский народ, в известной мере служат изоляционной лентой между порванными проводами — лучшими и более благоприятными временами для народа!

— К сожалению, есть поколения, обреченные на это. Мое поколение — мне посчастливилось свою молодость прожить очень хорошо. Потом нам было чрезвычайно тяжело. Все же я лично старался работать с радостью, не со злобой или выпученными от натуги глазами. Совсем наоборот — с наслаждением, с радостью! Это и придает духовные силы.

Я ведь боролся против оханья и жалоб. Приезжают в Америку эти хоры и поют, и многие из эмигрантов плачут. Я спрашиваю — почему вы плачете! Черт побери! У меня слезы не текут. Тогда после первого посещения Риги в 1966 году уезжал — на пароходе «Миша Калинин» стоят латыши и утирают слезы, и те, что на берегу, тоже плачут. Это меня так заело! Я только что видел все это свинство . . . Дочь ко мне подошла и говорит — папочка совсем не плачет! Я ответил — дочка, тут плакать нечего! Тут только по морде! Только по морде!

УЛДИСУ ГЕРМАНИСУ
в сентябре 1989 года в Стокгольме
вопросы задавала
РУДИТЕ КАЛПИНА



Святыня в Герасимовке.

Фотохроника ТАСС, 1932: счастливые крестьяне стоят в очереди, чтобы записаться в колхоз.



ДРУГИЕ ПОДВИГИ МОРОЗОВА НА БУМАГЕ И В ЖИЗНИ

Литературные источники единодушны в том, что героический период жизни мальчика Морозова начался после доноса на отца. Желание авторов растянуть это время понятно: чем дольше герой совершает подвиги, тем выше его заслуги. В большинстве источников два суда над Трофимом — и, следовательно, первого подвига Павла — отсутствует. Второе издание Большой советской энциклопедии указывает на 1930 год («разоблачил своего отца»). Однако след-

ственное дело № 374 содержит три более весомые даты начала доноительства Морозова. «В ноябре месяца 1931 года выказал своего родного отца». И даже еще точнее: «25 ноября 1931 года Морозов Павел подал заявление следственным органам о том, что его отец...» Там же героический период определяется так: «на протяжении текущего года...», то есть только 1932 год. Учительница Кабина сказала, что суд над Трофимом был в начале 1932 года.

Наиболее авторитетной для отчета представляется дата регистрации первого доноса 25 ноября 1931 года. Тот, кому Павлик донес, оставался в деревне несколько дней. Затем прошло еще три или четверо суток, пока

отца арестовали. Следствие продолжалось три месяца. Трофим жил до суда в деревне еще три дня. И так, между доносом и судом прошло не менее трех с половиной месяцев. Следовательно, суд состоялся в марте 1932 года. Выходит, героическая деятельность пионера Морозова продолжалась с марта по начало сентября — не более шести месяцев.

К суду в деревне уже знали, кто донес на Трофима. С легкой руки деда юного секретного агента прозвали «Пашка-куманист» (то есть коммунист) и кидали в него камнями. Его ругала и стыдила родня. Дедушка Сергей, с которым до этого жили одной семьей, после суда над сыном Трофимом перестал не только помо-

(Продолжение. Начало см. в № 4).

гать, но и пускать невестку и внука к себе во двор. У отца решением суда конфисковали имущество. Сделали это в старой семье, так как в новой у него ничего не было. Таков был непредвиденный результат доноса: Татьяна с детьми осталась уже совсем нищей. Она вынуждена была резать и сдать государству единственного теленка. Детей ей было кормить нечем. Дома стало тяжело.

Авторы с удовольствием сообщают нам подробности нового этапа жизни юного доносчика. Уполномоченного, с которым Павлик имел дело, повысили в должности, и тот уехал. Теперь Морозов целыми днями торчал в сельсовете, слушал, о чем там говорят. «Каждый новый приезд работников из района, разговор с ними все больше воодушевлял Павлика Морозова», — пишет Соломеин в газете «Всходы коммуны». В книге он отмечал скромность мальчика: «Павлик не понимал еще всей важности своего героизма».

Зато после успешного первого доноса мальчик ощутил себя в новом качестве. Соломеин пишет: «Наутро, по дороге в школу, Павка, проходя мимо двора Кулукановых, услышал какой-то разговор. Он притаился у ворот. Он подслушивал, о чем говорят люди, собравшиеся кучкой, заглядывал в щели, выясняя, что происходит за заборами. «Нынче стены ушатые», — твердил соседям его дед. Дядя Кулуканов называл Павлика «первейшим соглядатаем на селе». Слово «соглядатай» употреблено в Библии. Оно означает не просто добровольного доносителя, но человека, который выполняет поручения.

Разумеется, мальчиком руководили взрослые, он оказывался пешкой в играх личных и политических. Сперва в конфликте матери с отцом, потом — деда и родных с матерью, наконец — крестьян с советской властью. Но если верить сочинениям советских авторов, он был не пассивной пешкой: он сам хотел делать ходы.

Уполномоченные в деревне что-то искали. «Павлик-активист тут как тут на страже интересов соввласти, он донес об этом», — говорил на суде Урин, представитель Уральского обкома комсомола. Павлик появлялся на обысках первым, как и полагалось наводчику. «Его глаза — как стрелы», — писал поэт Боровин. «И когда дед Паши, Сергей Морозов, укрыл кулацкое имущество, — писал корреспондент газеты «Уральский рабочий» Мор, — Паша побежал в сельсовет и разоблачил деда».

В деревне начали распространять облигации госзайма, которые никто не хотел покупать. Павел якобы пошел по избам и не уходил, пока не брали. А так как крестьяне его боялись и не хотели связываться, то подписывались на заем. После каждой успешной операции «Павлик чувство-

вал себя на седьмом небе», — добавляет Соломеин в книге «Павка-коммунист». «Павлушка еще больше начинал работать», — написано в Бюллетене ТАСС.

Не зная, что писать об убитом вместе с Павликом Феде, авторы сделали и его соглядатаем. «Паш, а Паш, а я тоже не спал, — раздался шепоток Феде. — Тихо! — предупредил Павлик Федею. — Завтра поговорим». Если брат Феда помогал Павлику в работе, становится мотивированной и его убиство вместе с братом. Федор и раньше охотно доносил матери на отца — где и с кем он проводит время, и, по мнению Смирнова и Губарева, мать поощряла Федора в этих делах. Теперь Павлик использует Федора как личного осведомителя для мелких поручений. К Павлу в деревне относились с подозрением, мужики умолкали, когда он подходил, а через восьмилетнего Федора легче было узнать, где что творится. Федор исправно доносил брату, а тот дальше — властям.

Ночью, когда Кулуканов прятал хлеб, чтобы не отобрали, Павлик шмыгнул к двери, Федор с ним. Он помог определять по теням, что за люди и куда прятали хлеб. На этот раз, если довериться фантазии нескольких сочинителей, Павлик облек Федора особым доверием: донесли они вместе. Днем к Кулуканову, крестному отцу Павла, явились вооруженные люди, яму раскопали, хлеб вывезли.

В книгах читаем, что Павел выполнял государственную задачу — выявлял в деревне кулаков. Сложность состоит в том, что критериев, кого считать бедным, а кого кулаком, в те годы не было. Судя по газетам тех лет, число кулаков увеличивалось день ото дня. Так что чем больше Павлик доносил, тем больше доносов требовалось.

Учительницу также обязали участвовать в этой политической кампании. Дети наивнее, чем их родители, и у них можно выпытать, что происходит дома. «Районное руководство поручало через детей выяснять, кто сколько прячет хлеба», — рассказывает учительница Кабина. В Тавдинском музее хранятся воспоминания одноклассницы Павлика Морозова Анны Ермаковой: «Под руководством нашей любимой учительницы Зои Кабиной и Павлика мы узнавали, кто и где прячет хлеб». Учительница получала от уполномоченного список «на выявление». Это был прикидочный список: кто, по данным, поступившим через осведомителей, а также по подозрению районного руководства, мог прятать зерно. Учительница спрашивала детей на уроках, просила выяснить и ей сообщить. Не все дети соглашались, но Павлик всегда сообщал больше других.

Юному доносчику становилось известно и многое другое, например

то, что Кузьма Силин и Петя Саков накануне выборов выбили стекла в сельсовете, а в избе-читальне расстреливали из рогаток портреты вождей. Имеются строки, записанные со слов односельчан и учительницы, что Павлик провоцировал детей доносить на своих родителей ему.

Авторы книг о Павлике Морозове изобретали новые и новые способы доносов для своего героя. Так, Павлик якобы предложил друзьям доносить коллективно. Повесить ночью плакаты на воротах: «Здесь живет злостный зажимщик хлеба такой-то». Где вешать, указывал он сам. Заодно мальчик отмечал, зачем люди собираются, где молятся, что поют. На собрании в школе, пишет журналист Смирнов, Павлик говорил: «Мы сами знаем, наверное, все кулацкие ямки. А молчим. Как воды в рот набрали». «А что же мы должны делать?» — спросил Яша Коваленко. «А вот хоть ямки показывать. Узнал, где хлеб зарывают, приметил — сообщай мне или прямо председателю сельсовета»: Миша Книга сказал Павлику, что мать велела ему переписать «святое письмо». «Ты скажи ей, перепису, мол, — посоветовал Павка, — а письмо это отдай мне». Это рассказывает Соломеин. Дети колебались, некоторые советовались с родителями и отказывались доносить, другие из страха соглашались. Жители деревни отвечали школьникам-доносчикам ненавистью. Их били, на них натравливали собак, гоняли палками. Позже в статьях и книгах это стало называться «разгорающейся классовой борьбой в деревне».

Павел ходил под заборами, разведывал, кто что несет, где кладет, с кем делит. Он уже, если верить Соломеину, и уполномоченным недоволен: «Приезжал какой-то Светлов, наделал перегибов и сбежал». (Светлов — имя тоже вымышленное). Мальчик решает писать сообщения, минуя деревенского уполномоченного, прямо в район.

Его отговаривали, предупреждали. Из соседней деревни приехал дядя Иван, брат Трофима, кандидат в члены партии, пытался поговорить с Павликом: «Погубил отца, теперь хочешь погубить дядю и деда. Зачем сказал, что они рожь увезли и разделили? Зачем не держишь свой долгий язык за зубами?» Ему делали мелкие гадости: то в котелок с ухой соли насыпят, то головешкой тлеющей ткнут, то водой обольют, чтобы погугать.

Его стали звать «красноярпочником», «краснодранцем», а его мать «вшивой комиссаршей». Павлик держал в руках деревню, и, по версии Соломеина, мать его поощряла. Утром она сказала Павлу: «У Силина картошку нагребают... На базар повезут...» Павел пошел в школу и по дороге заглянул к уполномоченной, донес на своего дядю. Уполномоченной в деревне тогда была Марина

Янковская, носившая мужскую одежду, сапоги, пистолет. Она явилась к Силину с обыском. Все, что было, отобрали и вывезли на четырех подводах. А вот рукописная запись показаний очевидцев, сделанная Соломеиным: «Жена Силина сообщила по секрету Татьяне, что на возу картошка приготовлена для продажи. Как узнал Пашка, не утерпел, побежал к уполномоченной. «Тут картошку кулаки продают, а вы шляпите... Хлеб прячут... Вон мой дядя Арсюха Силин сегодня ночью...» Часов в десять к Силину пришли с обыском... Силин закричал: «Не разрешаю!..» «А мы и без разрешения поищем», — сказала молодая женщина, уполномоченная райисполкома. «Не пуцу!» — заорал Силин и стукнул ее по лицу. Она упала. Ванька Потупчик уже шарил под крышей... Через час увезли два воза пшеницы и воз кож и овчин».

Мать знала о деятельности старшего сына — в этом нет сомнения. В протоколе допроса 11 сентября 1932 года читаем: «Мой сын Павел, что бы этого ни увидел или услышал про эту кулацкую шайку, он всегда доносил в сельсовет и другие организации...» Она не только поощряла его, но и доносила сама. В приговоре суда об убийстве Павлика говорится: «О краже Кулукановым снопов Павел сказал своей матери, а последняя заявила сельсовету».

Угрозы только расплаляли Павлика. «Он, — гордо написано в книге поэта Боровина, — не щадил и не боялся никого». В деревне все давно перероднились, а сверху требовали делить народ на классы, на своих и врагов. Для него этой трудности не существовало; никаких личных симпатий, все были врагами. И чем больше ненавидела его деревня, тем чаще ходил он к уполномоченному, который записывал, поощрял, принимал меры.

Павлик начал собирать информацию на тех, у кого было оружие. Охотились в деревне многие, и никогда это не запрещалось. Он узнавал не только у кого есть ружья, но и у кого они заряжены. «Паша сам проводил милиционера Титова до шатраковского дома, — писал в книге Яковлев. — Ищите на чердаке ружье или под печкой». На кого Морозов донес, что есть ружье, не ясно. По разным протоколам допросов — на разных лиц и даже... на группу классовых врагов с ружьями.

Герасимовцы не хотели вступать в колхоз. Старые люди говорили: кто вступит, тот лишится благословения Господня. Чтобы загнать людей в колхоз, весной в деревню приехала целая бригада. «На собрание, — рассказывали Соломеину очевидцы, — долго агитировали председатель сельсовета и особенно уполномоченный райкома. Молчали герасимовцы. Ни за, ни против». В прессе к этому присочиняется следующее: вдруг встает Павлик Морозов и начи-

нает указывать на крестьян, у которых остался хлеб. «Уполномоченный что-то быстро записывал в карманную книжку и одобрительно улыбался», — пишет в книге журналист Смирнов. В газете «Пионерская правда» он же добавляет подробности: «А рука Павлика продолжает гулять по головам мужиков: «У тебя есть хлеб. У тебя», — как приговор чеканит слова Павлик. Из стороны в сторону он протягивает свою маленькую, еще детскую, но твердую и мужественную руку и разоблачает всех, кто является врагом советской власти». Чувство меры явно изменяет верноподданному автору: речь-то идет все-таки о ребенке?

Павел уже открыто следит за всеми. В школу ходить перестал, некогда. В деревню приезжали из леса ссыльные кубанцы поменять оставшиеся вещи на хлеб. Если мальчик узнавал, где они остановились, сразу спешил заявить. Павлик пытался сам разыскивать бежавших ссыльных, чтобы сообщить о них. Что в этих сообщениях имеет хоть каплю истины, вряд ли удастся установить. В книге писателя Яковлева говорится: так и надо учиться коммунизму. И Павлик учился. Как говорит поэт Боровин, защищая коммунизм от врагов, «их сумел он донага раскрыть». В речи на суде, опубликованной в газете «Тавдинский рабочий» 30 ноября 1932 года, обвинитель журналист Смирнов так сформулировал список жертв Морозова: «Павлик не щадит никого... Попался отец — Павлик выдал его. Попался дед — Павлик выдал его. Укрыл кулак Шатраков оружие — Павлик разоблачил его. Спекулировал Силин — Павлик вывел его на светлую воду. Павлика вырастила и воспитала пионерская организация». «Пионерская правда» добавила в эту речь Смирнова о Павлике заключительную мысль: «Из него рос недюжинный большевик». Весь этот абзац Соломеин переписал в свою книгу «В кулацком гнезде» без ссылки на автора.

Деревня бурлила. Семья доношительства проросло и дало плоды. Соседи указывали на соседей, спеша опередить чужие доносы. Поняв, что с мальчиком совладать невозможно, и, согласно литературным версиям, кроме как на самосуд рассчитывать не на что, деревня снова возвращается к вопросу о том, как от него избавиться. Писатель Яковлев посвятил этому в книге целую главу, назвав ее «Четыре покушения».

Павла пытались утопить, он выплыл. Мать побежала жаловаться милиционеру, но тот уехал в район. По ночам им стучали в дверь, пугали. Павлик оказался не трусливого десятка. Он ругал мать за то, что не разбудила его, когда ломались в дверь: он бы вышел и посмотрел, кто приходил. Продолжать доносы, когда уже известно, кто это делает, и когда уг-

рожают — не это ли, согласно советскому автору, подлинная смелость?! Двоюродный брат Данила избил его палкой. Павел донес на Данилу. Услышал, что дядя спрятал в соседней деревне ходок (то есть воз) хлеба — донес на дядю. Но вот что записано в блокноте Соломеина: «Ходок не нашли». Ложный донос на дядю Арсения Кулуканова, по мнению авторов, был последней каплей, переполнившей чашу терпения. Бабушка Ксения, написано в книгах о Павлике, жалела, что не утопили внука. Дед Сергей сущности вопроса сформулировал в книге Яковлева так: «В Пашке — все зло. Маленький, он такой вредный, а вырастет — он нас живьем слопает. Вона, вся советская жизнь такая, как Пашка...» Вечером накануне убийства, по словам Татьяны Морозовой, двоюродный брат Данила сказал Павлу: «Последние дни живешь». Отсюда логически проистекает убийство и вина убийц.

А теперь скажем, что реальная картина была весьма далека от сочиненной авторами, которые описывали подвиги Павлика Морозова. Вот что утверждают очевидцы. «Все это раздуто, — сказал нам одноклассник Морозова Дмитрий Прокопенко. — Павлик хулиганит, и все. Доносить — это, знаете, серьезная работа. А он был так, гнида, мелкий пакостник». Учительница Зоя Кабина в одной из наших бесед подвела итог: «Павлик донес на отца, а в сущности, больше ничего не сделал, за колхоз он не ратовал, да и не понимал он ничего».

Двоюродный брат Павлика Иван Потупчик заявил: «Серьезно можно говорить только о донесении Павлика на отца, а все остальное было прибавлено впоследствии для красоты». Родственник матери Павлика крестьянин Лазарь Байдаков разделит эту точку зрения: «Сам-то мальчик никакой роли не играл, это просто несерьезно. Ну, а для чего это все делали, вам видней».

Заметим, однако, что от хулиганства и пакостей юного осведомителя, даже если имеется с три короба преувеличений, страдали реальные люди. Факт остается фактом: Морозов доносил, и тут советская пропаганда не лжет.¹ Но вот что примечательно: согласно той же официальной трактовке, убит мальчик был не за доносы.

Дедушку, бабушку, брата и дядю Павлика расстреляли по печально знаменитой статье 58.8. Заглянем в Уголовный кодекс РСФСР 1927 г., который тогда действовал. Статья 58.8 наказывает за «совершение террористических актов, направленных против

¹ В 1918 году Ленин, обсуждая функции ЧК, предложил «карать расстрелом за ложные доносы». (Ленинский сборник. 21, сс. 316—338.) Доносы Павлика были ложными, и можно считать убийство его выполнением ленинского указания. К сожалению, ложные доносы необходимы сов. власти, чтобы постоянно держать в страхе всех.

представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций». Представитель советской власти — это, очевидно, лицо, которое состоит на службе в какой-нибудь советской организации и облечено хоть какими-нибудь полномочиями. На службе Павлик Морозов не состоял и никаких полномочий не мог иметь. Но следствие, суд и пресса утверждали, что он был пионером, то есть представителем революционной организации, и был убит именно за то, что он был пионером. Так ли это было? Ответ на вопрос имеет не только юридическое значение. Это — точка опоры всей концепции о герое-пионере.

БЫЛ ЛИ ОН ПИОНЕРОМ?

Когда в 20-х годах в Герасимовку приехала первая учительница, здесь была поголовная неграмотность населения. Учительница собрала группу разновозрастных учеников и кочевали из избы в избу — кто пустит. Потом арендовали дом, хозяин которого временно перебрался в сарай. В соседней деревне когда-то была передвижная школа. От нее остались старые парты, классная доска, к ним добавили столы и скамьи. Чернила учительница варила сама из черного березового гриба. Ученики писали на полях старых газет. Ходили они в класс в домотканой одежде, босые, а кто побогаче — в лаптях.

Павлик впервые пошел в школу, когда ему исполнилось одиннадцать лет. «Вскоре, — вспоминает Татьяна Морозова, — учительница сбежала, не выдержала трудностей, и школа опять закрылась». Все буквы наш герой успел узнать. Между тем его первая учительница Елена Позднина в неопубликованных воспоминаниях, хранящихся в Свердловском историко-революционном музее, рассказывает о политической сознательности своего ученика, социалистических идеях, которые им овладели, и пр. В конце воспоминаний учительница добавляет просьбу к будущим редакторам исправить написанное ею в соответствии с тем, как должно быть написано, если она рассказала что-либо не то, что следовало. Позднина в анкете, в графе «профессия», написала не просто «учительница», но — «учительница Павлика Морозова». На самом деле Позднина тоже уехала, так и не выучивши нашего героя читать.

Зоя Кабина, восемнадцатилетняя и симпатичная, последняя учительница Морозова, окончив восьмимесячные курсы, приехала в деревню. Она тоже ужаснулась месту, куда попала. Сначала хотела бежать, но задержалась на четверть века. Вместо зарплаты давали ей один пуд пять фунтов муки в месяц и больше ничего. Надо было часть продать, чтобы платить за постой 10 рублей в месяц и за питание

вместе с хозяевами. «Павлик в школу до меня не ходил, — заявила нам Кабина. — Грамоте он выучился, когда я осенью 31-го года приехала в Герасимовку». Выходит, Морозов пошел в школу в тринадцать лет.

Что же это была за школа? «Кабина была одна учительница на шесть деревень, — вспоминает мать Павлика. — Дети к ней ходили просто так, посидеть, кто хотел». «В школе, — подтверждает Кабина, — числилось на бумаге 36 человек. Сегодня придет двенадцать, завтра пять, а то и никого нету. Родители были настроены против школы, я ходила по домам, уговаривала. После устала: школа (дом, отобранный у выселенного крестьянина) не отремонтирована, в стенах щели, крыша валится, двери не закрываются, ни столов, ни скамеек, все поломано. Шла коллективизация, а крестьяне ее не принимали. Они приехали сюда свободно жить, и вот — советская власть...»

Добавим от себя, что власти рассматривали школу как инструмент пропаганды, и крестьяне это видели. Положение восемнадцатилетней учительницы было трудное. Старшие ученики, ее ровесники, приставали к ней, грозили. У Соломеина в записях показаний очевидцев указано: «Яша Юдов бил учительницу Зою Кабину пьяный. Ругался. Разве это школа?»

«В 1931 году мы с Павликом ходили в школу, а потом больше не учились, — вспоминает крестьянин Проккопенко. — Учиться негде было, и надо работать в поле и по хозяйству». Учительница в деревне была, но она занималась вовсе не учебными делами. В газете «Тавдинский рабочий» за 28 апреля 1932 года читаем: «Герасимовская школа по-боевому борется за сев, о чем сообщает ударник печати Кабина». «Ударниками печати» тогда называли тех, кто сообщал в газету какие-либо новости. Иногда учительница собирала детей и читала им вслух. Школьная библиотека состояла из тринадцати книг, включая буквари, как вспоминает она сама.

Уровень образования Павлика Морозова был не выше первого класса тогдашней начальной школы: он умел читать по складам, переписывать слова, складывать и вычитать на пальцах. Мог ли он при таком уровне образования разбираться в политике? Предположим, что Павлик разбирался. В какой же организации советской власти мальчик состоял? Для этого необходимы решение о приеме или хотя бы факт приема в пионерскую ячейку, дата и место приема или список, в который данное лицо внесено, и — наличие в деревне самой ячейки.

Председатель ЦК детской коммунистической организации Золотухин назвал Павлика Морозова в Бюллетене ТАСС «большевиком». «Павлик не состоял в рядах коммунистической

партии большевиков, — писал журналист Смирнов в статье «Облик юного ленинца» («Пионерская правда», 17 декабря 1932 года). — И все-таки почетное звание коммуниста он носил заслуженно». Кем было дано ему это звание? Или имеется в виду кличка «Куманист»? Хотя журналист Гусев и сказал в книге «Юные пионеры», что Павлик — «воспитанник ленинского комсомола, на самом деле в Герасимовке комсомольцев не значилось, свидетельствует Соломеин».

Для приобщения детей к партийной идеологии в июле 1931 года, за 14 месяцев до смерти Павлика, в Москве было введено «Положение о Детской коммунистической организации юных пионеров». По возрасту Павлик подходил для приема в пионеры. По социальному положению (принимались только дети рабочих, колхозников и крестьян-бедняков) — тоже. Положение требовало выполнить ряд бюрократических формальностей. Принимать нового пионера следовало на сборе звена с утверждением на общем сборе отряда. После этого давался месяц испытательного срока, чтобы проверить, выполняет ли юный кандидат законы пионерской организации. Только тогда ребенку разрешалось дать торжественное обещание в верности идеалам партии. Обряд принятия клятвы должен был происходить в присутствии членов партии, принимавших клятву. Только после этого новобранец становился пионером и получал право носить красную косынку в виде галстука и единый значок пионеров СССР.

Журналист Соломеин писал в книге «Павка-коммунист», что осенью 1931 года, когда Павлик пошел в школу, в ней не было ни одного пионера и что пионерский отряд возник лишь 20 октября 1931 года. Первый сбор с принятием в пионеры провела, по словам Соломеина, учительница Кабина. Позже журнал «Пионер» уточнял, что в тот день Павлик «давал торжественное обещание быть верным делу Ленина — Сталина». Однако в записях Соломеина написано другое: Кабина сказала ему, что пионеротряд организовался не в октябре, а в ноябре. Мелочь, конечно, но для чего Соломеин сам придумал твердую дату?

Это оказывается еще более нелепым, если обратиться к источникам. Ведь еще в 1932 году, после убийства детей, сами местные органы Тавды объявили в районной газете, что Павлик Морозов в Герасимовке в пионеры не вступал. В номере «Тавдинского рабочего» от 30 ноября 1932 года прямо сказано: Павлик стал пионером вне Герасимовки. В приговоре суда написано: «Вступив за время пребывания в районной школе в пионерский отряд, Павлик Морозов быстро понял... По возвращению в деревню Павел Морозов как пионер со свойственной ему энергичностью

воспринятое в отряде начал проводить в жизнь».

Из отчета корреспондента газеты «На смену!» Антонова тоже следует, что Павел записывался в отряд в Тавде. Что это за «районная школа» и «отряд в Тавде», не уточнялось. Но властям тогда нужно было как-то объяснить превращение мальчика в пионера. Это же сообщил и одноклассник Морозова Прокопенко: «Нам объяснили, что Павлик вступил в пионеры в районе. Его, дескать, вызвали в райком комсомола и там оформили, а у нас-то ни о каких пионерах слыхом не слышали».

Спросили мы об этом учительницу. «Ни в какой район он не ездил, — рассказала Кабина. — Он ездил в лес за дровами — пахал, убирал навоз. Его самого тоже заставляли сдавать хлеб. О пионерах и речи не было. Ничего я Соломеину о приеме в пионеры не могла рассказать». Впрочем, и сам Соломеин в своем первом сообщении для газеты писал из Герасимовки: «Ни райком, ни райбюро детской коммунистической организации не знали Павлика». Статья эта между тем называется «Двенадцатилетний коммунист» («Тавдинский рабочий», 27 октября 1932 года). Выходит, ни в Герасимовке, ни в Тавде не принимали героя в пионеры.

«Я вам правду скажу, — заявила, улыбаясь, одноклассница Павлика Матрена Королькова, — насчет того, что он был пионером, все это, знаете, им хотелось, чтобы существовало. Но пока он не погиб, никаких пионеров и никакого пионерского отряда у нас не было». Это заявление тем более весомо, что сама Королькова и стала первым председателем пионерского отряда, созданного приезжими уполномоченными райкома и обкома комсомола. Но это было уже после смерти Морозова. Так же объяснила нам ситуацию учительница Елена Позднина: «Нет, Павлик Морозов пионером не был, но вы ведь и сами понимаете: надо, чтобы был».

Мы понимаем, кому-то действительно надо было, чтобы пионерский отряд в деревне Герасимовка существовал. Какой отряд? Сколько в нем пионеров? Наиболее фантастическую цифру мы нашли у писателя Александра Ржешевского: в отряде у Павлика было 150 пионеров. «... Вылетели из школы триста человек чудесных ребят, половина из которых были в пионерских галстуках». Соломеин сообщил в 1932 году: «Зоя Кабина организовала... не отряд, а небольшую группу ребят». Незадолго до смерти Соломеин написал в своей последней книжке, что четырнадцать учеников решили стать пионерами. Губарев назвал статью о пионерах Герасимовки «Один из одиннадцати». Издание Герасимовского музея называет шесть членов отряда. Сразу после убийства

Павлика газеты писали о двух пионерах-братьях, Павле и Федоре. Федя, как вскоре выяснилось, маленький ребенок. «Федя не был пионером, я ему крест поставила, — сказала Татьяна Морозова журналиста через два месяца после похорон. — А Паша не верил в Бога — ему красная звезда». Но и никакой звезды не было. На кресте повесили доску с надписью, продиктованной неграмотной матерью:

1932 ГОДА 3 СЕНТЯБРЯ
ПОГИБЛИ ОТ ЗЛОВА ЧЕЛОВЕКА
ОТ ОСТРОВА НОЖА
ДВА БРАТА МОРОЗОВЫ
ПАВЕЛ ТРОФИМОВИЧ РОЖ. 1918 ГОДУ
И ФЕДОР ТРОФИМОВИЧ

Итак, пионерский отряд состоял из одного Павлика, причем сам он пионером не был. Теперь, зная факты, во втором издании Большой советской энциклопедии читаем: «Когда в школе была создана пионерская организация, Морозов был избран председателем отряда». В третьем издании БСЭ заслуга Морозова еще более расширяется: «Был организатором и председателем первого пионерского отряда...» Отряда, который не существовал. Позже его сделали пионервожатым. То, что делали многие советские учреждения, после смерти Морозова стало приписываться ему одному. Уже не райком, а Павлик давал распоряжение учительнице об организации пионерского отряда. Мальчик-коммунист сочинял тексты партийных лозунгов, заменял отдел пропаганды райкома, вдохновенно рассказывал односельчанам, что в светлом будущем в деревне будут электричество, тракторы, стеклянные дома. Юный пионер участвовал даже в ликвидации неграмотности. Как вспоминает учительница Позднина, однажды он попросил у нее букварь, чтобы научить читать и писать собственную мать. О результатах учения мы могли судить по тому, что пятьдесят лет спустя вместо подписи под машинописным текстом наших бесед, записанных на магнитофон, мать Павлика ставила крест.

Для чего все-таки мальчика превратили в пионеры после его смерти? Несмотря на призывы сверху вовлечь детей в коммунизм, пионерское движение (скопированное с бойскаутизма, юнг-штурма и отрядов Спартака) развивалось в стране медленно. «Списки есть, а где же пионеры?» — задавала вопрос газета «Пионерская правда» весной 1932 года. Секретарь Центрального Комитета партии Станислав Косиор в отчете ЦК 15-му съезду партии отмечал: «Было большое количество выходов из пионер-организаций, расползание отдельных организаций, отрядов и т. д.» Расчет на энтузиазм и добровольность не оправдался. Во многих местах не могли составить даже списки пионеров для отчета. В 1928 году в религиозных сектантских организациях было

два миллиона юношей и девушек. В пионеры столько детей завербовать не могли. Увеличение числа юных ленинцев наступило лишь тогда, когда в школах ввели вожатых на зарплате, которых назначали комсомольские органы.

После убийства детей Морозовых газеты сразу заявили, что они пионеры. Когда выяснилось, что это не так, была дана команда вниз исправить недоработку. Малыш Федя не годился совсем, а Павлика срочно произвели в таковые, хотя сам он этого узнать уже не мог.

Позже печать стала предпочитать общие формулировки, вроде такой: «Павлика вырастила и воспитала наша советская действительность». И даже мистику: «Мальчик стал вожаком советской пионерии после смерти». Но тогда вовлечение детей в пионеры происходило главным образом в городах, деревни продолжали упорствовать, и «пионер» Морозов помогал партии сдвинуть «пионеризацию» с мертвой точки. Впрочем, и тогда властям понадобились не мертвые души, а реальные носители идеологии. «Вскоре после смерти Павлика появился первый пионерский вожатый на зарплате, которого прислали из обкома, — вспоминает одноклассница Морозова Королькова. — Тут уж стали вербовать в пионеры».

В газете «Тавдинский рабочий» через месяц, 6 октября, появилась заметка: в ответ на убийство Морозова бригада прибывших уполномоченных организовала в Герасимовском сельсовете пионерский отряд.

Советские газеты и спустя полвека продолжают утверждать, что Павлик Морозов был пионером. В архиве журналиста Соломеина находим признание, наиболее откровенно определяющее истину: «А если придерживаться исторической правды, то Павлик Морозов не только никогда не носил, но и никогда не видал пионерского галстука».

Но тогда, превратив мальчика в пионера, а затем в пионерского лидера, представителя революционной организации юных ленинцев, власти объявили, что его убийцы являются террористами. Суд над ними становился политическим процессом против врагов партии и социализма.

СЕМЬЯ В КАЧЕСТВЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сколько ни писали газеты, что в Сибири состоялся процесс над кулачеством в целом, над террористической кулацкой организацией, к смерти приговорили дедушку, бабушку, их внука и зятя, а жертвами были два других внука. Большинство свидетелей было из той же семьи.

Павлик Морозов не был пионером, а его предки, все старшие члены семьи Морозовых, были. Не в поли-

тическом значении слова «пионер», означающем детский филиал партии для взрослых, но — пионерами в исконном смысле, освоителями новой земли, готовыми идти на лишения ради лучшей жизни для себя и своих детей. И Морозовы доказали это, рискуя двинуться из Белоруссии в далекую Сибирь и пустив там корни, как им казалось, навсегда. Нет нужды идеализировать отношения Морозовых. Интересно, однако, проследить, как внешние обстоятельства отразились на их семье.

Социальная модель «сын против отца» возникла не случайно. Властям была выгодна, более того, необходима такая практика. После пятнадцати лет революции семья все еще сопротивлялась политическим требованиям большевиков, отстаивала себя, особенно семья деревенская. Сын-доносчик подрывал семью изнутри. Его пример помогал властям запугивать тех, кто прятал хлеб и был уверен, что родня, дети не выдадут. Семья должна была стать ячейкой государства, подчиненной его целям и контролю. Уничтожение собственности и разрушение семьи стало единым процессом сталинской эпохи. Суд в Тавде был лишь эпизодом этой общенациональной трагедии.

Членов семьи, которую судили, называли «кулаками». Но они никогда кулаками не были. Мотив преступления, выдвинутый следствием («классовая месть кулаков»), не имел отношения к обвиняемым, поскольку четверо из них были крестьянами-бедняками, а пятый середняком. «Да какие, между нами говоря, кулаки? — сказал нам ответственный работник Тавдинского горисполкома, годящийся Павлику Морозову в сыновья. — Не секрет ведь, что кулаки — это просто трудолюбивые крестьяне. У них и хлеба было больше. А раз больше, надо отобрать». Стало быть, теперь это не секрет. Кулаков не было, но, согласно указанию сверху, их следовало обнаруживать и с ними бороться. Хлеб был нужнее людей, и людей уничтожали, чтобы получить хлеб. Приговор суда в Тавде в какой-то мере объясняет действительные причины репрессий, связанных с коллективизацией.

Индустриализация страны и рост армии требовали увеличения людских ресурсов и хлеба. Того и другого не хватало. В стране копилось массовое недовольство. В секретном докладе Политбюро и тогдашнего теоретика партии Бухарина говорилось, что коллективизация потерпела неудачу, что колхозы разваливаются, что деревни голодают, и в стране настало великое оскудение. Пахло катастрофой, в которой обвиняли Сталина. Ему и его сторонникам, чтобы удержаться у власти, предстояло безотлагательно решить четыре государственные задачи: во-первых, найти дешевую, а лучше бесплатную рабочую

силу; во-вторых, любым путем достать хлеб; в-третьих, подавить недовольство. И, наконец, найти, на кого свалить вину за нищету и голод.

По законам тех лет крестьянин мог продавать или не продавать излишки хлеба государству. Цены на хлеб, навязанные властями, были низкими. Крестьяне не желали отдавать хлеб за бесценок. Тогда власти, в противоречии со своими же законами, приняли постановление, по которому в случае отказа продавать хлеб отбирался силой. Какому крестьянину до большевиков пришло бы в голову закапывать в землю хлеб? Начиная с 1928 года за отказ отдавать хлеб в судах стали применять статью 107 Уголовного кодекса: конфискация имущества за спекуляцию. Член Политбюро Серго Орджоникидзе на 15-м съезде партии говорил, что придется потянуть в суд около 15 процентов населения. Он потребовал «скорости производства судебных процессов».

В Кремле считали, что коллективизация спасет от продовольственного кризиса. Оказалось наоборот. Тяжелейший продовольственный кризис явился результатом насильственной коллективизации. Виновных нашел Сталин. Глава партии объяснил голод наступившей в стране плохой погодой, но главная причина — «сопротивление кулацких и зажиточных элементов деревни». Хлеб, по выражению Сталина, «приходится брать в порядке организованного давления». Сталин в речи «О правом уклоне в ВКП(б)» требовал «ликвидировать психологию самотека». Не людей — это звучало бы грубо, — а лишь психологию. На эвфемистическом языке тех лет советская власть, как писалось в «Истории ВКП(б)» в 1938 году, «сняла запрет с раскулачивания», или, еще более образно, развязала «творчество самих колхозников», которые «требовали от советской власти ареста и выселения кулаков».

Что же реально представлял собой кулак? Это был, как правило, физически здоровый и предприимчивый крестьянин, с которым вместе работали несколько взрослых сыновей. Если глава семьи видел, что с уборкой урожая не справиться, он нанимал другого крестьянина, кормил, поил его и платил, как правило, хлебом. Кулак мог быть жадным, но не мог быть ленивым, хитрым, не мог быть жуликом. В кулаках была сила деревни, ее богатство, инициатива, сытость всей России, возможность продавать излишки хлеба за границу. Ликвидировать кулака — значило то же самое, что ликвидировать американского фермера. Кто бы кормил сегодня Америку и еще полмира?

Большевики призывали уничтожить кулачество как класс, но классом кулаки не были — классом было крестьянство, владевшее мелкой собственностью, которую партия пока не

смогла прибрать к рукам. Еще Ленин заявил, что крестьянин есть «мелкобуржуазная стихия», и поэтому он представляет для диктатуры пролетариата опасность, «во много раз превышающую всех Деникиных, Колчаков и Юденичей, сложенных вместе». Разжигая ненависть, Ленин лгал: «Кулак бешено ненавидит Советскую власть и готов передуть, перерезать сотни тысяч рабочих». Ленин запугивал: с теми, кто не поймет разницу между крестьянином и кулаком, «мы будем обращаться, как с белогвардейцами».² Такая теоретическая база Сталина вполне устраивала. Вся мощь репрессивного аппарата СССР обрушилась на кулака. В 1919 году 30 тысяч партийных работников отправлялись на фронт гражданской войны, десять лет спустя столько же вооруженных горожан отправились проводить коллективизацию в деревне. Шла по сути дела вторая гражданская война, в разгар которой возникло дело Павлика Морозова.

Весной 1932 года 19-я конференция партии сформулировала основную политическую задачу до 1937 года. Это — «окончательная ликвидация капиталистических элементов и полное уничтожение причин, порождающих эксплуатацию». Этими «элементами» и «причинами» были люди. Любопытно, что в литературе о массовых репрессиях 30-х годов не упоминается факт, что репрессии планировались заранее, как одна из основных задач второй пятилетки, как производство угля и металла. Год 1937-й был завершающим, ударным годом пятилетки и в области репрессий. Это был, в сущности, государственный план грабежа и убийств собственных граждан. И о выполнении его рапортовали наверх.

С одной стороны, коллективизация проводилась добровольно, с другой — под страхом наказания и к определенному сроку. Двойная жизнь страны, которая начала складываться сразу после революции, теперь действовала на полную мощь. Внешний слой — законность, конституция, публикуемые постановления; внутренний слой жизни — секретные и служебные инструкции, противоречащие законам, отражающие реальность и произвол коммунистической диктатуры. Тень уполномоченного по хлебозаготовкам стала злобещей: ее появление возле любого деревенского дома означало, что ночью придут с обыском, увезут хлеб и уведут кормильца. Чтобы оправдать уничтожение миллионов крестьян, в 70-х годах в учебниках по истории СССР появилось утверждение, что кулаки Сибири были связаны не только с внутренней оппозицией, но и с зарубежными

² В. И. Ленин. ПСС. Изд. 5-е, т. 43, с. 18; т. 37, с. 39; т. 39, с. 279. Брань Ленина по адресу кулаков, содержащуюся на указанных страницах, мы цитировать не будем.

контрреволюционными центрами и иностранными разведками. Это тем более забавно читать, зная, каков был культурный уровень в сибирской деревне Герасимовке.

«Кулачество в районах сплошной коллективизации было ликвидировано, — сообщает современная «История КПСС». — Кулаки, противодействовавшие коллективизации, выселялись с мест постоянного жительства. С начала 1930 года по осень 1932 года из районов сплошной коллективизации было выселено 240 757 кулацких семей».

Попробуем оценить разгул гуманизма советской власти. Крестьянские семьи (хозяйства) в России были многодетными: 4—8 и более детей. Средняя семья, таким образом, состояла из двух стариков, шести их взрослых детей с мужьями и женами плюс по четыре ребенка у каждой пары, то есть всего 38 человек. При таком прочтении масштаб репрессий достигает девяти миллионов. Там же говорится: «Советская власть сделала все необходимое по устройству бывших кулаков на новых местах жительства, создала им нормальные условия жизни. Основная масса кулаков-выселенцев была занята в лесной, строительной и горнорудной промышленности, а также в колхозах Западной Сибири и Казахстана. Партия и Советская власть перевоспитывали кулаков, помогали им стать полноправными гражданами и активными труженниками социалистического общества».

Текст понятен и без комментариев. Лишь одно замечание: здесь говорится о ссылке кулаков, но не сообщается, сколько кулаков погибло в ссылке, сколько было отправлено в тюрьмы и лагеря, сколько расстреляно, наконец, сколько арестовано середняков и бедняков, именовавшихся «подкулачниками». Разные несоветские источники сообщают разные цифры. Не углубляясь в дискуссию, отметим, что вместе с умершими от голода, репрессированными, убитыми и погибшими в тюрьмах, на этапах и в лагерях кампания коллективизации стоила России, по мнению исследователей, от 6 до 22 миллионов жизней. В обысках, конфискации имущества, арестах, выселении, расстрелах участвовали десятки тысяч партийных работников и уполномоченных ОГПУ, милиция, внутренние войска, армия. Ложь пронизывала отчетность сверху донизу. И сейчас, полвека спустя, тщательно скрывается информация о том, что происходило.

Реакцией голодающих рабов было грандиозное по масштабам воровство. «Начались хищения колхозного хлеба, — писала «Пионерская правда» в январе 1933 года. — Таскали килограммами, ведерками, таскали в карманах, голенищах сапог, таскали в мешках». Власти отбирали у крестьян,

крестьяне пытались вернуть назад часть своего.

Советский учебник «История государства и права» называет советское законодательство «высшим типом права». По этому праву изъятие хлеба осуществлялось в 30-е годы только на основе административных указаний. Постановления, за невыполнение которых полагалось уголовное наказание, создавались самими карательными органами. Закон от 7 августа 1932 года (за месяц до убийства Павла и Федора) приравнял коллективное имущество — к государственной собственности, объявив его «священным». Сделав личную собственность крестьянина второстепенной, он за кражу государственной карал, как за тягчайшее преступление. Согласно «высшему типу права», огурец, сорванный прохожим с колхозной грядки, становился формой классовой борьбы против социализма. Этот же закон приравнял высказывание против колхоза к государственному преступлению.

Крестьян, особенно неимущих, власти старались сделать заинтересованными в раскулачивании. Донесение на соседа-кулака, скрывшего излишки хлеба, давало доносчику по закону 25 процентов конфискованного имущества. Теоретически и остальное имущество арестованного, то есть лошадь, корова, плуг и пр., тоже становилось принадлежащим крестьянину-доносчику в том случае, если он вступал в колхоз: собственность осужденных становилась общей. Крестьянам предлагался более легкий путь обогащения, нежели работать самим: донос. Трагикомизм ситуации заключался в том, что после четырех доносов бедняк, получив 100 процентов кулацкого имущества, становился кулаком и — отправлялся следом за своими жертвами в лагерь.

Политические процессы, подобные герасимовскому, разжигали массовые репрессии, а репрессии обеспечивали Сталину достижение всех четырех целей: миллионы арестованных крестьян становились почти даровой рабочей силой (на звемистическом языке третьего издания БСЭ — коллективизация помогала «ликвидировать аграрное перенаселение»), отобранный хлеб шел для армии и в города, массовое сопротивление ликвидировалось, а оппозиция внутри партии обвинялась в противодействии этому процессу, и возникла возможность ее уничтожить. Это было поистине мудрое решение Сталина.

В советской прессе никогда не писалось о том, что среди показательных процессов 30-х годов — над партийной оппозицией, инженерами, крупными военными и другими категориями людей — был особый показательный процесс над кулаками. Историческая беспримерность этого

суда состояла не только в том, что целая семья была выдана за политическую организацию террористов, но и в том, что главным объектом политической игры стали дети. Именно для показательного процесса нужен был Павлик Морозов, не персонально, а как модель.

Первый эксперимент по предательству родителей детьми был осуществлен за четыре года до Морозова (Шахтинское дело, 1928 год, газета «Правда» за май — июль). Среди пятидесяти трех обвиняемых по делу о контрреволюционной организации инженеров были братья Колодубы. Неожиданно суд вдруг занялся выяснением личных отношений одного из подсудимых с сыном. Подсудимый, не подозревая ловушки, заявил, что сын его — комсомолец, ушел из дому, так как ему удобнее жить на руднике. А отношения с сыном вполне нормальные. Отец находился в тюрьме и не знал, что в газете под заголовком «Сын Андрея Колодуба требует сурового наказания для отца-вредителя» было опубликовано следующее письмо.

«Являясь сыном одного из заговорщиков, Андрея Колодуба, и в то же время будучи комсомольцем, активным участником строительства социализма в нашей стране, я не могу спокойно отнестись к предательской деятельности моего отца и других преступников, сознательно ломавших то, что создано энергией и кропотливым трудом рабочих масс. Зная отца как матерого врага и ненавистника рабочих, присоединяю свой голос к требованию всех трудящихся жестоко наказать контрреволюционеров. Не имея семейной связи с Колодубами уже около двух лет и считая позорным носить дальше фамилию Колодуба, я меняю ее на фамилию Шахтин. Рабочий шахты «Пролетарская диктатура» Кирилл Колодуб».

Семья мешала партии. В печати тех лет появились статьи о необходимости при новом строе отделить детей от родителей. Методическое пособие для учителей «Детский сельскохозяйственный труд» рекомендовало для разрушения индивидуальной семьи добиваться, чтобы все дети до четырнадцати лет содержались за счет сельскохозяйственных коммун, а не отдельных семейств. Реализовать эту педагогическую теорию не удалось из-за отсутствия средств.

События в семье Морозовых — типичный пример того, что происходило в стране. В семье было свыше двух десятков рук, которые делали хлеб. Этим рук не стало. Рак доносительства дал метастазы в других семьях. Количество погибших и пострадавших от действий одного мальчика измерялось двузначным числом, а общая статистика жертв доносов — миллионами.

Обычно после доноса заводилось дело на одного человека в

семье — отца или деда. Все остальные члены семьи также подвергались преследованию. Печальная ирония состояла в том, что, донеся на отца, герой-пионер по стандартам тех лет сам становился сыном врага народа и тоже должен был стать жертвой преследования. Вокруг Герасимовки, кстати сказать, было множество специальных учреждений для детей, лишенных родителей.

Упомянутое выше шахтинское дело наложило отпечаток на последующие процессы, в том числе на дело герасимовских крестьян. Такие дела планировались заранее, когда жертвы и участники понятия не имели о своей предстоящей участи. Процесс по делу Павлика готовился скрытно Секретно-политическим отделом (СПО). В 1932 году произошло укрепление и расширение ОГПУ, и милиция была передана в подчинение секретной полиции. Паутина СПО, специально предназначенных для сыска и уничтожения врагов народа, покрыла всю страну.

Показательные суды начала 30-х годов были не только массовыми зрелищами, но и массовыми по числу обвиняемых. Перед процессом уполномоченные СПО искали не преступника, а подходящее лицо, которое будет убийцей или вредителем. Затем с помощью доносов подбирались «банды»: идейный руководитель, он же вдохновитель, лица, подговаривающие совершить злодеяние, исполнитель, а также те, кто не донес о нем. Сперва арестовывали большую группу подозреваемых, затем начиналась обработка и отбор тех, кого можно сломать, заставить доносить на остальных. Лишних арестованных обычно потом выпускали, показывая объективность суда, а затем использовали в других процессах. Как правило, каждое дело служило основой для последующих обвинений других людей.

Дети в таких процессах свидетельствовали против собственной семьи. И если в шахтинском процессе подросток проходил как бы на заднем плане, то в деле семьи Морозовых дети — и живые, и мертвые — впервые стали главными обвинителями. По идее властей новое поколение должно было уничтожить старое.

Коллективизацию на Урале и в Сибири приказано было закончить к осени 1932 года, но это не удалось. Москва обвиняла местное руководство, центральные газеты писали о притуплении большевистской бдительности, о правых и левых уклонах, о происках троцкистов. Хотя сторонники Троцкого на Урале были уже уничтожены, а с кулаками велась борьба, здесь до 1932 года не раскрывали сколько-нибудь значительных контрреволюционных заговоров или ответвлений центральных террористических организаций. Между тем властям такой заговор был совершенно необходим.

Ивану Кабакову было тридцать семь лет, когда его сделали первым секретарем Уральского обкома, заменив Шверника, который недостаточно решительно расправлялся с оппозицией и кулаками. Культурный уровень обоих был примерно одинаков (у Шверника образование — четыре класса, Кабаков — слесарь низкой квалификации). Став хозяином области, Кабаков принялся, по его собственному выражению, «убивать троцкизм». Начались массовые аресты в городах. На очередном съезде партии в Москве Кабаков, отчитываясь об успехах в разгроме троцкистов, назвал ликвидацию кулачества центральным вопросом политики партии. Обком обещал Москве коллективизировать 80 процентов крестьян Урала. Вскоре рапортовали, что почти все выполнено (70,5 процента). И вдруг при проверке оказалось, что этот процент — всего 28,7. Явный обман в те годы мог иметь вполне определенные последствия.

Чтобы исправиться, совместно с председателем облисполкома Ошвинцевым и начальником полномочного представительства ОГПУ по Уралу Решеговым Кабаков начал штурм деревни. В короткий срок (в течение двух месяцев) здесь было раскулачено, отдано под суд, сослано и расстреляно 30 тысяч семей (число пострадавших, включая женщин, стариков и детей, достигло сотен тысяч). Девятый вал этого террора наступил затерянную в глуши Герасимовку. Урал, твердил Кабаков, работает под непосредственным руководством товарища Сталина. В апреле 1932 года из столицы Урала Свердловска в районы рассылались инструкции по осуществлению полной ликвидации капиталистических элементов, что позволит дать бурно развивавшейся промышленности Урала новые мощные кадры рабсилы для создания второй оборонной базы на востоке СССР. Инструкция цитировала Кабакова: «Выкорчевать сопротивление внутри колхоза»³.

На местах, однако, практика не подтверждала теорию. Кулаков не хватало, и СПО для выполнения плана производили аресты подкулачников. Сам термин «подкулачник» обозначал бедного крестьянина, который должен любить советскую власть и стремиться в колхоз, но «подкулачник», вопреки теории, этого не делал. Преследуя «подкулачников», власти очищали деревню не от кулаков, а от недовольных. В газетах тех лет писали: «Подкулачники и предатели советской власти до хрипоты орут, разбрызгивая слюной...» Газета «Уральский рабочий» повторяла: повсеместно расстреливать кулаков и подкулачников. Газета «Тавдинский рабочий» призывала очистить дерев-

³ Итоги 11-й Уральской областной конференции. Сб. Свердловск, 1932.

ню от изменников, предателей, саботажников, лодырей и просто неясных людей.

«ОГПУ искало в деревне слабые места, — вспоминал крестьянин Байдаков. — Уполномоченные гуляли по платформе станции Тавда в штатской одежде под видом пассажиров и вылавливали подозрительных. Крестьянин подошел к поезду, а его хват за рукав. Предложили пройти, толкнули в темную комнату и заперли. Поддержали там для страха и стали его, вконец испуганного, допрашивать, кто что говорит про советскую власть. Ну, он и лил на всех, лишь бы отвязаться». Секретная полиция настолько основательно занималась коллективизацией, что даже планы посевов печатались в типографии ОГПУ.

Напряженность в Уральском обкоме и ОГПУ резко обострилась, когда Сталин отправил в провинцию личных представителей наказывать местное руководство за то, что оно действовало недостаточно энергично. В обкоме уже знали, что на Кавказе и на Кубани глава центральной контрольной комиссии Каганович сразу исключил из партии около половины партийных кадров и осуществил массовые репрессии в деревнях. То же проделал председатель Совнаркома Молотов на Украине. Страх перед эмиссарами из Москвы заставил местные власти готовиться к прибытию такого представителя на Урал. Этот эмиссар вскоре приехал. Им был инспектор Рабрин (рабоче-крестьянской инспекции) Михаил Суслов. После смерти Сталина Суслов дослужился до должности главного идеолога партии и был им долгие годы. А тогда скромный инспектор, имея особые полномочия, обвинил местные кадры в бездеятельности и начал чистку. Суслов потребовал немедленной организации показательного политического процесса, и такой процесс, как мы уже знаем, вскоре состоялся.

В глуши, далеко от столиц, суд возвестил на весь мир, что советская власть победила везде. Террористы-кулаки подтвердили мысль Сталина об усилении при социализме классовой борьбы. Показательный суд ускорил выполнение плана хлебозаготовок, который на Урале срывался, стал отправной точкой для других политических процессов и просто массовых арестов без суда, чтобы дать в центр страны хлеб, а в Сибирь — заключенных, дешевую рабочую силу.

Убийство детей Морозовых помогло обвинить всех тех, от кого власти хотели очистить деревню. Убийство было выгодно властям. Вина и невиновность подсудимых не интересовали ни следствие, ни суд. Но кто же в действительности убил Павлика и Федю Морозовых?

(Продолжение следует)

РАЗМОРОЖЕННЫЕ КАНТИЛЕНЫ, ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ БОРИСА ВИАНА

Слава пришла к нему лишь через два года после его смерти. С тех пор, вот уже почти три десятилетия, Борис Виан — один из самых читаемых — особенно среди молодежи — писателей Франции. Его произведения переведены почти на все европейские языки. В Европе и Америке о нем написаны десятки статей и книг. В его честь, наконец, выбита медаль.

А умер он в возрасте 39 лет в полном забвении. Хотя начало было блестящим. Первый роман, написанный им в 1943 году и опубликованный в 1947 году одним из ведущих парижских издательств, был замечен и в читательских и литературных кругах.

Виан родился 10 марта 1920 года в пригороде Парижа Виль-д'Авре. Получил техническое образование. Но подлинной страстью молодого инженера были музыка и литература. К концу сороковых Виан стал первой джазовой трубой артистического парижского квартала Сен-Жермен-де-Пре. Регулярно писал для международного музыкального обозрения «Джаз Хот», вел музыкальную рубрику в газете «Комба», был одним из основателей Французского джаз-клуба.

На литературном поприще его ждали более громкие успехи. Подлинный взлет Виана пришелся на 1946 год, когда он начал сотрудничать в созданном Жан-Полем Сартром журнале «Там Модерн». В мае того же года Виан написал свой знаменитый роман «Пена дней» — роман, которому суждено было стать своего рода Библией участников майских событий 1968 года во Франции.

Все в том же 1946 году под псевдонимом Вернон Салливен он за две недели написал имитацию под авантюрно-эротический ро-

ман — «Я приду плюнуть на ваши могилы». Разразился скандал. Виан был привлечен к суду и уплатил штраф в 100 тысяч франков. После всего этого в сознании читателей он стал «тем парнем, который устроил розыгрыш с Верноном Салливиеном».

Ни новые романы и рассказы, ни пьесы, ни книга стихов «Замороженные кантилены», ни песни (а Виан написал их более 400) не вернули ему внимание публики. Лишь новый скандал напомнил о Виане в январе 1955 года, когда по радио прозвучала его песня «Дезертир» — остро принятая в условиях колониальной войны в Индокитае и подвергнутая запрету.

Но жить писателю оставалось недолго: он умер 23 июня 1959 года от тяжелой сердечной болезни. В последующие десятилетия по популярности Виан стал вровень с такими писателями, как Бретон, Камю, Сартр, Превьер. Но для советского, а тем более русского читателя он был до недавнего времени неизвестен.

Лишь в 1983 году издательство «Художественная литература» опубликовало на русском языке роман «Пена дней» и ряд рассказов Виана. Тираж книги — всего 54 тысячи экземпляров.

Что же касается его песенного и поэтического творчества, то, насколько я знаю, переведенная мной и опубликованная в моем сборнике стихов петрозаводским издательством «Карелия» песня Бориса Виана «Дезертир» остается единственной попыткой представить Виана-поэта советскому читателю.

Хотя прозу Виана пронизывает пародийный характер, в стихах и песнях он ничего не изобретает. Впрочем, об этом судить читателям.

ДМИТРИЙ СВИНЦОВ

БОРИС ВИАН

СОВЕТЫ ДРУГУ

Чудак, ты хочешь стать поэтом.
Послушай, не сходи с ума —
в стихах сегодня, как в клозете,
полно дерьма,

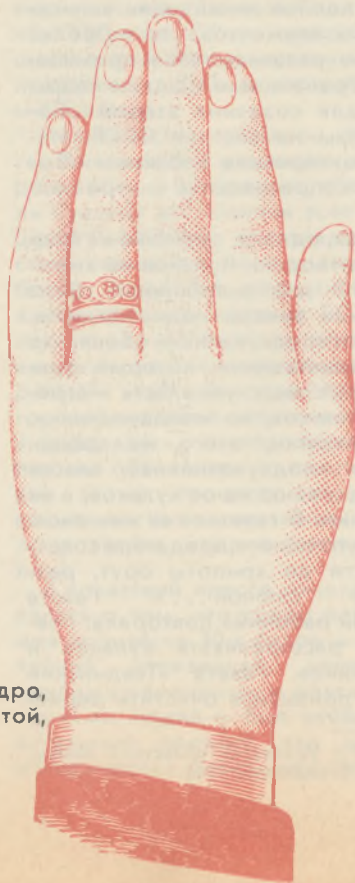
аксессуаров идиотских
и экзотических вещей, —
они приводят в трепет скотский
лишь толстосумов и девиц.

С неприятным букетом
для поцелуя милых губ —
хоть пой один, хоть пой дуэтом,
но все равно ты будешь глуп.

Чудак, ты хочешь стать поэтом.
Сорить деньгою, как паша.
Но за стихи, запомни это,
не платят нынче ни гроша.

Тебя использует издатель,
как шлюху ловкий сутенер,
и, не признав тебя, читатель
закроет двери на запор.

И ты, мой друг, поступишь мудро,
коль вспомнишь тот мотив простой,
что ты свистел однажды утром
над улицей своей пустой.



СЛАВЯНСКАЯ ДУША

Славянская душа.
У меня славянская душа.

Родился под Парижем, в Виль-д'Авре,
в настоящей французской семье:
мать звали Жанной,
отца — Жаном.
А меня назвали Иваном.

Это имя не выходило
у меня из головы —
выходило,
что прибыл я из Москвы
(вот что значит —
увидела пылкая пара
какого-то барина
у самовара).

Славянская душа.
У меня славянская душа.

Она срослась с моей французской
кожей.
И телом стал я славянином тоже.
Славянская душа.
У меня славянская душа.

Я не был дальше

Сен-Жермен-де-Пре.

Мне дали имя русское в семье.
Но все вокруг меня считают русским.
Я не сопротивляюсь —
на закуску
ем пироги с капустой,
водку пью
с утра до ночи
и посуду бью.

Славянская душа.

У меня славянская душа.
За мною ходит собственное имя.
Я сделал из железа пару штор,
чтоб окна в доме занавесить ими —
не занавесил, чтобы воздух шел...
Славянская душа...

ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС

Последний рогалик
с последней газетой —
такое обычное утро,
как это,
уже не однажды было.

Такое же солнце
под шины ложилось
и так же монеткой
в бистро золотилось.
К чему сентименты однако.

Скорее в гостиницу.
Сброшено платье.
И, губы подставив,
откроет объятия
последняя женщина нынче.

Прощайте, любимая.
К черту кручина.
И женщина молча
обнимет мужчину.
Присядут. Простятся не плача.

Последний вечер. Завтра не наступит.
Все будет так. Или иначе будет.
Последний вальс.
Жасмин дурманит мозг
на набережной Сены.

Вот и мост.

Последний «добрый вечер»
всем знакомым
и незнакомым тоже.
Перед домом,
в котором спят, не ведая забот,
замедлит шаг
и за угол свернет.

Вот спуск к реке.
Нелепый взмах руки.
И на воде
расходятся
круги.

ДЕЗЕРТИР

Господин Президент!
Я письмо вам отправил.
Исключеньем из правил
вскройте этот конверт.

В среду вечером мне
сообщили повесткой,
что я завтра в армейском
должен быть на войне.

Господин Президент!
Не для братоубийства
я, поверьте, родился,
но чтоб жить, чтобы петь!

Ради мира и лиры
сообщаю, месье:
не хочу быть как все —
ухожу в дезертиры.

Господин Президент!
Мой отец уже умер.
Братья бродят по свету.
Плачут дети мои.

Моя мама одна.
Одиночество это
вас взывает к ответу:
что нам эта война?

А, когда я в тюрьме
вшей кормил, жрал баланду,
мою душу жандармы
растоптали в дерьме.

Хлопну дверью с утра
я у смерти под носом.
Пусть останется с носом!
Мне — в дорогу пора.

Рождены мы людьми.
Человек не приемлет
бойней вспахивать землю,
славить гибель семьи.

И не надо нам лент.
Если ж крови вам мало,
сдайте вашу капралу,
господин Президент!

Ну, а если закон
огласит: «Вне закона!» —
не жалейте патроны —
я не вооружен.

Я умру от разрыва аорты.
Будет вечер особого сорта —
в меру чувственный, теплый и ясный,
и ужасный.

Я умру, подымаясь по венам
вместе с тромбом.
Иль жирная крыса
ногу мне отгрызет по колено.
Или рухнет с заоблачной выси,
как витраж, мне на голову небо,
гром мне уши забьет динамитом.
Я умру тяжело и нелепо.

Я умру, очевидно, убитым.
И профессиональным убийцей.
Если это со мною случится,
то умру я, не зная, что умер.
Лишь услышу взволнованный зуммер
метко в сердце направленной пули.

Захлебнусь в том, что звери надули,
относящиеся ко мне лично
безразлично,
а может, прилично.

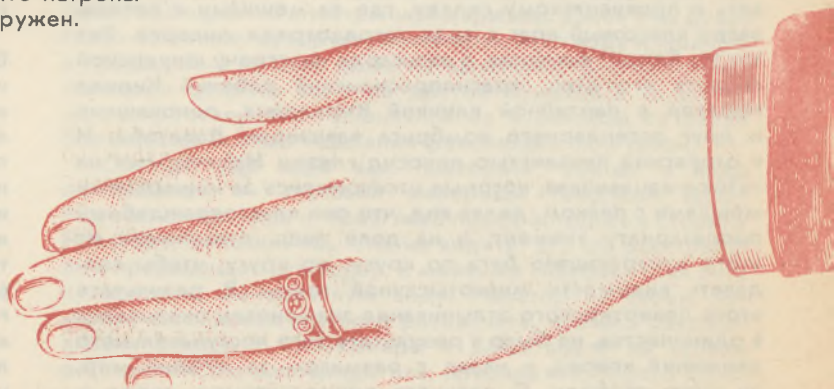
Я умру нагишом или франтом,
чисто выбритым, с розовым бантом,
чтобы светских шокировать дур,
я не сделаю педикюр.

Я умру, слез в подушку не пряча.
Я умру, когда станут судачить
вкруг меня, лицемерить и лгать
и бумаги мои воровать.

Я умру, видя детские муки
и в проклятье простертые руки
матерей и отцов.

Я умру.
К погребальному выйду костру.
И взойду равнодушно. И вспыхну.
И, когда это кончится точно,
Коль и здесь не пробудится стих мой,
наконец-то поставлю я точку.

И умру



Перевел с французского
ДМИТРИЙ СВИНЦОВ

ЗИНОВИЙ ЗИНИК

РУССКАЯ СЛУЖБА

РОМАН

Ему сунули в руки знамя и сказали: беги! Древяк было холодное, обточенное многолетним хватанием предыдущих рук, и тяжелое кумачовое знамя выскальзывало из его заиндевевших пальцев, когда он побежал вперед, тяжело хлюпая по слякоти, в которую раздрызгался снежок пустыря под многочасовым топотом ног. Он перехватывал выскальзывающее древяк, стараясь не оступиться и не споткнуться, захлебываясь на бегу: то ли от одышки, то ли от встречного ледяного ветра, то ли от тайной гордости за то, что знамя революции досталось ему, а не Севе, не Семе и даже не Сене, ему и никому другому из Русской службы, что бежали рядом, стараясь не наступать на пятки бегущим впереди. Ему казалось, что они бросают на него завистливые взгляды, эти редкие неприятно знакомые лица, рассыпанные в разношерстной толпе непонятого происхождения, потерявшей признаки стран и народов, слившейся в единый интернационал из ушанок, платков, краснофлоток, бескозырок, буденовок и фуражек. Но через мгновение он уже перестал оглядываться назад, на тех, кто толкал его локтями в спину, стараясь выбиться в первые ряды, обогнать его. Он знал, что в этом продуманном движении найдутся надзиратели для тех, кто лезет в пекло поперек батьки; знал, что если ему досталось отвечать за знамя, его уже никто не отнимет, оно ему по закону порученное: в революционной этой толпе не может быть двух знаменосцев, нельзя позволить двух революционных толп, не хватит никаких ни организационных, ни душевных средств. И он, захватывая воздух астматическим дыханием, преодолевая ревматическую боль в суставах и тряску рук, сливался с древяком и рвался вперед, куда указывали поноукания главного, с раздвижной лестницы: «Выше знамя, знаменосец, выше!» Под крики вожатого кучка демонстрантов в авангарде толпы солдат, рабочих и революционно настроенной интеллигенции стала заворачивать к провиантскому складу, где за мешками с песком засел классовый враг в виде заградотряда юнкеров. Вот так же бежал, наверное, в авангарде навстречу юнкерской сволоте его отец, краснопресненский рабочий Кирилл Наратор с партийной кличкой Кириллица, одноклассник и друг легендарного комбрига кавалерии Доватора. И с отцовской ненавистью покосил глазом Наратор-сын на теток в кацавейках, которые отсиживались за юнкерскими мешками с песком, делая вид, что они классово враждебный пролетариату элемент, а на деле лишь отлынивали от этого изнуряющего бега по кругу: по кругу, чтобы создавать видимость многотысячной толпы. В результате этого дезертирского отлынивания знаменосец оказывался в одиночестве, не было в результате того поступательного движения вперед и назад с размахом за лучший мир, за иную свободу. С дальнего конца пустыря, гордо и смело, лупила по провиантскому складу красногвардей-

ская гаубица, а в ответ юнкера сыпали картечью. «Почему молчит пулемет? Пулемета не слышно!» — кричал главнокомандующий, и дезертиры в кацавейках нехотя и кряхтя подымались и снова бежали по кругу со знаменосцем в авангарде. Выданные ему по случаю демонстрации сапоги были явно велики, и во время бега пятка сбивалась, наверное, огромным волдырем и жгла, как партийная совесть, и Наратор с завистью косился на юнкеров, бритых красавчиков с молоком на губах, в отутюженных мундирчиках, а особенно завидовал их офицеру, пижонящему в полной белогвардейской форме, со всем антуражем, ухты-ахты, одеколон, блеск погон! Он был готов и к ним присоединиться в роли знаменосца; в них даже больше было единства, поскольку они и были обложены с четырех сторон, и униформа была на класс блистательней. Но вот вновь прозвучала короткая команда со стороны красногвардейской цепочки насчет гаубицы, и тут же рычание главнокомандующего: «Офицер юнкеров, видно!», и этому расфуфыренному, в погончиках, с иголочки офицеру пришлось бухнуться в грязный снег за мешками с песком, прямо в слякоть, во всем отглаженном полном белогвардейском наряде. И Наратор, сын друга всех комбригов, затем сирота, а впоследствии дефектор, он же невозвращенец, а ныне сотрудник Русской службы Иновещания, уже без зависти глянул на классовых врагов, возюкающихся в слякоти за мешками с песком, и еще крепче вцепился закоченевшими пальцами в древяк с алым полотнищем, где белой известкой было выведено «Вся власть заветам!» (чего с них взять, с голливудских недоучек?). «Берегите снег, снегом не разбрасывайтесь!» — надрывался в мегафон главнокомандующий. У них снег в этом климате на вес золота, прямо из холодильников, чтобы черное и белое, чтобы снег и грязь, чтобы все было с грязью перемешано. Для символики и историчности. Шли лондонские съемки десяти дней, которые потрясли мир.

Сначала на него долго примеряли разные блузки с бантами и косоворотки, потом напялили нечто зимнее и серое, полупальто-полушинель, и дали корявые и закорженевшие кирзовые сапоги. Конечно, он надеялся, что его вырядят белогвардейским юнкером или кем-нибудь постарше, в белогвардейском отглаженном, с погончиками, галунами или там ментиками или как их там, киверами. Когда он узнал из объявления в линолеумном коридоре Иновещания, что для революционного фильма требуются «экстра», то есть, по-нашему, статисты, Наратор разнервничался страшно, долго и пристально разглядывал свое безбровое веснушчатое лицо, приставал к женскому полу Русской службы с расспросами: возьмут ли его «супером», то есть, извините, «экстрой», если у него ресницы белесые, и даже принял от машинистки Цили Хароновны какой-то вазелин для лица, которым обмазал остатки волос вокруг лысины. Срочно сбегал в ближайший фотоавтомат, где за занавесочкой, сидя как будто аршин проглотил, четыре раза дернулся от спящей мигалки, потом боялся, что фотокарточка не

вылезет из окошка, стучал по автомату, но карточка появилась на свет, четырехкратно воспроизведя лицо шизоида, которому как будто в эту секунду втыкали революционный штык в одно место. Но то ли Сеня, то ли Сева, то ли Сема похлопал его по плечу и успокоил, доверительно сообщив, что для массовок как раз уроды и требуются, для характеристики. У бараков из рифленого железа перед пустырём проорали в рупор: «Русские и поляки — два шага вперед. Будете пробегать поближе к камере, чтобы создавать славянскость лиц в толпе». Тут Наратор и решил, что это и есть шанс, то есть, по-нашему, шанс, поскольку славянское лицо было, пожалуй, только у него, если не считать главного паяца, ихняя голливудская штучка с зубастой улыбкой налево и направо под обожаемые взгляды; но в рядах неотесанных славян никакого обожания заметно не было, поскольку они его впервые видели и ничего о нем не слышали. Он же был и главрежем и всем распоряжался насчет славянских лиц и сапогов: ему небось и в голову не приходило, что в России можно и узбеком в революции участвовать. Так или иначе, но белесые ресницы, нос картошкой и веснушки, общая конопатость оказались для Наратора авантажем. Голливудская штучка, ослабившись зубасто в сторону Наратора, указала на него своему помощнику; тот поглядел, кивнул головой и вывел Наратора из общего ряда, под завистливые взгляды других национальностей, включая туземных англичан. Наратор уже считал, что будет теперь проходить по особому ранжиру, как и оказалось на деле, но не в фавор Наратору: его поставили лицом к картонной стенке, на которой масляной краской были изображены грозовые облака и враждебные вихри, и сказали ему, что при звуке залпа он должен медленно падать на колени, а затем валиться налево. Он даже не видел, кто его расстреливает: его палачи присутствовали исключительно звуком залпа, записанным заранее в черном ящике. Но не успели его как следует расстрелять, только порепетировали, потому что снова прибежал распорядитель с рупором и потащил Наратора наружу, опять на тот пустырь, где слышались картечь, стрекот пулемета со стороны провиантского склада и уханье красногвардейской гаубицы. Ему напялили фуражку, чтобы скрыть набриоленную лысину, сунули в руки древко и сказали: беги!

«Почему молчит боевой горн юнкеров? Пиротехники, не слышу взрыва! Почему юпитер загасили? Почему брешь в рядах юнкеров, куда мешок с песком понесли?» Видно было, что у юнкеров было больше жизни и труба звала, если не считать, что надо было периодически валиться в слякоть. Однако знамени ему там бы заведомо не дали, и так как Наратору в конечном счете было плевать, на чьей стороне, и главное, чтобы бой роковой, он гордо и смело, преодолевая астматическую одышку, нес вперед против ветра знамя борьбы за рабочее дело под двойной обстрел юнкерского пулемета и красногвардейской гаубицы. Англичане бегали на заднем плане с транспарантами. Кроме юнкеров, в грязь должны были падать главный герой под именем Джон Рид и его герл-френд, которая была в лисьей шубе и шапке: снимали зиму, которая, как известно, в Англии быть не в состоянии. После десятого дубля выяснилось, что на заднем плане зеленое дерево и подъемный кран, которого в революционной России быть тоже не в состоянии, пришлось прикрывать транспарантом: его держали англичане с неславянскими лицами, которых быть не должно, не в состоянии, и путались под ногами. Джон Рид и его герл-френд, сбитые бегущей толпой, и главная задача была бежать прямо на них, а потом Наратору с тяжелым древком надо было резко свернуть вправо, чтобы тоже не упасть в грязь лицом, сбитому толпой. А затем вся толпа, обогнув провиантский склад, снова бежала по тому же маршруту, чтобы создавать многотысячность. Джона Рида было не жалко: холеный типчик и делает вид, что каждому друг, улыбается своими пластмассовыми зубами, которых у Наратора тоже был полон рот, так ему и надо, пусть в слякоти себе поваляется, нечего за тридцать земель

в России революционного киселя хлебать. Но вот за примадонну Наратор переживал: ее со всех сторон толкали демонстранты, а она в этой толкучке должна была погибать в три погибели к Джону Риду, валяющемуся в грязи, и протягивать ему руку, чего он явно не стоил. И нет чтобы подняться одним прыжком и помочь ей выбраться из этой передрыги, нет: он, видите ли, больной, у него революционная горячка и тиф, и он не только никаких усилий не делал, чтобы стать над собой, он ее тянул к себе в слякоть, и она туда тоже падала в лисьей шубе, чтобы барахтаться там, делая вид, что помогают друг другу подняться. То есть примадонне уже надоело делать вид, что она помогает совместному вставанию: она просто протягивала руку и, не дожидаясь, сама бухнулась в грязь, и пока Наратор огибал со знаменем провиантский склад для следующего захода, она уже шла к парусиновому креслу на краю пустыря, где ей в промежутке между каждым дублем подносили подогретую минеральную воду и гашиш. В очередной раз Наратор не выдержал: перепрыгнув через главного героя, он, с риском превратиться в яичницу с беконом напирающей сзади толпой, успел застыть с древком в одной руке, а другую предложил примадонне, чтобы не портила лисью шубу и не унижалась перед Джоном Ридом, который даже самого себя поднять не способен на четыре ноги, в смысле встать на карачки. Тут они на мгновение и столкнулись взглядом: измученное до побелевших веснушек лицо статиста, ковыляющего на страшной скорости с древком в руках, и сытое, несмотря на грим исхудалости и фальшивую небритость, лицо голливудской звезды, валяющейся в подталом снегу, перемешанном с грязью. Это столкновение взглядов под крик революционных лозунгов и в тревоге мирской суеты было роковым для Наратора, как провал февраля и победа октября для России. Наратор, сам падая в снег и давая возможность другим спотыкаться о древко, успел заметить, как зло сузились глаза главного героя, его губы сжались и раскрылись не белозубой оскалкой, а в раздраженной гримасе окрика: «Стоп!» — рявкнул голливудский выкормыш и, физкультурно поднявшись, отправился со своим распорядителем к полотняному креслу. К этому летнему не по погоде креслу на другом конце пустыря и направился с понурой головой Наратор, когда распорядитель, побегав вокруг героя Джона Рида с блокнотиком, поманил Наратора пальцем, выкрикнув его по имени в рупор. Наратор ковылял, предчувствуя неладное, под недобрый взглядом революционной толпы, одетой в отрепья, постукивая древком в паузе притихших пулеметов и умолкнувших гаубиц. Главный герой с примадонной неподалеку сидел в своем парусиновом киношном кресле, нахально расставив ноги, как царствующий узурпатор, и Наратор остановился перед ним, опираясь на древко знамени с одышкой, как гонец дурных вестей или генерал под подозрением в государственной измене, если не посол враждебной иностранной державы. Джон Рид безразлично потягивал пузырчатую минеральную воду и молчал, а примадонна на него даже не взглянула: она быстрыми пальцами цепляла одну за другой бумажные салфетки из пестрой коробки, слюнявила их и снимала со своей белой кожи густые нашлепки революционной грязи.

«Сколько раз надо вам повторять: убитых в кадр не ставить», — гнусавил манерным тенорком Джон Рид распорядителю и, безразлично поморщившись в сторону Наратора, добавил: «Вы что, не видите? Его же расстреляли в предыдущем эпизоде», и мелкими глотками стал пить пузырчатую минеральную воду. Наратор на своем ломаном английском пытался разьяснить, что его расстреливали спиной к кинокамере и даже вовсе не успели расстрелять, но распорядитель, прервав его, строго спросил: «Кто вам дал знамя?» — и потянулся к древку, глядя на Наратора своими лживыми глазами, и знал ведь, гад, что сам увел его с места расстрела, сам привел его на бой кровавый, святой и правый.

«Знамя не отдам!» — хрипло сказал Наратор по-русски и еще крепче вцепился в древко. От необычных звуков

русской речи примадонна оторвалась от своего зеркальца и, отмерив Наратору сочувствующую улыбку длиной в приподнятые уголки губ, как тяжелобольному, снова занялась коробкой с салфетками. «Да разве можно таким знамя отдавать?» — с тоской подумал Наратор и бессильно протянул древко главнокомандующему распорядителю. Не подхваченное никем, древко качнулось и накрыло алым полотнищем примадонну, и та стала отбиваться от него, протяжно матюкаясь по-иностранным. Джон Рид устало зевал. Главнокомандующий распорядитель уже снова взялся за рупор, хлопал в ладоши, говорил «о'кей, хоккей» и кричал, почему не прикрыли транспарантом соседнее здание, где английская домохозяйка вытрясала на балконе белую простыню, размахивая ей, как флагом капитуляции. «Чего вы стоите? Вам место на съезде советов, до расстрела рабочих депутатов», — похлопал его по плечу распорядитель, когда Наратор попался ему под ноги. И отправил его в костюмерные бараки, предложив поторапливаться, если он вообще намерен в конце дня получить свои положенные тридцать сребреников. «Снег беречь! Почему молчит труба?» Наратор глянул в последний раз на пустырь: со знаменем бегал уже кто-то другой, издали не разглядишь кто. Сева, наверное. Или Сеня.

В примерочной, гигантском сарайном помещении под алюминиевой крышей, где извивался лабиринт вешалок с тряпьем, царил гробовая тишина и пахло не то моргом, не то солдатской казармой. На протянутых бесконечными рядами ржавых тросах с проволочными вешалками висели помятые пиджаки с чужого плеча, изжеванные брики с обрванными подтяжками и дореволюционными штрипками, черные, проеденные молью сюртуки, скупленные за многие годы у разоряющихся эмигрантов; с ними соседствовали просоленные потом и вымазанные окопной грязью всех войн солдатские шинели и флотские тужурки, подобранные, видно, со всех затонувших «варягов» или прямо с трупов, проклеванных вороньем. Пряный запах застарелого пота, лежалой холстины смешивался с запахом портянок и ваксы, и, следуя этой ваксе с портянками, Наратор вышел к гигантским кучам чуть не до потолка: в одной из куч громоздились бальные туфли и лакированные ботинки с пуговицами на боках, а другая топорчилась заскорузлыми солдатскими и рабочими сапогами. У подножия этих куч копошились, как вороны у помойки, отбившиеся от других эпизодов статисты, напяливая на свои ноги чужую обувь, скача на одной ноге и крихтя, с другой, застрявшей в сапоге. Эти кучи и кружившее вокруг них воронье из статистов напоминали картинку из школьной хрестоматии по фашистским преступлениям, с горами вставших челюстей и волос. Наратора подташнивало, и, неприятно ослабев, он присел, озираясь, у стены. Из-за вешалок с гардеробом сюртуков появился тщедушный англичанин с карандашом за ухом и канцелярской папочкой. «Рабочие и интеллигенты?» — уточнил он. «Съезд советов», — кивнул согласно головой Наратор и последовал за гардеробщиком, оглябая завалы свидетельств чужой гибели. У вешалок с фракком Наратор задержался и стал приглядывать себе сюртук почище и желательнее шелковыми лацканами. Гардеробщик оторвался от своей канцелярской папочки, где он ставил инвентарные галочки, сдвинул очки на лоб и замахал на Наратора руками: «Но! но! но! Это для членов президиума» — и, снова напялив очки, оглядел одутловатую физиономию Наратора: «А у вас для президиума недостаточна еврейская внешность» — и, подмигнув, вытащил из кучи тряпья застиранный матросский бушлат и бескозырку, где на ленточке с ятями и ижицами было выставлено: «Броненосец Потемкин». Бескозырку эту гардеробщик напялил прямо на макушку Наратору, при этом назвав его неправильной фамилией Эйзенштейн, и отправился на другой конец этого мавзолея за нижней половиной революционного матроса. Наратор искал глазами зеркало, стараясь так нацепить на голову бескозырку, чтобы она не падала с его лысеющей макушки — бескозырка была явно с головы юнги. За бесконечными вешалками с сюртуками, френчами, украинскими косоворотками и татарскими кафтанами послышались голоса: две «экстры» явно разводили контру. То ли Сева с Сеней, то ли Сеня с Севой.

«Грязное оказалось это дело. Сегодня эта примадонна вся в слякоти извозюкалась, а в прошлый раз вся сажей перемазалась. Снимали, как Джон Рид в Россию пробирается через блокаду Антанты. Он там в паровой котле, что ли, трубе шесть часов провисел или в люке над кочеваркой.

Сажу вентиляторами распыляли, чтобы все рожи были в саже. И чего его в Россию потянуло? Примадонна после съема два часа отплевывалась».

«Не люблю я таких баб: мокроцелка! Вот его в Россию и потянуло: когда с бабой неладит, мужика на баррикады тянет».

«Любовные сцены, говорят, в Италии снимали. А в Англию привезли для сцен нищеты и революционной непогоды. Не знаешь, где ложки в Лондоне серебряные? Я из Харькова ложки вывез мельхиоровые, так они все от сырости потемнели. Тут, говорят, есть такие конторы: ложки от сырости серебряные. От серебряных не отличишь».

Появившийся из завалов гардеробщик плюхнул под ноги Наратору пару лакированных туфель с губернаторского бала и пару полосатых «невывразимых». Наратор, с присущей ему артикуляцией, попытался втолковать, что при матросском бушлате ему должны выдать хотя бы рабочие сапоги с Красной Пресни, но гардеробщик настаивал на лакированных башмаках с пуговицами: «Мелкобуржуазный низ снимают отдельно», — говорил он. — А когда снимают бескозырку, ног все равно не видно».

Лишившись древка и потеряв звание знаменосца революции, Наратор потерял и энтузиазм и спорить не стал, сложив с себя ответственность за участие в этом революционном перевороте. Наратора передали другому провожатому вертуху и через коридоры, заваленные реквизитом, витками кабеля и перегоревшими прожекторами, ввели в еще один караван-сарай. Вначале он заметил лишь картонные перегородки с побелкой под штукатурку замызанного зала дворянского собрания, изжеванного заборными надписями и революционными приветствиями. Из-за картонных колонн доносился гул, и, подталкиваемый провожатым, Наратор вступил в зал съезда с фальшивой колоннадой, фиктивными рядами перед помостом президиума с красным кумачом, призывавшим да здравствовать на съезде всех, кого Наратор затруднялся, как назвать: съездия? разъездия и разъездяйки? иначе как «участники съезда» по-русски, видно, не скажешь. Толпа человек в сто, имитировавшая опять же тысячи, состояла из бездельников, переодетых в тулупы, тужурки и туники-косоворотки, и хотя у некоторых бескозырок и были при себе ружья с примкнутыми штыками, руки у всех были заняты главным образом кока-колой или там сэндвичем с провернутым через мясорубку английским сыром или рыбой тунцом. Публика была явно набрана с улицы, из пивнушек и собосовских домов, из доходяг и побирушек британского социализма, и даже в редком читателе газеты «Таймс» в блестящем фраке, при золотом пенсне в президиуме, среди отглаженных бородок и двойных подбородков Наратор узнал все того же Сеню, Севу и Сему Русской службы.

«Русских в первый ряд!» — кричал другой распорядитель с рупором, сортировавший присутствующих; и Наратора усадили в первый ряд между поляками. Поляки все как один читали еженедельник по продаже недвижимости и бюллетень комиссионных магазинов. Наратор, переодетый в неясное классовое сословье, то и дело поправлял бескозырку, спадавшую с макушки, и не знал, куда девать руки: ружья ему не дали, а газет он не читал. Несмотря на английскую речь, публика была явно подозрительного свойства, и Наратор, по совету машинистки Цили Хароновны, тихонько достал дольку чеснока и изжевал ее медленно и сосредоточенно, предохраняясь от разной революционной заразы. В президиуме, конечно же, было бы безопаснее, но опять же внешность не та, а когда была та, он поддавался уговорам и согласился на расстрел, и не видать ему теперь ни знамени, ни зова трубы. Чеснок тоже, как оказалось, был излишним: по рядам прошел подручный в комбинезоне, помазывая в разные стороны чем-то вроде церковной кадильницы, из которой валили клубы зловонного дыма. Наратор подумал вначале, что это для санитарии, но оказалось, для создания надымленной и прокуренной атмосферы съезда; для чада полемичности выдавали даже бесплатные цигарки, от которых приходилось воротить нос. Наконец свозь этот дым и чад забили лучи прожекторов, и главнокомандующий с рупором объявил о предстоящем прибытии на съезд Троцкого, которого надо хорошенько поприветствовать при появлении его за фальшивой колоннадой, и приветствия должны спонтанно нарастать при продвижении его к трибуне. Надо было вскакивать на стулья, орать что есть силы, хлопать в ладоши и подбрасывать в воздух чепчики, бескозырки и буденовки.

Когда за фальшивыми колоннами замаячил черный кожаный шюрток, каждый стал надирать глотку и бузить во что горазд. Но главнокомандующий заявил, что ему, конечно, плевать, чего кто кричит, поскольку звук все равно дублируется, но вот разгул энтузиазма среди участников съезда в зале развивается по неправильной линии. Потому что Троцкий появляется из-за колонн, а значит, его не все сразу замечают, его видят вначале лишь отдельные избранные, которые ближе к дверям, а потом уже известие распространяется по всему залу, и всех охватывает необузданный энтузиазм. Каждый, таким образом, должен знать, когда вскакивать в приветствии, но при всей этой заданности общая картина должна производить впечатление спонтанного волеизъявления. «Поднимите руку, кто родился в январе», — хитро спросил главнокомандующий, и с десяток рук взлетело в воздух. «В феврале?» — и снова взлетели руки. «В марте?» — продолжал выкрикивать главнокомандующий, и Наратор, не понимая еще, к чему этот вопросик с поднятием рук, заволновался, что дойдет в таком духе и до его дня рождения и тут будет загвоздка, потому что родился он в годовщину революции, которая по новому советскому стилю приходилась на седьмое ноября: но в ту пору отец его, с партийной кличкой Кириллица, находился в провинции от наркомпроса, ликвидируя безграмотность на местах, а мать скончалась во время родов, и за ним, младенцем, присматривала бабка по материнской линии; она же, как существо старорежимное, считала свои и чужие дни по старому стилю, и поэтому годовщина революции и, следовательно, день рождения Наратора младшего приходился, по ее понятиям, на 25 октября; отец же, Кирилл Наратор, не успел разъяснить сыну этот туманный предмет насчет нового и старого стили революционных годовщин, ликвидируя безграмотность на местах, а затем пропал без вести смертью храбрых плечом к плечу, наверное, со своим однокашником, комбригом кавалерии Доватором; бабка же насчет седьмого ноября и слышать не хотела и упорно покупала ему кулек карамелек ко дню рождения в соседней булочной 25 октября каждого года. И хотя в советском паспорте Наратора в графе с датой рождения был выставлен ноябрь, не было никаких оснований не доверять и бабке, потому что вырастила его все ж таки она, а не новый стиль; и поэтому, дефектировав с родины первой пролетарской революции и лишившись паспорта, Наратор стал склоняться к мысли, что родился он все-таки 25 октября, а не в каком-то ноябре нового стили. Сейчас, однако, вовлеченный в ожидание Троцкого и, éventuellement, нового советского календаря, Наратор засомневался, когда ему откликнуться на вопрос главнокомандующего по съездкам съезда советов: поднять руку, когда выкрикнут октябрь или когда ноябрь? До месяца октября, однако, дело не дошло: на присутствующих хватило 9 месяцев. Идея состояла в наведении порядка для нарастающего энтузиазма, и тех, кто родился ближе к январю, пересадили ближе к дверям, и чем дальше от января, тем дальше от дверей. При появлении Троцкого главнокомандующий выкрикивал в рупор с нужными паузами: январь! февраль! март! апрель! и т. д., и рожденные в соответствующие месяцы вскакивали и начинали приветствовать в правильном порядке от дверей до первых рядов. Наратора приписали, не спросив, в кучу прианварских и повели в задние ряды. «Я русский, — говорил Наратор, — мне полагается быть в авангарде», но ему грубо пояснили опасность левацких загибов и волюнтаризма заодно, а кроме того, сказали, лиц все равно снимать не будут, а только спины, и пусть скажет спасибо, что его спина на съезде советов выйдет крупным планом у дверей. Тем временем под хорошо организованный энтузиазм депутатов-съездивей кудрявый Троцкий влез на трибуну и начал боевито и бойко излагать нечто, пытаясь протащить картавость в английскую речь, но вдруг запнулся: забыл свою речь, не выучил, актеришка, как следует, вот таких и берут на главные роли. Но главнокомандующий сказал, что голос этого вождя все равно будет дублироваться порусски, и поэтому сейчас на слова плевать: главное правильно жестиковать и чтобы зал вовремя спонтанно отвечал на содержание речи нечленораздельными криками, которые тоже будут дублироваться. Надо протестовать и аплодировать, а сами слова значения не имеют. Можно вместо слов употреблять цифры. И Троцкий на трибуне стал выкрикивать нечто невразумительное, вроде: «Раз, два, три, четыре, пять: вышел зайчик погулять!» — и, потрясая кулаком, стал яростно зачитывать таблицу

умножения. Главнокомандующий предупредил, что как только Троцкий называет любое число, делящееся без остатка на два, надо вскакивать, подбрасывать вверх бескозырки и буденовки, махать руками и выкрикивать лозунги в знак солидарности; когда же называется нечетное число, надо, наоборот, хмуриться, втягивать голову в плечи и ворчать неодобрительно. Наратор, естественно, как ни напрягался, но делал все наоборот, поскольку не слишком был поднатормен в арифметике; но выяснилось, что доля безграмотности среди присутствующих создает необходимую спонтанность и некую даже анархичность, натуральную для революционного митинга. А после третьей репетиции выход с выкрикиванием цифр уже работал так слаженно, что недурно было бы, подумал Наратор, если бы все политические деятели и спикеры переняли эту манеру изъясняться, не трата попусту слов человеческих.

Невооруженным глазом видно было, как менялся моральный облик присутствующих под воздействием этой зажигательной речи. Разобравшись, что оратор можно все подряд, не стесняясь, поскольку звук все равно дублируется, английские доходяги на собственном прокорме в русских поддевах славили матом королеву Елизавету и тем же лексиконом «имели в хвост и гриву» премьер-министершу; за спиной у Наратора в углу под колоннами, где расселись прямо на полу солдатские депутаты, с обрезками под махновцев, слышалось сначала протонародное ржание, сменившееся затем ирландскими напевами антибританской направленности: насчет того, мол, что свадебную карету мы себе позволить не можем, но тебе, моя ромашка (имелась в виду явно английская королева), вполне подойдет велосипед, сконструированный на двоих седоков. А когда во время короткого перерыва на ланч выкатили ко входу тарантас с кофе-чаем и сосисками, похожими на предмет, который один раз уже съели, хамство и насилие, нараставшие в атмосфере, вылились в невероятное для этой страны безобразие: англичане лезли без очереди, прокладывая дорогу локтями и прикладами. Ужаснувшись подобными переменами в характере нации, Наратор сосиски есть не стал, а взял только чай с молоком в бумажном стаканчике и отправился себе подобру-поздорову наверх, в кармане пиджака ждал его заготовленный заранее сандвич с луком и чизом-брынза, купленным по случаю в еврейской лавке. Наратор старался избежать английской кухни, в смысле кухни; своя хата, как ни крути, ближе к телу. Или что-то в этом роде: пословицы последнее время отчаянно путались. Он поднялся по каменным ступеням в раздевалку, на задах съемочного помещения. Туда не доходила постель рабочего класса и английской брани. С уютом пристроившись у гримировочного столика, Наратор снял крышечку с бумажного стаканчика, побросал туда растворимый сахар и потянулся к вешалке, чтобы достать из кармана пиджака припасенный сандвич.

Пиджака не было! Был свитер шотландской вязки Сени, жакет свиной кожи Семы, куртка стили сафари Севы, а может, все наоборот, но не было серого в тюремную полоску пиджака, купленного по приезду на свалочной распродаже в пользу вьетнамских беженцев. Он стал нервно шарить по вешалкам: брюк тоже не было. Все сперли. Даже старые, еще «скороходовской» обувной фабрики, со сбитым влево каблуком туфли, зачем? Они же на его мозолях обретали форму и облик и на чужую неправильность ступни просто не налезут. Даже в советской стране крадут портфели, а не жалкий задрозганный пиджак, а тут ведь Англия, а не Сандуновские бани. Кража была настолько нелепой, что явно служила лишь прикрытием для некой провокации против Наратора, и, перебирая панически в уме все свое нателное имущество, он наконец разгадал злоеший замысел вредителей: исчез зонтик! Его лишили зонта, вывезенного из Москвы, с дарственной надписью; не то чтобы он любил этот зонт или тех московских сослуживцев, кто преподнес этот зонт в подарок, не подозревая, где в конце концов окажется его владелец; но этот советского вида зонт отделял Наратора от остальных туземцев британских островов, как знамя отличает знаменосцев в безликой толпе. Особенно в дождливую погоду, а какая погода не дождливая на этих островах? Короче, в потере зонтика чудилось нечто роковое, конец красной эпохи, для которой смятенный ум еще не подыскал слов. То есть украден был не сам мемориальный зонт, а, так сказать, квитанция на его возвращение: был украден розовый женский зонтик, который достался ему по ошибке в результате пу-

танцы в сутолоке офиса, и уже который месяц шли переговоры о разрешении конфликта тройного обмена зонтов. Во всяком случае, без этой розовой финтифлюшки можно было распрощаться с надеждой вернуть московский зонт.

Не надо было вообще брать с собой эту финтифлюшку, которая задумана была скорее не против дождя, а для защиты от солнца, которого здесь и нету. Ведь хранил же он этот женский парасоль всю зиму в складном состоянии. Хранил его как зеницу ока, наружу его не выносил, а возвращаясь в свою коммуналку неподалеку от памятника-могилы Карла Маркса, всегда проверял, не украден ли зонтик соседями-экспроприаторами. Потому что верил, что однажды цепочка путаниц соединится со своим первым звеном, и вернется к нему цел и невредим его московский зонт-мемориал. И нового зонта не покупал, вымокая нещадно под лондонскими зимними ливнями так, что в натопленном помещении Иновещания от него валил пар, и паникерша-машинистка Циля Хароновна чуть не вызвала однажды пожарную команду, приняв исходящий от Наратора пар за дымящееся кресло. И вот заело его тщеславие, захотел выбиться в герои через статиста и, пожалев свою набриолиненную к съемкам голову в случае дождя, отправился на эти киностудии в пригород с злополучным ублюдком. Но кто, кто мог осуществить эту провокацию, эту попытку оторвать его от героического прошлого? Сорвав, чтоб не мешалась, с промокшей макушки бескозырку, Наратор рванул вниз, цокая по ступеням лакированными бальными штиблетами, которые, может, и красивее его стоптанных башмаков, но мозоли ведь красотой не интересуются. С безумными глазами бегал он по съемочной площадке, мешая знаменосцу бежать с альбом полотнищем между юнкерским пулеметом и красноармейской гаубицей, прерывая арифметику речей на съезде советов и отменяя очередной расстрел рабочих комиссаров; хватал каждого за рукав и спрашивал, не видал ли он у кого женского зонтика. «Какой еще женский зонтик?! — кричали на него начальники эпизодов, — да вон они кругом, зонтики, тут вся страна с зонтиками», — и указывали на прохожих, которые все шли с зонтиками, потому что стал накрапывать дождь. Все его гнали прочь, а солдатские и рабочие депутаты, выслушав ломаную речь про пиджак, башмаки и зонтик, хохотали прямо в лицо и часто повторяли слово *fuck*, *fuck*, *fuck*, которое отдавалось в ушах категорическим: «факт!». С их лиц исчезла неведомо куда присущая английской физиономии холодноватая участливость. Куда бы ни повернулся Наратор, везде он видел разъяренные или нагловатое хохочущие рожи хамов. А ведь спрашивал он всего лишь про исчезающую вдруг привычную шкуру и зонтик над головой. В этот категорический «факт!» с нагловатой ухмылкой и превращается, наверное, всякая революция, впереди которой бежит будущей работник наркомпроса по ликбезу с партийной кличкой Кириллица, а за ним революционные толпы, которые втопчут его в грязь, перемешанную со снегом. И Наратору впервые пришло в голову, что, может быть, его отец вовсе не пропал без вести плечом к плечу с комбригом кавалерии, а расплатился за те победные минуты жизни, когда он бежал со знаменем в толпе краснопресненских рабочих, плечом к плечу, не человек, а выброшенный вперед кулак миллионов, за всех против всех, все взгляды за ним и против него, не человек, а прямо новый мир со знаменем, забывая, что когда все униженные и оскорбленные поднимают голову, ничтожество подымает сапог выше головы. «Как же вам не стыдно, — приставал Наратор к каждому на съемочной площадке, — я ведь вас всего лишь о пропаже спрашиваю!» Не мог он им объяснить на своем языке, почему так важен для него этот глупый женский зонтик, без которого, казалось бы, не обрести ему вновь того московского зонтика с дарственной надписью. Одного он добился: съемки были сорваны. Революция утихомирилась. Замолкли пулеметы, ружейные залпы расстрелов, погасли юпитеры. Взбешенный Джон Рид, стараясь не разодрать Наратора на куски зубастой улыбкой, разъяснял ему, что пора статистам зарубить на носу: при данной политической обстановке на съемках он, Джон Рид, не может отвечать за какие-то женские зонтики; всякую «экстру» неоднократно предупреждали, что за утерю личных вещей администрация ответственности не несет; что он участвовал в съемках революции, Революции, а не какого-нибудь там фэйв-о-клока после дождичка в четверг, и что его зонтик с задрипанными шмотками не сперты, а, можно считать,

экспропрированы. Потом отошел, помаячил и, похлопав Наратора по плечу, сказал, что может возместить моральный и бытовой урон, презентовав в качестве сувенира наряд революционного матроса в виде бушлата и бескозырки и даже бальные портки в придачу; при условии, если он, Наратор, прекратит проедать плешь участникам революционных съемок и отбудет подобру-поздорову куда подальше искать свои зонтики. Короче говоря, Наратора вышвырнули за дверь, сунув ему в лапу его тридцать сребреников за беганье с революционным полотнищем по кругу в первый и последний раз в жизни. Сопротивляться было бесполезно, потому что Джон Рид с зубастой улыбкой намекал на вызов полиции. Предание остракизму именем революции было двойне роковым, поскольку вчера Наратор получил от начальства Иновещания уведомление с намеком, что он может себя считать «будучи уже увольняемым» ввиду полной своей неспособности инновещать; в связи с этим уведомлением Наратор многое поставил на кон, чтобы пробыть в статистах все десять дней, которые потрясли мир, на случай если жрать будет нечего. Он даже надеялся выбиться на ведущую роль знаменосца.

Ветер гнал его взашей по унылой улице пригорода, когда он двигался к станции. Платформа с протекающей крышей, но столбами литого и завитого чугуна выглядела как разграбленный музей, чем, собственно, и являлась здесь железная дорога; задуманная англичанином-мудрецом лет сто назад, она не изменилась, лишь ржавела и распадалась с годами на пути к прогрессу. Он невзлюбил ее еще со времен дефекторства, убедившись, что эта музейная путаница расписаний, трехэтажные переходы и двери с ручками, которые непонятно как открывать, все это может довести до дефективного состояния не только дефектора. А здесь и расписание было сорвано, и дверь зала ожидания задвинута засовом, и, главное, был украден билет, стоивший целого рабочего дня, а в переводе на продукты — бутылки виски. Он с облегчением нащупал в кармане бушлата четвертинку «Кати Сарк», по имени парусного фрегата, который, конечно, не «Аврора», но в голову шибает тоже хорошо. Черный человек в окошке кассы сказал, что поезд будет через час; присесть было некуда; зайди за угол, Наратор достал четвертинку и хотел глотнуть из горлышка, но ураганный ветер разбрызгал горячительное, окропив не губы, а заплеванную платформу. От нечего делать Наратор снова вернулся на унылую улицу, где одинаковые дома были приставлены друг к другу, как вагонные купе, а может, как поставленные на попа гробы с глазированными фасадами. Все пивнушки были закрыты, и, следовательно, время было между тремя и полшестым дня, потому что ни один англичанин не пойдет в пивную с трех до полшестого, поскольку с трех до полшестого все английские пивные закрыты. Их вывески были так же бессмысленны, как и дверные молотки на дверях двухэтажных гробиков: в них не стучала ни одна рука, поскольку никто, кроме хозяев, не стремился вовнутрь гроба, а у хозяев есть ключи и не нужен дверной молоток. Лишь многоквартирный дом в конце улицы напоминал о московских парадных, где у батареи на подоконнике распивали на троих, а кое-кто не только на троих распивал, но и разбирали и собиравали любовный треугольник. Парадная многоквартирного дома в конце улицы оказалась, на удивление, не запертой: дом, значит, был соборовский, для низкооплачиваемых, готовых жить друг над другом без дверных молотков и без переговорных устройств с кнопками и жужжалками. Помещение за стеклянной дверью оказалось непрезентабельным, но зато без портье и консьержек: просто парадная, где тепло и на лестничные ступеньки хорошо сесть, потому что они по-английски были прикрыты хоть и заплеванным, но ковром. Наратор и присел на эти ступеньки, отвернул жестяную крышечку «Кати Сарк», глотнул и поплыл. Он не придавал значения тому, что у него нету компаньонов: пожаловаться на роковую кражу зонта все равно было некому; даже если бы Сева с Сеней или Саня с Семой предложили распить на троих, они бы все равно говорили про примадонну и где можно ложки посеребрить, а Наратор сидел бы вот так же, как и сейчас, только не один, а сбоку, но все равно как один.

Впрочем, товарищи по службе его и в Москве не слышом жаловали, хотя там он был явно незаменим: никто

лучше его не мог заметить орфографическую ошибку в докладе директору и заклеить опечатку, как будто ее и не было; подчистить, к примеру, букву «ж» так, чтобы вышла буква «х», и так ногтем заглядывать, что с лупой не подкопашься. Конечно, был и ученый секретарь, важная персона, с карандашом за ухом, все исчеркает, наставит галочек, а кто будет орфографию править? вычищать опечатки? Конечно, ученый секретарь тоже правил, но он проводил правку лишь марксистской цитаты в свете новой пятилетки. Директору во все это вдумываться нету времени; он взглянет, бывало, листнет, послонявив палец, увидит орфографический ляп — вместо «руководства» написано «партийное руководство», швырнет этим докладом в морду заму, а тот устроит нагоняй, и кое-кто лишается теплого местечка. Если бы не он, Наратор, всегда с раннего утра на положенном месте у окна, орфографический словарь под рукой, глаз наострен и руки всегда чисто вымыты, банка с клеем и ножницы наготове, не забывая, конечно, о бритвочке и стиральной резинке, чтобы стирать, заклеивать и заглаживать заподлицо грамматические ошибки вышестоящих. Сослуживцы подсмеивались над его старорежимными наруканниками, жаловались и кляузничали начальству на омерзительный запах казеинового клея и разными трюками пытались захватить его место у окна, самое светлое в комнате, с видом на площадь трех вокзалов, похожих на сливочные торты. Многие считали, что Наратор месяцами бездельничает, точит себе карандаши, пока они корпят над министерскими диаграммами. Но к концу квартала, когда приближался срок сдачи доклада директору министерства, начинался и на его улице праздник: все бегали к Наратору на консультацию, как, скажем, выправить букву «ж», чтобы получилась буква «к». Наратор точным хирургическим взмахом бритвы срезал у «ж» левую половинку и срывал аллодисменты всего отдела. Бывали и скандалы, когда Наратор проявлял непоколебимое упорство и отказывался писать слово «заяц» через «и», следуя хрущевским директивам в правописании, которые проводил в жизнь начальник отдела. «Вы еще и «говно» через «а» прикажете писать?», — вдруг начинал скандалить Наратор, и начальник, обмеривая его ледяными глазками, говорил: «Именно таковы последние директивы партии и правительства». Но в целом орфографические реформы случались нечасто, и Наратор оказывался победителем в грамматических турнирах с начальством.

Когда в день своего сорокалетия он, вернувшись из уборной, застал стоящих полукругом сослуживцев, то прежде всего перепугался, подозревая, что над ним сейчас произведут самосуд неизвестно за какую провинность перед коллективом. Но сконфуженные подобным предположением у него на лице сослуживцы нестройным хором продекламировали пожелание успехов в труде и счастья в личной жизни. Затем, пока сослуживцы хлопали в ладоши, завотделом протянул Наратору огромный куль оберточной бумаги. Под оберточной бумагой оказались не цветы, а дождевой зонт, свгравший впоследствии столь роковую роль в его трудовой деятельности и личной жизни. Зонт был великоленным, цвета воронова крыла и с ручкой под слоновью кость. На ручке золочеными завитушками было выгравировано: «От товарищей по службе — для борьбы с непогодами жизни». Вместо тире очень остроумно блестяла кнопочка, которую Наратор немедленно нажал, и зонт, как большая черная птица, взмахнул железными крыльями спиц, чуть не вырвавшись из рук под одобрительные возгласы сослуживцев. Бухгалтер отдела чудом успел подхватить торт «Слава» и бутылку марочного вина «Черные глаза», задетые рвущимся из рук зонтом. Когда «Черные глаза» прикончили в два счета и никто ни в одном глазу, бухгалтер вынул из портфеля бутылку водки, чтобы отметить юбилей «по-нашему, без чуждых нашей действительности черных глаз бывшей белоголовкой». Каламбур всем пришелся по вкусу, как и закуска в виде торта, и уже через минуту курьер отдела Вася сбежал в продмаг на улице Маши Порываевой и притащил в авоське без консультаций четыре бутылки плодово-ягодного портвейна, который действует после водки и даже до известно как: кишки слипаются, обеспечивая полное слияние душ. Смазав таким образом водку «лачком», проложили дорогу к пиву, мысль о котором стала читаться в потемневших глазах юбилеяствующих без всяких орфографических ошибок. Про Наратора уже забыли, в горячем диспуте уламывая на пиво дамскую часть отдела: дамы категорически отказывались двигаться в пивную на Маше Порываевой,

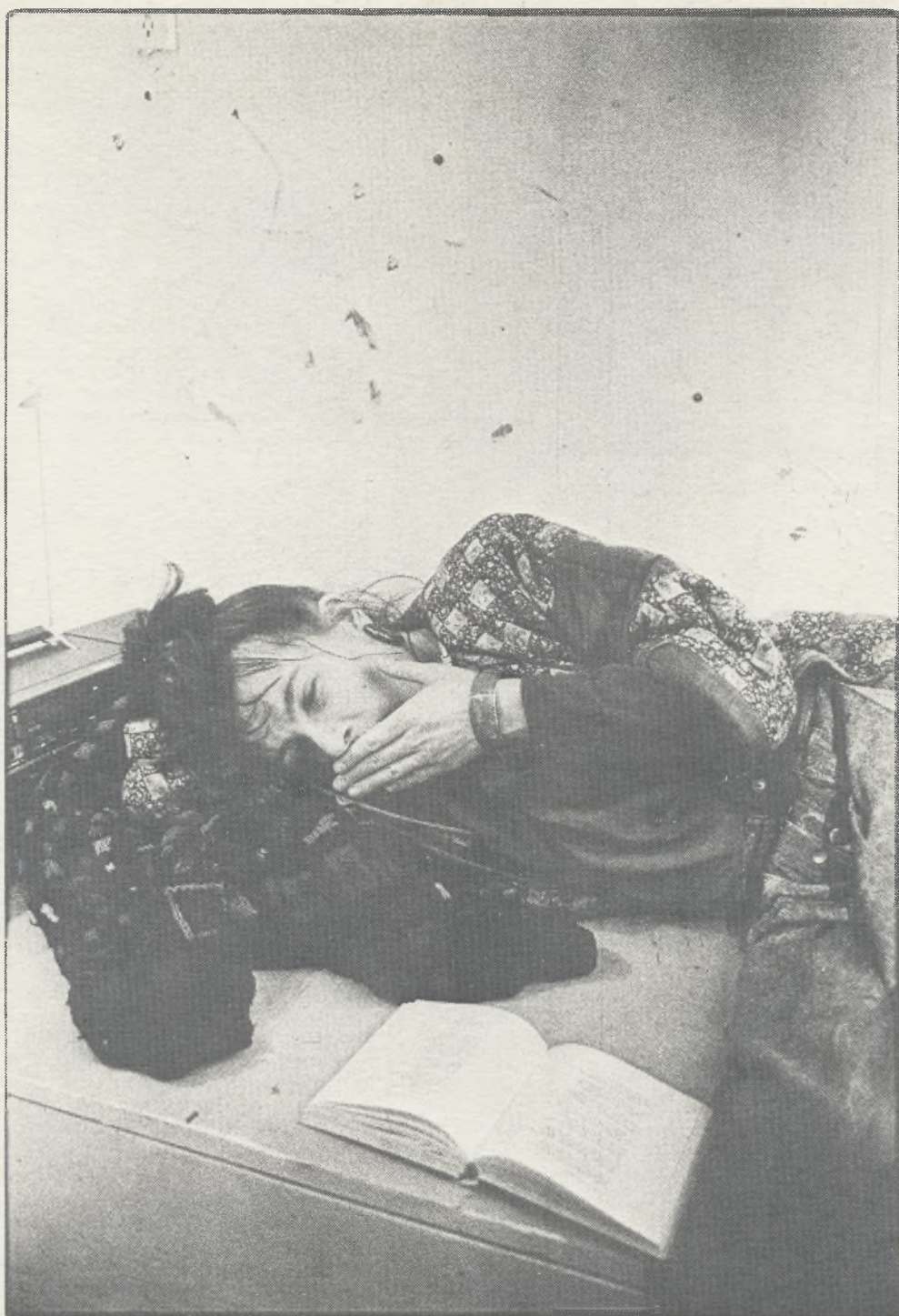
но склонялись к саду им. Баумана, где давались концерты на открытой эстраде, но, в отличие от Маши Порываевой, не было гарантии пива, что отталкивало от Баумана мужчин. Для компромисса решили закупить еще четыре бутылки плодово-ягодного на случай отсутствия пива, и вновь сплоченным коллективом, позвякивая в портфеле бутылками, отправились по улице Басманной, стараясь не пропустить дом-музей философа Чаадаева, известного сумасшедшего прошлого века, не забытого местным населением: его мемориальная доска служила опознавательным знаком для поворота в незаметный проулок; этот проулок с тупичком и упирался в зеленые ворота парка культуры и отдыха имени друга революционных матросов Кронштадта, впоследствии расстрелянных. Преимущество этих незаметных ворот было в том, что в отличие от главного входа сразу попадаешь на лужайку и пригорки зеленых насаждений, к которым гурьбой устремились сотрудники. Распивали по-братски, слюнявя горлышко, и женщины каждый раз подкрашивали губы после того, как, смущаясь и хихикая, присасывались к бутылке и вино текло по напудренному подбородку, смазывая губную помаду. Солнце жарило не по-особенному в темечко, голова гудела, говорили про отпускные и премиальные, про жида Рабиновича под кроватью и вратаря Нетто, вес брутто и как гнать самогон. Наратор слушал напряженно и с расплывшейся улыбкой, наслаждаясь неожиданной дружбой коллектива. Но члены коллектива стали постепенно исчезать в близлежащих кустах, с производственной четкостью разбившись на пары. И вскоре Наратор оказался в неприкаянном одиночестве на пригорке перед сматытым лоскутом газеты «Правда», на которой выделялась банка бычков в томатном соусе — с лужицей соуса, но без бычков. Наратор щурился сквозь солнце на кусты слева, откуда, как бы резвясь и играя с солнечным лучом, выростала розовая женская нога, отороченная голубым трико, болтавшимся у колена: нога ритмично помахивала этим платочком. Но уже через мгновение это фривольное помахивание стало передергиваться, сопровождаясь стоном, переходящими в истошные вопли, и Наратор чуть было не бросился в направлении этих конвульсий, заподозрив человекоубийство, но вздрогнул от щекотки и, обнаружив на своем колене пухлую женскую руку, понял, что он не один. Крики в кустах слева тем временем поутихли, и, обернувшись вправо, Наратор убедился, что рядом с ним, грустно склонив свой двойной подбородок без шеи на двухъярусный бюст, сидела проектировщица Зина. Зина, развернув свой двойной подбородок в сторону заснувшего и обомлевшего Наратора, задрала трагически выщипанную бровь: «Бобылек ты мой, бобылек», — промычала она густым голосом и, качнувшись, удерживая пьяное равновесие, уцепилась обеими руками за лацканы его пиджака и вклеила его губы в свои. Наратор, женского прикосновения не знавший, застыл в судороге, не разжимая губ и стараясь не вдыхать тошнотворную смесь парфюмерии и бычков в томате. Зина, обретя дополнительную опору, стала снова шарить у Наратора в коленях рукой и вдруг завертела языком и стала постанывать, дотянувшись, видно, до предмета, за который мечтала ухватиться. Наратор, боясь шелохнуться, глядел, скосив глаз за Зинин перманент, как Зинина рука, оставив его колено, с увлечением гладит сверху вниз и обратно ручку зонта, которую Наратор все это время зажимал у себя между колен, чтобы не потерять среди дружбы с коллективом редкий юбилейный подарок. Наратору трудно было понять, зачем это Зина так неистово гладит эту ручку под слоновью кость с золоченой надписью «От товарищей по службе — для борьбы с непогодами жизни». Наратор решил, что делала она это в знак душевного уважения к символу его сорокалетнего юбилея, и поэтому в знак душевной признательности сам тоже не решался оторваться от губ в томатном соусе и приостановить пьяную руку, не ведающую, что творит. Когда же Наратор вспомнил, что на месте тире в дарственной надписи расположена кнопочка блестящая и что произойдет, если кнопочка нажмет, он попытался приостановить похотливые движения не по месту назначения, но было уже поздно. Со страстным стоном Зина не на шутку вцепилась в ручку зонта, и катавасия началась: с коротким шипящим звуком из-под ног Наратора резко распрымилась черная громада зонта, и одна из гордых спиц впилась в розовое бедро проектировщицы; рванувшись, Зина чуть не укусила нос Наратора и издала визг, уже не имевший отношения к стомам страсти, — отлетев от спицы зонта, она приземлилась на газету «Правда», плюхнувшись задом прямо

на острую жестянку бычков в томате. На эти визги и вопли стали выползать из-за кустов, застегивая ширинки и одергивая юбки, товарищи по службе. Зина тем временем вытирала листом лопуха томатный соус, перемешанный с кровью, с крепдешинового бедо, и орала благим матом на окаменевшего Наратора: «Половой урод! — кричала Зина, — Чтоб этим зонтом твоё рабочее место невинности лишили, член нетрудовой!» и эти страшные в своей непонятности проклятия падали на лысеющую голову Наратора, которую он пытался загородить черным зонтом, как будто стучали по зонту тухлыми яйцами под хохот товарищей по службе. Надолго запомнил Наратор этот хохот; впервые в жизни этот простой советский человек заподозрил, что лучше бы ему не иметь ничего общего с этими гогочущими рылами товарищей и с их службой; надолго запомнил он и искаженное злостью лицо толстухи-проектировщицы, а ее пухлые бока и вид измятого задранного платья над банкой бычков в томате не давали ему спать по ночам: все мерещилось, что проектировщица с мокрыми губами оседает его, как гоголевская ведьма из школьной хрестоматии, и поскачет на нем по чужим околицам, а ему и страшно и смешно, и отец грозит ему в окно казачьей саблей.

Наратор все пытался нажать заветную кнопку и обратиться подальше от скандала, но спицы отказывались складываться, и он так и остался сидеть ошарашенный с огромным черным зонтом под палящим осенним небом перед измятой «Правдой», как араб перед молитвенным ковриком. Но вот до его ушей стала доноситься далекая полковая музыка, уханье медных инструментов, и чем четче он слышал эти звуки, тем глуше становились визги проектировщицы, и гогот сослуживцев как будто проглатывался и уходил в кусты. И вот уже не слыша ничего, кроме полкового марша, Наратор поднялся на ноги и, держа зонт вертикально, двинулся насквозь через парк навстречу полковой трубе. Зонт мешал ему продираться через кусты сирени и орешника, туда, откуда дорога его жизни изогнулась, куда ему и не снилось. Вышел он на площадку, посыпанную хрустящим песком, в дальней стороне периметра возвышалась раковина эстрады, а перед ней ряды лавок, забытых пьяной публикой. В раковине сидел духовой оркестр и выводил во все трубы и тубы героическую мелодию, а перед оркестром, слегка подпрыгивая на шпильках, дирижировала в публику завитая округлая тетка; в руках у нее была палка с листами бумаги, которые она то и дело решительным жестом переворачивала: на каждом листе крупными школьными буквами были начертаны слова для публики; взмахом руки масовичка останова оркестр и, подняв повыше лист со словами, кричала слушателям: «А теперь, товарищи, заново припев!» — и прокрикивала, водя указкой по словам: «У дороги чибис — два раза! — он спешит, торопится, чудак. Ах, скажите, чьи вы? — два раза! — и зачем, зачем идете вы сюда?» Вступала канканная мелодия пионерского гимна юннатов, и затейница с указкой надрылась в призыве: «Хором, товарищи, почему не слышно мужских голосов? а ну-ка, мужчины!», потому что про чибиса и небо голубое и тропу любую выбирай выводили главным образом пьяные бабенки, а мужики только мотали головами. Наратор добрал до первых рядов и, оставив свой гигантский зонт в сторону, присел на краешек лавки; в этом ряду публика была попрличнее, и непонятно, зачем тут сидела, потому что рты не раскрывала, а выжидала явно не новых песен. Масовичка-затейница тем временем вынесла из-за перегородки новые слова и с прежним энтузиазмом стала обучать развалившихся на лавках трудящихся строчкам: «Кто вы хлопцы будете? Кто вас в бой ведет? Кто под красным знаменем раненый идет?», и в ответ ей сосед Наратора зло прошипел, что он не справочное бюро и не милиция; когда же Наратор, в память об отце, решил подхватить эти вопросы в песне о батрацких сынах, которые за новый мир, его сосед стал демонстративно переглядываться с соседкой и отодвинулся со злым бурчанием от Наратора. В отличие от потемневших от пота рубах и черных выходных пиджаков в публике, этот толстяк был одет как будто не по-нашему, и лысина, и животик, и все с иголки, даже непонятно, где и почем брал. Игнорируя усилия масовички и оркестра, он перегнулся к соседке, тоже, кстати, в очках и шляпке не из здешних мест: «Долго это безобразие будет продолжаться? Неужели Копелевич надул?», и его приятельница, скривив рот, зашипела сквозь уханье труб и барабанов: «Вы разве не слышали: в клубе Орехово-Зуева выпустили на сцену

администратора и тот нахально объявил, что Копелевич заболел и выступление отменяется? Говорят, поступило указание сверху». Тут как раз истощились слова про красного командира, и над площадкой воцарилась тишина с жужжанием мух, рыганием и отдельными матерными ругательствами; на сцену снова выскочила масовичка, постукивая шпильками по деревянному помосту: «Поприветствуем гостя херсонской эстрады, неподражаемого звукоподражателя», и, первая захопав в ладоши, выкрикнула фамилию Копелевича. Вначале выпорхнувший на эстраду живчик вел себя как и полагается звукоподражателью: звукоподражал автомобильному мотору, автомату газированной воды и старому патефону. Слушать это было приятно и занимательно, и Наратор, отягощенный портвейном, даже задремал, прикорнул, прикрыл глаза, казалось бы, на мгновение ока, а оказалось, пропустил нечто существенное для понимания этого самого Копелевича. Потому что Копелевич говорил уже нечто непонятное, про «враждебные голоса». Наратор приготовился слушать, как сказку в детстве, про голоса с того света, про упырей и разную нечисть и вообще про «мнемонистику», о которой в последнее время много писали в газете «Вечерняя Москва». Но вместо этих полезных для ума развлечений живчик на эстраде вдруг запищал и запел, зажужжал и затрещал, стал изрыгать нутряные звуки: «Уи-уи, пш-ш-ш, вью», — исходил шумами эстражник и, пошипев и попищав так несколько минут, растянул вдруг губы и заговорил голосом из репродуктора сквозь им же произведенные помехи: «Говорит Голос Свободной Европы», — прогнусавил он, и публика на лавках вокруг Наратора непонятно почему захихикала. Если задние ряды рассеялись, кроме нескольких захрапавших на солнышке пиджаков, то на передних лавках публика, наоборот, была оживлена и глядела Копелевичу в рот. Пробурчав разные странные и незнакомые слова, вроде «автототаритарность», Копелевич издал звук переключателя и зашипел в эфир совсем другим голосом. «Вы слушаете Голос Америки», — объявил он, а потом пошли другие голоса и волны, «Немецкая волна», например, и чем дальше, тем больше хохотали на лавках впереди, а когда этот любимец публики сада им. Баумана выдал, потрескивая: «Вы слушаете радиостанцию Иновещание. У микрофона наш обозреватель Наум Герундий». — публика на лавках захопала, кое-кто даже встал, аплодируя и перевозмогая колики смеха. Наратор никак не мог понять, чего, собственно, особо веселого в этих помехах и «голосах». Конечно, звучал Копелевич точно как репродуктор и его следует наградить аплодисментами за проявленное мастерство, но автомобильный мотор он изображал не менее талантливо, чего такой ажиотаж из-за помех в эфире? Наратор сам был большим любителем радио и всегда с особым удовольствием слушал передачу «Для тех, кто в море» или «Для тех, кто не спит», а особенно «Радиояню» про правильные ударения в русском языке в занимательно-юмористической форме. Казалось бы, все ему было известно о происходящем в современном мире, от возрождения реваншизма в Германии до успеха целлинников в Казахстане, а если пропускал сатиру и юмор в воскресной передаче «С добрым утром!», то в понедельник товарищи по службе перескажут в обеденный перерыв. А тут из-за одного упоминания Наума Герундия солидные, на первый взгляд, люди надрывали животики, а он, Наратор, сидел как олух со своим зонтом и не понимал, чему они смеются. Над собой, что ли, смеются? Когда Копелевич снова переключился и начал другим враждебным голосом со странным именем Бибиси, Наратор не выдержал, нагнулся к уху соседа, стараясь не дышать бычками в томате и портвейном с чесноком: «Что значит Бибиси?» — робко спросил Наратор. «А вы не знаете? — с язвительной усмешкой повернулся к нему сосед и добавил: — И закройте, будьте любезны, ваш зонт: вы загораживаете другим лицо артиста». Ужасно обидевшись, Наратор поднялся под шиканье публики и побрел через площадку к кустам. Зонт, задев за ветку, неожиданно захопнулся, до крови прищемив палец. Хлынул ливень от накопившейся в закате тучи, со стороны эстрады мимо пробежали поклонники звукоподражателя, прикрываясь плащами, а зонт обратно не открывался, и Наратор стоял, промокший до нитки, перед пустой эстрадой. Он понимал, что праздник кончился, а недоумение только начиналось.

(Продолжение следует)



У

ИЗ ЦИКЛА «ДРУГ МОИХ ДРУЗЕЙ...»

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА

